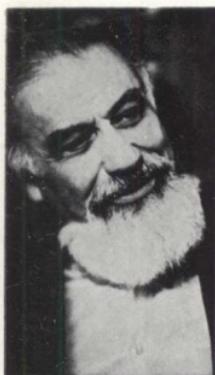


КОНТИНЕНТ16

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNET CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ



Галич погиб, недо- Или, наконец, именно восстание, хоть пев; упал на сере- и проигранное, на более длительный дине пути. Умер на срок создало усло- чужбине чужой вия, в которых пра- смертью. вители считают ме- нее рискованным обращаться к наро-

Но здесь, на роди- ду с жестами при- не, он живет. В сво- мирения, нежели их песнях, своей вечно завинчивать жизнью. гайки?

Лев Копелев Вик. Ворошильский



..развитие ядерной энергетики — одно из необходимых условий сохранения экономической и политической независимости каждой страны, как уже достигшей высокого уровня развития, так и развивающейся..

Люди должны иметь возможность — знания и права — трезво и ответственно взвесить взаимосвязанные экономические, политические и экологические про-



блемы, относящиеся к развитию ядерной энергетики и альтернативных путей развития экономики, без необоснованных эмоций и предрассудков... Речь идет.. о сохранении свободы для ваших детей и внуков.

Андрей Сахаров

Начиная с середины 20-х годов, лучший из учеников Ленина постепенно, но всё более очевидно, берет на себя ответа: каковы главные руковод- бокие, не случай- ства литературой.. ные причины их Выражается оно в эволюции? Мы уже разных формах. имеем право ожи- Это может быть дать от западных одобрительная ди- компартий не жарективная критика, лобных сожалений облеченная в же- по поводу «ошибок лезную формули- прошлого», а реширо- ровку...



Михаил Геллер

Но вопрос, который следует ставить уже сегодня и на который от евро- коммунистов надо добиваться ясного ответа: каковы главные руковод- бокие, не случай- ства литературой.. ные причины их эволюции? Мы уже имеем право ожидать от западных компартий не жарективных сожалений по поводу «ошибок прошлого», а решительного расчета с этим прошлым.



Энцо Беттица

Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Наталья Горбаневская
Заведующая редакцией: Виолетта Иверни

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Ежи Гедройц · Пауль Гома
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Милован Джилас · Эжен Ионеско · Артур Кестлер
Роберт Конквест · Наум Коржавин
Николаус Лобковиц · Михайло Михайлов
Эрнст Неизвестный · Андрей Сахаров · Игнацио Силоне
Виктор Спарре · Странник · Александра Толстая
Юзеф Чапский · Александр Шмеман
Карл-Густав Штрём · Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

Англия	Владимир Тельников Wladimir Telnikov, 28 St Luke's Rd London W 11
Израиль	Михаил Агурский Michael Agoursky, P O B 7433, Jerusalem, Israel
Италия	Сергей Рапетти Sergio Rapetti, via Beruto 1/B 20131 Milano, Italia
США	Юрий Ольховский George Olkhovsky, 3801 Windom Place N. W. Washington D. C. 200 16, USA
Япония	Госукэ Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

16

Издательство «Континент»

1978

СОДЕРЖАНИЕ

Стихи современных украинских поэтов. В переводах Игоря Качуровского	7
Виктор В о р о ш и л ь с к и й — Венгерский дневник	12
СТИХИ	
Виолетта И в е р н и, Вадим Д е л о н е, Лия В л а д и м и р о в а	81
Феликс К а н д е л ь — «Это не телефонный разговор...»	95
СТИХИ ПОЭТОВ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ	
Валерий Перелешин, Игорь Чиннов	109
Владимир Максимов — Ковчег для незваных. Глава из романа	115
Генрих Сапгир — Из книги «Сонеты на рубашках»	133
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Борис П а р а м о н о в — Мальчик против мужа	137
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Вацлав Белоградски — Литература как критика банального зла	151
Польский Аноним — Нация — религия — миссия — ответственность	170
ЗАПАД — ВОСТОК	
Андрей Сахаров — Ядерная энергетика и свобода Запада	189
Энцо Б е т т и ц а — Еврокоммунизм и Грамши	195
ИСТОКИ	
Михаил Г е л л е р — Поэт и вождь	227

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Алексей Л о с е в — Письма	241
Кирилл Х е н к и н — Испанский блокнот	265
ИСКУССТВО	
Валерий В а л ю с — Картины отца	289
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Герман А н д р е е в — «Где любовь, там и Бог». (Религиозно-философское учение Льва Толстого как орудие сопротивления идеологии и практике тоталитарных систем)	307
Лев К о п е л е в — Памяти Александра Галича	334
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	345
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
В. Б е т а к и — Галич и русские барды	349
Ф. Ф е й т о — Герой нашего времени	354
Е. И г о ш и н а — Рана истории	358
Л. В л а д и м и р о в — Фальшивый дуэт	361
Ф. С а л к а з а н о в а — Горечь старого социалиста	365
Н. Г о р б а н е в с к а я — «А по сердцам наших копита, копита...	369
КОРОТКО О КНИГАХ	373
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	385
НАША АНКЕТА	
Интервью с Милованом Д ж и л а с о м	389
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	

СТИХИ СОВРЕМЕННЫХ УКРАИНСКИХ ПОЭТОВ

В переводах Игоря Качуровского

Лина Костенко

Есть розы-стихи и стихи-дубы,
Игрушки и стружья на ране.
Есть повелители и рабы,
И есть, наконец, каторжане.
Сквозь сумрак тюремный, под лязг оков,
Идут и идут по этапу веков.

*

Поле всё такое белое.
Черный говор в стороне.
То воронам вслух мечтается
Об убитом о коне.

Скачет конь, копытом цокает,
Косит глазом на ворон.
Все вы, черные, подохнете,
Прежде чем погибнет он.

КОСТЕНКО Лина Васильевна — род. в 1930 г. в Ржищеве под Киевом. Окончила Литинститут им. Горького. В 1957 г. выпустила первый сборник стихов, затем — еще два. Одна из зачинателей обновления украинской поэзии. Четвертая книга — «Зоряний інтеграл» — запрещена цензурой уже после набора. За близость к кругам украинского национального движения, за проявления солидарности и протеста — свыше десяти лет на родине не печаталась (ее «Поезії» вышли на Западе в 1969-м). Только в 1977 г. вышел новый сборник «Над берегами вічної річки».

ВСАДНИК

Я — дикарь.
Я — пещерный жилец.
Там сидит у костра мой род.
Весь в поту, вороной жеребец
Мое голое тело несет.

Где-то дремлют вулканы в дыму,
Ржет мой конь среди гулких полей.
Я на спину прыгнул ему
Прямо с дерева, из ветвей.

Вся душа — как шальной порыв.
Тень гривастая мчится за мной.
Свой звериный оскал затаив,
Скачет медленней конь вороной.

Солнца диск за горами погас.
Мимо вёрсты — поди измерь!
О, Пространство и Время, на вас,
Непостижных, иду я теперь.

Я в полях обучусь труду,
Саблю выкую, выгну лук.
И на камень не раз упаду,
Но не выпущу повод из рук.

Среди стрел и лавровых венков
Я галопом промчусь по векам.
Как свивальник, следы подков
Станут тесными материкам.

И тогда быть такой войне,
Что я вылечу прочь из седла.
Будет горько признаться мне:
Сабля танка рассечь не смогла.

И всемирный железный потоп
Смоет след от моих подков.
И я, в мокрый зарывшись окоп,
Стану автором этих стихов.

Там, где пули, словно горох,
О гранитные выси стучат,
Поползу я на всех четырех,
Словно мой земноводный брат.

Но пока я — пещерный жилец,
Не гляжу далеко вперед.
Покорившийся мне жеребец
Мое гордое сердце несет.

РУДЕНКО Микола (Николай) Данилович — род. в 1920 г. в с. Юрьевка (Донбасс). Отец его, крестьянин и сезонник-шахтер, погиб на шахте в аварию. В семилетнем возрасте М. Руденко был изувечен хулиганами, ослеп на один глаз. Учился на филологическом факультете Киевского университета. Скрыв слепоту, пошел добровольцем в армию, попал в войска НКВД, служил в конной охране Кремля. Во время войны был в осажденном Ленинграде, получил тяжелое ранение в позвоночник, однако, несмотря на инвалидность, вернулся на фронт. Награжден орденами и медалями. После войны, когда фронтовиков выдвигали на руководящие посты в литературе, был секретарем парторганизации Союза писателей Украины и ответственным редактором журнала «Дніпро». Начиная с 1947 г., выпустил ряд сборников стихов и книг прозы, особенно — научной фантастики (повесть «Волшебный бумеранг» издана и по-русски). После XX съезда последовательно боролся за демократизацию литературной и общественной жизни. В 70-е годы стал одним из активнейших участников движения за права человека: член советской группы «Международной амнистии», председатель Украинской Группы-Хельсинки. Репрессии против него — запрет печататься, задержания, обыски, исключение из партии, проведение психиатрической экспертизы — увенчались в 1977 г. арестом и приговором: 7 лет лагеря и 5 — ссылки. Сейчас находится в Мордовских политлагерях. Стихи его распространяются в самиздате вместе с работами последних лет: теоретическими исследованиями и повестью «Прощай, Маркс!»

ИЗ СБОРНИКА «НА ГОЛГОФУ»

Встать бы снова на четыре лапы,
Завилять бы весело хвостом,
Чтоб меня признали все сатрапы
Самым верным и любимым псом.

И тогда бы мне — питье и пища,
Поглядишь — и кров над головой.
Ревностно тогда бы их жилище
Я стерег, откормленный и злой.

Но живу один, — гоним, затравлен,
И несу, как знамя, язвы ран.
Подневолен шаг мой, и приставлен
К сердцу, в ожидании, наган.

Многими еще пройду путями
Или время лечь и умирать?
Глянь, меня уже подводят к яме,
К яме, чтоб живого закопать...

СОКУЛЬСКИЙ Иван — поэт и журналист из Днепропетровска. За участие в протестах против незаконных судебных процессов и подавления национальной культуры был уволен из газеты, работал матросом на речных судах. В 1969 г. арестован и приговорен к шести годам лагерей. Срок отбывал в Мордовии и Перми. Перед выходом на свободу получил в лагере — как «профилактическую меру» — диагноз «шизофрения».

Зиновий Красивский

На пьедестал из мертвых тел
Вы шли в кольчуге лжи и догмы,
Но шквал событий вас раздел,
И видим вас без красных тог мы.

Прикрыв отрепьем наготу,
Развенчанной толпой отребий,
Идя по свету в пустоту,
Нести проклятье — вот ваш жребий.

Пусть, корчась в ужасе, сгорит
Земля под вашими ногами,
Когда клянет вас и клеймит
Народ, детей пугая вами.

И будет вас самих душить
От вас идущий чад зловонный,
И вы сойдете в землю — гнить,
Сожрав свой плод мертворожденный!

КРАСИВСКИЙ Зиновий Михайлович — род. в 1930 г. на Западной Украине. В послевоенные годы вместе со всеми жителями села, подозреваемыми в помощи украинскому подполью, вывезен в Сибирь. Бежал с дороги, схвачен и приговорен к 5 годам. Отбывая срок на шахте в Караганде, получил тяжелое увечье. Как инвалиду, ему разрешили вернуться на Украину, где он окончил институт и женился. Написал исторический роман, который не был опубликован в связи с новым арестом в 1967 году. За участие в организации «Украинский Национальный Фронт» приговорен к 5 годам тюрьмы, 7 — лагерей, 5 — ссылки. Во Владимирской тюрьме написал книгу стихов — «Невольницькі плачі», — изъятую на обыске и безвозвратно утраченную. За «стихи националистического содержания» против него в декабре 1971 года возбуждено новое дело. Направлен в Институт Сербского, признан невменяемым и до сентября 1976 года содержался в Смоленской психиатрической тюрьме, откуда переведен в психбольницу общего типа во Львовской области. До последнего времени его переводили из больницы в больницу, и слухи об освобождении пока остаются неподтвержденными.

ВЕНГЕРСКИЙ ДНЕВНИК

Памяти Михаила Кольцова

Вторник, 30 октября 1956

В САМОЛЕТЕ

Наконец — после всей беготни и заклинаний — я в самолете, которым отправляют в Будапешт очередной груз польской крови и лекарств. Под крыльями — безбрежная Сибирь облаков. Потом просвет, заржавелые поля, недвижные пути-дороги, Венгрия.

Я отыскиваю в памяти эту страну, какой узнал ее семь лет назад, в солнечные сентябрьские дни конгресса ВФДМ и дела Райка. Людные, шумные улицы, погребок, где цедили дешевый сладкий мускат прямо из бочки, старуха, салютующая поднятым кулаком... Но упрямей всего встает одна картина, которую все эти годы долго и безуспешно гнал я, а она всё не отставала.

Высокий пожилой мужчина наклоняется ко мне, его кустистые брови почти щекочут мне лицо, его пронзительный шепот пробивается сквозь мое сопротивление:

— Я не первый день в партии. Ласло Райка знаю по Испании и по лагерю. Что сейчас творится — преступление и обман.

— Зачем ты мне это говоришь? Я тебя не знаю — может, я тебе и не верю.

— Потому и говорю, что ты меня не знаешь. С таким только и можно сегодня говорить в Будапеште.

...Мы приземляемся на полупустом аэродроме. Нас окружает группа вооруженных штатских и солдат

с трехцветными повязками и нашивками. У некоторых нашивки поверх траурного креста. Мы молчим и не задаем вопросов.

РАЗГОВОР С МАРЬЯНОМ

Марьян здесь уже несколько дней. Он выглядит страшно растерянным. С трудом я добиваюсь, чтобы он рассказал, что видел сегодня.

Вместе с Кшиштофом он был свидетелем штурма горкома партии, где защищались десятка два человек из АВН.

АВН — это жандармские отряды политической полиции. Привилегированные, щедро оплачиваемые (зарплата «авоша» вдесятеро выше средней зарплаты рабочего), на жизнь и на смерть связанные с кровавым режимом Ракоши. Янычары из АВН до самого последнего времени держали страну в тисках такого террора, о каком у нас не имели понятия. Ни после ликвидации Бери, ни после отставки Ракоши и ареста Фаркаша — в АВН не произошло никаких перемен. 23 октября, когда они открыли огонь по безоружной демонстрации, мера терпения переполнилась. Вспыхнуло восстание, и к нему тут же присоединились армия и милиция. АВН, официально распущенные правительством Надя, не подчинились решению о роспуске и продолжали провоцировать и сеять смерть. Тогда волна народного гнева залила Будапешт.

Марьян рассказывает, как толпа при поддержке нескольких венгерских танков наступала на крепость авошей. Они защищались яростно, их залпы укладывали штурмующих на месте. Но вскоре их вытащили из здания, и тогда...

У Марьяна дрожат губы, он белее мела.

— Я никогда еще не видел, как людей линчуют. Их вешали за ноги, нескольких разорвали буквально в клочья. Потом прибыли организованные повстанцы

— Национальная гвардия — и отстояли остаток пленных. Но те, кого не успели отбить...

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БУДАПЕШТУ

Темная, пустая улица. В нескольких десятках метров от нас маячат черные корпуса танков.

— *Стой, кто идет!**

Солдатик ежится от холода и страха, его блеклые глаза разбегаются, окоченевшими пальцами он ворокает странички наших непонятных паспортов. Он вроде бы не очень понимает, кто мы и зачем в такой час идем в парламент. Но в конце концов машет рукой:

— *Проходи!*

Снова длинная пустая улица, только посветлей и пошире. На углах таблички с выскобленным названием. Это одна из главных улиц Будапешта — Андрашиут. Соскоблена фамилия Сталина.

Мы идем, не зная твердо, верно ли держим направление. Прохожие редки, зато мимо нас постоянно прогрохатывают глухо задраенные бронемшины. Они словно живут сами по себе, без человека, и общаются с миром одними орудийными прицелами.

И опять пусто. Мы ускоряем шаг. Вот на углу сгрудились люди. Однако раньше, чем мы добираемся до них, из-за перекрестка вылетает мотоцикл с двумя венгерскими офицерами. Молниеносно, как карточная колода, взлетает пачка белых листовок — мотоцикл поворачивает и исчезает — листовки медленно облетают на мостовую. Текст короткий, слепо отпечатанный на ротаторе, несколько знакомых венгерских слов не помогают нам уловить смысл. Мы подходим к кучке людей на углу — это молодые парни, некоторые держат в руках те же листовки.

* Всё, напечатанное курсивом, — по-русски в тексте. — Прим. пер.

— Sprechen Sie deutsch? Parlez-vous francais? Do you speak English?

Оказывается, ребята немного говорят по-русски — только русский преподавали в школах. Узнав, кто мы, они приглашают нас с собой, приводят в комнатенку, увешанную семейными фотографиями. Появляется хозяин — коренастый, усатый рабочий. Пожимая нам руки, называет одну из распространенных венгерских фамилий. Мы угощаем друг друга сигаретами, один из ребят переводит листовку. Она подписана группой войск противовоздушной артиллерии, их первое требование — русские должны оставить Будапешт до 12 часов завтрашнего дня.

— Мы все этого хотим, — комментирует наш юный переводчик. — Это самое главное.

Другие согласно кивают головами. Хозяин, поколебавшись, спрашивает о Польше и глядит на нас с надеждой.

И снова мы блуждаем по незнакомым улицам. Повстанческие патрули дружелюбно указывают дорогу. Автомобиль с трехцветным флагом, напрягшимся, как парус. Два молодых офицера провожают нас почти до цели. И наконец — огромная, пустая, темная площадь перед куполообразным массивом парламента. Мы обходим его кругом, разыскивая вход.

Вот торжественные парадные двери — я помню их еще с тех времен. Два раза в день мы входили тут на совещания «молодежи мира». Возле той каменной балюстрады обычно стояли греческие девушки в комбинезонах — партизанки с Граммоса. Здесь же, при входе, французские делегаты продавали альбомы импрессионистов, чтобы заработать на обратную дорогу. Дальше шла лестница, на которой эlegantные офицеры и одетые в форму активисты проверяли пропуск. Конечным пунктом был многоярусный зал заседаний, окруженный бесчисленными галереями, — здесь на множестве языков произносились длинные

речи в защиту мира. При слове «Сталин» мы все поднимались, яро скандировали два энергичных слога и аплодировали собственному энтузиазму, пока не опухали ладони...

Сейчас парадный вход заперт и глух. Другого мы, как ни бьемся, не находим. Мы уже готовы уйти, как вдруг неслышно подъезжает машина. Кшиштоф хватается за дверцу и принимается по-французски объяснять сидящему рядом с шофером, что мы польские журналисты и хотим попасть в парламент, поговорить с кем-нибудь из членов правительства. Пассажир — невысокий, моложавый брюнет — улыбается:

— *Par exemple, avec moi?*

Через минуту мы уже в парламенте.

В ПАРЛАМЕНТЕ

Нашего собеседника зовут Геза Лошонци. Известный деятель левого крыла коммунистов, он долгие годы был отстранен от дел и подвергался преследованиям. Только теперь он стал государственным министром и членом узкого кабинета правительства. С легкой иронией он сообщает, что у него еще ни помещения, ни секретарши и вообще он не блестяще знает здание, куда нас привел. Вместе с ним мы довольно долго блуждаем по мрачным коридорам, полным пурпура и позолоты в стиле начала века. В этой покинутой людьми императорско-королевской роскоши что-то и жуткое, и гротескное. Ковры глушат шаги. Кажется, повернешь голову и увидишь, как некто бесшумно крадется за нами. Человек? История?

Но вот большая, освещенная, прокуренная комната. Здесь и в двух соседних кабинетах работают члены правительства, а с ними несколько писателей и журналистов. В комнату постоянно кто-то входит: то солдаты, не вытягивающиеся по стойке смирно, то рабочие со списками требований на тетрадных листочках,

то небритые студенты. Никто не спрашивает пропусков, никто не говорит: «Сейчас узнаю, примут ли», — каждый идет прямо к тому, с кем собирается говорить. Разговоры ведутся стоя, посреди комнаты и по всем углам. Кто-то звонит по телефону, кто-то оперся на подоконник и крупным, нервным почерком исписывает блокнот. Приток делегаций не устает ни на минуту. У товарищей, которые их принимают, синяки под глазами, но они крепко жмут руки ходокам — прощаясь с одними и тут же здороваясь с новыми.

Наше интервью идет с перебоями. Появляются новые собеседники, предыдущих отзывают к другим делам. Мы говорим обо всем: о характере венгерской революции, о кристаллизующейся программе правительства народного единства, о требованиях ревкомов, о перспективе на ближайшие часы и дни. Правительство еще не окончательно сформировано, предполагается сделать его более представительным. Только что шли переговоры с социал-демократами — к сожалению, они пока отказались войти в правительство, заявили, что предпочитают выждать. Но и в нынешнем составе правительство, можно сказать, с минуты на минуту расширяет свою базу. Об этом свидетельствует условная поддержка, выраженная несколькими наиболее серьезными повстанческими группами, — под их требованиями и правительство готово подписаться. Самые срочные из этих требований: вывод из Венгрии советских войск, легализация политических партий, свободные выборы, наказание виновных. Примерно такую программу только что предложила революционная группа VIII и IX районов Будапешта, во главе которой стоят два офицера, несколько рабочих и студентов, писатель и парикмахер...

Марьян опять рассказывает, что он видел утром. Его это гнетет — и он ищет ответа у венгерских товарищей-коммунистов. Помолчав, один отвечает:

— Поверьте, мы не садисты. Но этих людей ей пожалеть мы не способны.

Берет слово седой Золтан Санто, член созданной несколько дней назад директории Венгерской партии трудящихся, бывший посол в Варшаве:

— Мы переживаем великую трагедию, трагедию народа и трагедию партии. Над этим народом совершили насилие. Коммунисты виновны — народ отвернулся от коммунистов. Народ прав. Мы должны наконец пойти с народом. Уже очень поздно, мы как партия потеряли почти всё, но мы должны пойти с народом. Нельзя умножать стыд, которым мы покрыты.

Ужасна эта боль старого человека, который всю жизнь отдал идее, а на склоне лет обнаружил, что был сообщником преступников.

— А они? С ними что?

— Они-то... Те... Да что там, их уже нету в стране. Уехали.

НОЧЬ

Мне, собственно, следовало бы поставить новую дату — полночь давно миновала. Но для меня только кончается первый день в Будапеште.

Мы уходим из парламента, хотя товарищи предлагают остаться до утра: в городе может быть небезопасно. Поскольку мы все-таки твердо решили уйти, нам дают эскорт — двух солдат с автоматами. Внизу мы нечаянно забредаем в зал, где целая команда укладывается спать вповалку. Когда солдат сразу так много, бросается в глаза тождественность венгерского и советского обмундирования. Однако ничто не помогло: революция сорвала погоны, приколола трехцветные кокарды — и вчера войска-близнецы стали друг против друга...

На улице нам встречаются те же офицеры, что несколько часов назад указали нам дорогу в парламент.

— Ну как, поговорили с правительством? Что они говорят — уйдут русские из Будапешта?

— Говорят, уйдут.

Наши опекуны останавливают машину Красного Креста. Садимся. Двигаемся медленно, колеса еле ползут по пустой улице. За несколько сот метров до советских позиций останавливаемся — там же, где нас задержали по дороге сюда. Выходим, машина уезжает обратно.

— *Стой, кто идет!*

На этот раз перед нами смуглый парень, черноглазый, волоокый. Проверив документы, он охотно заводит разговор. У него характерный кавказский акцент, не признающий русских смягчений:

— *Зачэм лудэй бьем? Нэ разбэрошь, кто прав, кто виноват. Вэртуться бы живым в Армэнию...*

Отсюда до гостиницы два шага. Будапештская ночь сгущается, всё поглощает: фигурки патрульных, грубые очертания танков, свисающие с домов трехцветные и траурные флаги. Тихо — ни лязга гусеницы, ни выстрела, ни стопа.

Среда, 31 октября

УТРО

Пришла Ханка. Усталая, невыспавшаяся. Марьян на нее накинулся:

— Ты что это вытворяешь?

Ханка оправдывается: в здании бывшей «Сабад Неп» она передавала по телетайпу корреспонденцию в Варшаву. Было поздно, среди ночи не стоило возвращаться в гостиницу. Она осталась до утра, повстанцы о ней позаботились: накормили, притащили мягкое кресло, прикрыли сорванной занавеской.

Ханка — неистощимая энтузиастка. Иногда это утомляет, иногда — заражает. Без таких, как она,

всегда безошибочно и пылко встающих на сторону правого дела, революции были бы невозможны. В Будапеште, должно быть, много светловолосых венгерских Ханок. Не удивляюсь, что она всем сердцем с ними и гордо носит приколотую к груди трехцветную кокарду.

Она рассказывает о своих друзьях — повстанцах из группы Дудаша. Она познакомилась с ними несколько дней назад, когда они захватывали огромное здание «Сабад Неп». Они тогда явились в редакцию и стукнули кулаком по столу:

— Хватит кормить народ ложью и руганью.

Редакторы возмущенно заявили, что не станут разговаривать с хулиганьем, и покинули помещение. «Сабад Неп» перестала существовать. Молодежную редакцию «Сабад Ифьюшаг» — в том же здании — не тронули. А польской журналистке оказали сердечную помощь, без которой трудно было бы ей работать в разрушенном, дезорганизованном, почти отрезанном от мира Будапеште.

— Хочешь, познакомлю? — спрашивает Ханка.

УЛИЦА

Полдень. Последние советские танки выходят из Будапешта. На улицах толпы. Стены, витрины, доски объявлений кричат кривобокими буквами: «Не верим Имре Надю!», «Русские — домой!», «Всеобщая забастовка до полного ухода русских из Венгрии!»

Кое-где следы недавних боев. Угол дома иссечен пулями, булыжник вырван из мостовой, тротуар засыпан стеклом. Витрины в магазинах вышиблены, но обувь, игрушки, бутылки вина стоят нетронутыми. Ни одна жадная рука не протягивается к ним...

Но вот книжный магазин общества советско-венгерской дружбы. Эту дружбу расстреляли, растоптали танками. Теперь перед разгромленным магазином

догорает длинный, плоский курган из книг. В золе белеет обгорелый лоскут. По характерному шрифту узнаю: «За прочный мир, за народную демократию»...

Мы пытаемся вникнуть в содержание бесчисленных листовок и призывов, густо расклеенных по улице. В листовке, темной от ротаторной краски, повторяется имя Миндсенти — требуют его освобождения. Сегодня, он, кажется, уже освобожден. Поперек призыва кто-то написал красным карандашом: «Nem tel komunismus!» Ту же самую рукописную надпись мы встречаем еще несколько раз. Старичок в истертом пальтишке и выцветшей шляпе, к которому мы обратились с вопросом, знает немецкий и охотно объясняет:

— Это значит «мы не хотим коммунизма». — И от себя добавляет: — У нас никто не хочет коммунизма. От младенцев до стариков — никто. Нам его вот как хватило, на всю жизнь!

РОВЕСНИКИ

Пустой короткий переулок. Но в обоих его концах группы людей молча смотрят, как осаждают дом вооруженные парни с трехцветными повязками. В нескольких шагах ждет открытая машина.

Это продолжается охота на скрывающихся авошей. Мы подходим как раз в тот момент, когда гвардейцы вытаскивают из подъезда двух бледных мужчин в штатском. И тем, и другим на вид не больше, чем лет по двадцать.

Их возраст внезапно пробуждает во мне еще одно — пожалуй, уж последнее — воспоминание о далеком фестивальном Будапеште. Мы жили тогда в школе на улице Белы Бартока, в Буде. Стоило нам выйти из дому, как нас окружала туча тринадцатилетних мальчишек с блокнотами для автографов и значками для

обмена. «Szervus, lengyel!»* — кричали они, босоногие, оборванные, но по-детски жизнерадостные. Может, кого-то из них повстречал я сейчас? Может, вон тому рослому повстанцу в ватнике и берете я написал когда-то в блокнот «Привет из Варшавы»? А может — этому авошу в надвинутой на глаза кепке? Обоим тогда было лет по тринадцать...

Повстанцы вталкивают авошей в машину и влезают сами, плотно окружая арестованных. Машина трогается. Люди на углу поднимают крик, угрожающе размахивают руками. Повстанцы берут наизготовку сжатые в руках револьверы, заслоняют авошей от злобных возгласов толпы. Машина медленно пробивается сквозь неохотно расступающуюся стену людей.

В РЕДАКЦИИ

Теперь в прежнем здании «Сабад Неп» несколько новых редакций. В единственной из старых — «Сабад Ифьюшаг» — журналисты толкуются по комнатам, бессмысленно разглядывают обои, молчат.

— Что случилось?

— Союз молодежи распущен. Газета больше не выходит.

— Наша редакция была в первых рядах борьбы за свободу, — говорит кто-то с нескрываемой горечью, — а теперь на свалку...

Сегодня конец месяца. Кассирша выплачивает нашим безработным коллегам последнюю зарплату.

СНОВА УЛИЦА

Маленькая, пухлая Жужа провожает нас от редакции до Революционного комитета интеллигенции.

* «Привет, поляки!» (венгер.) — Прим. п е р.

— Что ж это выходит? — спрашиваем. — Обидела вас революция?

— Кто захочет, всегда найдет себе место в революции, — серьезно отвечает Жужа.

Улица еще голосистей, чем была. На стенах новые надписи, призывы, карикатуры. На дверь, мимо которой мы проходим, кто-то прикрепляет большой красочный герб Кошута с надписью: «Партия мелких землевладельцев».

— Десятка четыре партий образовались сегодня в Будапеште, — сообщает Жужа.

Газетчики продают издания этих партий. Пожалуй, охотнее всего раскупают социал-демократическую «Непсаву».

Мальчишки суют нам листовки, начинающиеся жирным заголовком: «Nagy Imre 'ben bizalmunk!»

Жужа переводит: «Мы верили Имре Надю!»

Смысл листовки такой: мы ему верили, с его именем вышли на первую демонстрацию 23 октября. Потом мы потеряли к нему доверие: слова его были двусмысленны, а поведение неустойчиво и непоследовательно. Только теперь мы знаем, в чем дело: Имре Надь фактически был пленником клики Эрне Герё. Когда он выступал по радио, у него за спиной стояли агенты с пистолетами. Теперь Надь по-настоящему возглавляет правительство и выражает справедливые народные требования, и мы возвращаем ему наше доверие и поддержку.

Подписана листовка революционной студенческой молодежи.

В РЕВКОМЕ

Комитет, куда нас впускает бдительная охрана из вооруженных студентов, помещается на юрфаке Будапештского университета. Еще вчера он назывался Ревкомом интеллигенции, поскольку возник в дни вос-

стания как неформальный коллектив левых интеллигентов: профессоров, писателей, юристов, — желавших поставить на службу событиям свою коммунистическую мысль. Однако в ходе востания авторитет комитета возрастал, к нему начали присоединяться представители фабрик, молодежи, армейских соединений. Как раз сегодня по всеобщему требованию он преобразован в Будапештский ревком.

Обо всем этом нам рассказал профессор Маркуш — коммунист, участник Клуба Петефи, а сейчас председатель ревкома. Он стал им за несколько часов до того, как мы вторглись в небольшой зал заседаний, в лихорадочную дискуссию активистов. Тут мы услышали и о проектах дальнейшего расширения рамок деятельности Ревкома, о необходимости контактов с кругами, прежде с Ревкомом не связанными, с разными политическими партиями и т. п. Как раз, когда профессор Маркуш говорил об этом, в зал заседаний входил исхудалый, опирающийся на палку священник.

Но весь этот разговор был в конце нашего похода в Ревком. Перед тем мы долго кружили по длинным коридорам, по прокуренным прихожим, по усыпанным окурками холлам. Мы разглядывали толкущихся, шумящих, красноречиво приветствующих друг друга людей, и у каждого было неотложное дело к Ревкому: программа, прокламация, план действий, предложение контактов. И в этой самой толпе, где сначала мы почувствовали себя такими потерянными, произошли две неожиданные и очень важные для меня встречи. Спешившая по своим делам Жужа беспомощно оглядывалась в поисках, кому бы передать хлопотливых гостей, кто бы мог быть нам переводчиком. И тут к нам подошла невысокая женщина в косынке:

— *Я говорю по-русски.*

Откуда? Несколько лет прожила в Москве. Оказывается, перед нами дочь Дьердя Лукача Анна. Разговор

сходит на общих московских знакомых, а потом — мгновенное озарение:

— Так вы, наверно, знаете и Маргит?

— Маргит?! У меня с ней как раз здесь свидание, она вот-вот придет.

Действительно, через минуту я вручаю маленькой темноволосой женщине-философу письмо, которым снабдил меня Лешек.

— Значит, я должна растолковать вам нашу революцию? Идемте.

Мы сидим в большой, пустой, темной аудитории. Маргит и ее коллеги подробно рассказывают мне о 23 октября — они все были в числе демонстрантов, а вот этот парень со сросшимися бровями пытался вручить на радио резолюцию демонстрантов... Они рассказывают о революционных и социалистических лозунгах, с которыми вышли, и о кровавой расправе над безоружными в ответ на эти лозунги. День за днем излагают они мне ход революции и сталинской контрреволюции — и я снова убеждаюсь, что мы в Варшаве не ошиблись, видя венгерское движение благородным и близким нам. Наконец рассказ доходит до нынешнего дня. Мои собеседники настроены оптимистически: из хаоса и раздробленности, считают они, уже вырисовываются очертания новых форм социального движения и революционного общества. Они рассказывают, что сегодня, когда традиционные партии либеральной демократии выступили открыто, формируется и такая партия, какой еще не было: Революционная партия молодежи. Это будет большая, динамичная партия, выросшая из демократического движения последних месяцев и из восстания, — партия, полная решимости бороться за человеческое лицо социализма.

— У нас же в стране социализма никогда не было, — говорит кто-то. — Была картотека полутора миллионов стукачей в AVH, но разве это и есть социализм?

— А каково будет отношение партии молодежи к коммунистам?

— Независимость и искренний союз. Разумеется, если они отрясут с себя сталинизм. Если же нет....

— У коммунистов тоже реорганизация, — говорит Маргит. — Будет новая партия, с другим названием, с новым руководством. Над этим сейчас работают Надь, Лошонци, Лукач...

— А Кадар?

Маргит кривится. Парень со сросшимися бровями машет рукой. А Анна спрашивает:

— Хотите повидать Лукача? Он вам подробней расскажет о новой партии.

— А застанем ли мы его?

— Да, он сейчас всё время дома, чтобы каждый мог его застать.

Ну, прорываемся еще к профессору Маркушу (об этом я уже рассказал), натыкаемся в коридоре на страшно занятую Жужу («знаете, будем издавать новую газету — орган Революционной партии молодежи») и идем с Анной Лукач к ее знаменитому отцу.

У ПРОФЕССОРА ЛУКАЧА

Я, конечно, мог себе представить, что когда-нибудь в жизни встречу Дьёрдя Лукача. О чем бы я с ним говорил? Наверно, о гегелевской эстетике, о критическом реализме, о Томасе Манне. Но мог ли я вообразить, что познакомлюсь с Лукачем в таких особых обстоятельствах и что первой его фразой будет:

— Культуру оставим в покое, ладно? Есть дела поважней.

Между прочим, Дьёрдь Лукач в правительстве Надя... министр культуры.

Окна уютной профессорской квартиры выходят на Дунай. Стены окружают нас плотными шеренгами разноцветных переплетов. Напротив лампы застыл в

издевательской улыбке азиатский идол. Мы сидим вокруг большого семейного стола и говорим о делах «поважнее культуры».

Сын профессора, инженер, год назад уволенный из тамошнего Госплана, рассказывает, как уничтожили гордость и богатство Венгрии — виноградники. Потом он объясняет механизм на вид весьма эффектного, а по существу напрасного и разрушительного роста производства в странах народной демократии. Я не стану приводить здесь его интересных рассуждений, которые во всяком случае меня, невежду, убеждают. Седовласая жена Лукача спрашивает меня, как происходил польский Октябрь. Наконец, разговор сворачивает на вопрос о партии. Выясняется, что внутри нынешнего руководства ВПТ идет отчаянная борьба двух тенденций: одни хотели бы продолжать несколько обновленную, но в общем-то прежнюю линию, другие жаждут полностью отвергнуть сталинские традиции ВПТ и создать совершенно новую марксистскую партию. Профессор Лукач, разумеется, принадлежит к этому второму, революционному течению.

— А кто еще?

— Надь, Лошонци, Санто, Донат, Кадар...

— И Кадар? — переспрашиваю я.

Какие могут быть сомнения, не понимает профессор.

Новая партия не может рассчитывать на скорый успех: коммунизм в Венгрии основательно скомпрометировал себя. Вокруг партии, очевидно, соберутся маленькие группы прогрессивных интеллигентов, писателей, немного молодежи. Рабочий класс, вероятнее, пойдет за социал-демократами. На свободных выборах коммунисты получают пять, максимум десять процентов голосов. Может, не войдут в правительство, окажутся в оппозиции... Но партия будет существовать, сохранит идею, станет интеллектуальным центром, а спустя годы — кто знает...

Пока она, однако, всё еще не создана, продолжают споры об оценке положения, и в то время как все другие партии возникли, коммунисты опаздывают не меньше, чем на сутки.

Мы договариваемся, что я позвоню завтра.

ПАРНИ ДУДАША

Поздний вечер. В тесной комнатке, на каком-то там этаже бывшего здания «Сабад Неп», сопит и чихает усталый телетайп. Ханка передает нашу общую корреспонденцию в «Штандар Млодых». Мы попытались описать в ней, что видели в Будапеште: развалины человеческой веры в лозунги, которые где-то и когда-то звучали возвышенно и чисто, развалины надежд на какой-то иной социализм, нежели пережитый здесь. А дальше мы робко, с сомнением намекнули на возможность что-то спасти из-под развалин — эту возможность, нам кажется, мы тоже сегодня заметили...

Ханка играет на нервной клавиатуре телетайпа. В другом углу что-то, чего нам не понять, кричит из приемника диктор «Свободной Европы». Над приемником склонился худой брюнет в солдатской гимнастерке: я знаю, что это талантливый молодой пианист, несколько дней назад — рядовой венгерской армии, теперь — подчиненный одного из повстанческих вождей Йожефа Дудаша.

Другой «дудашевец», плотный, щербатый, светловолосый, с револьвером за пазухой и фотоаппаратом «Киев» через плечо, презрительно машет рукой в сторону радио:

— Тоже обман. Пропаганда.

С этим парнем мы разговариваем по-русски. Он учился в одном из ленинградских институтов, теперь работает техником на радиозаводе.

На том же заводе работает кудрявый инженер, знающий немецкий, — он сидел в гитлеровских концлагерях.

— А это — правда или обман? — спрашиваю я, подавая им листовку о Наде.

Они внимательно читают.

— Это, пожалуй, правда.

По тесной комнатке кружат вооруженные штатские и солдаты — парни Дудаша. Веселые, сердечные, гостеприимные. Принесли нам сыр и шоколад, пытаются приготовить чай на упорно не включающейся плитке. Из разговоров ясно, что мыслят они открыто и, во всяком случае, не в лозунгах мракобесия. Среди них есть и члены партии. Никак не сообразишь этих парней с расхожим мнением, будто группа Дудаша — это фашисты.

Вдруг Ханке приходит гениальная идея:

— Иштван, а не поговорить ли нам с вашим командиром?

* * *

Опять я вернулся в гостиницу за полночь. Марьян еще не спал — мне пришлось дать ему подробный отчет о сегодняшних встречах и наблюдениях. Я не преминул похвастаться, что на завтра мы договорились о встрече с Дудашем.

— Об этом твоём Дудаше нехорошее говорят.

— Кто?

— Да хоть бы Малетер.

Оказывается, Марьян был сегодня на объединительной конференции разных войсковых группировок, принимающих участие в восстании. Там был создан Революционный совет Венгерских вооруженных сил, которому будут подчинены все отряды венгерской революции. Во главе совета поставлен один из славных вождей восстания полковник Пал Малетер.

— А ты не думаешь, что неприязнь Малетера к Дудашу может объясняться чем-нибудь вроде личного соперничества?

— Да ты что! Малетер — выдающийся военный, старый коммунист, в войну был в советских партизанских отрядах, орденами награжден. А Дудаш?

И все-таки Марьян хочет пойти завтра с нами на это интервью.

Четверг, 1 ноября

СТУДЕНТЫ

Утром пришли студенты, знакомые одного из наших журналистов. Среди них девчонка с шапкой волос и огромным автоматом, грозно выставившим дуло. Ее спросили, умеет ли стрелять, — она ужасно обиделась.

Потом пошел разговор, что вешают авошей. Мы знаем, что гвардейцы принципиально не принимают в этом участия, часто даже вырывают авошей из рук разъяренной толпы. Но как относятся наши новые знакомые к самой проблеме самосудов?

Студентка выразительно пожимает худенькими плечами.

— А вы не думаете, — спрашиваем мы ее, — что среди линчеванных могут оказаться совершенно невинные?

Нет, этого она не допускает.

Тогда мы рассказываем, что во вторник, после захвата горкома партии, где укрепились большая группа офицеров АВН, жертвой самосуда пал, в частности, второй секретарь горкома, который при Ракоши несколько лет просидел в тюрьме и только недавно вышел. Никто не стал слушать его объяснений, что он ничего общего с авошами не имеет, что он только находился в занятом ими здании, — с ним поступили,

как с теми. А только что новое известие: сегодня ночью убили одного коммуниста вместе с семьей — мы знаем адрес, где это случилось. Мы не хотим обобщать этих нетипичных случаев — но можно ли ими пренебречь?

Студенты смущены и встревожены. Участники великого и чистого движения, они не заметили грязной кровавой пены на гребне волны. Им не пришло в голову, что гнев народа, чаще всего справедливый, бывает слепым и бессмысленно жестоким.

ПАМЯТНИК

Я перехожу ту самую площадь, где в первый день революции его свалили с пьедестала. Точнее, срезали ацетиленом на высоте коленей. Остался единственный в своем роде памятник — пара огромных сапог на высоком постаменте. Из правого голенища еще торчит шутовской пук соломы — приглашает очередного желающего влезть в сапоги...

Их прежний владелец был перетащен за несколько улиц от площади его имени и брошен на мостовую. Глухим эхом отдаются размеренные удары. Бронзовый гигант превращается в кучу бесформенных обломков.

Каждому хочется взять на память осколок Сталина.

АТАМАН

Высокий, широкоплечий, темноволосый, с выразительным, хотя скорее отталкивающим, широким скуластым лицом. Тирольская шляпа, пальто брошено на плечи, как романтический плащ, пистолет за поясом, черные краги. Он входит в комнату в окружении свиты, среди его приближенных — молодая женщина, набожно записывающая каждое слово вождя.

Вот краткая биография Йожефа Дудаша, сообщенная его личным пропагандистом. Родился Дудаш в 1912 г., по профессии инженер-механик. Был в компартии, вышел из нее в 1940-м. Перешел в Партию мелких землевладельцев, сразу после войны был выбран в парламент. С 1946 по 1954 гг. без процесса и приговора сидел в разных тюрьмах и лагерях. Принял участие в восстании с самого начала, сражался на Московской площади, организовывал ревкомы. Группировка, во главе которой он сейчас стоит, называется Национальным ревкомом.

Мы просим Дудаша очертить характер его движения. Не задумываясь, он дает четыре эпитета: национальное, революционное, демократическое, социалистическое. Программа движения: немедленно вывести русские войска из Венгрии; создать единый фронт правительства и революционных сил — рабочих, крестьянских и солдатских советов, а также других народных представительств; пополнить правительство представителями исторических демократических партий; никакой терпимости к правым и фашистским группировкам; сохранить социалистическое устройство, одновременно гарантируя всем гражданам свободу совести и отвергая экономический догматизм.

— Мы исходим, — заканчивает Дудаш, — из требований жизни, из общественной целесообразности, из интересов рабочего класса и крестьянства и при этом стоим на платформе национального единства.

Всё это звучит слишком общо, чтобы вызвать почтение к политическим способностям нашего собеседника. Мы всё же пытаемся прижать его к стенке и спрашиваем, как он относится к существующим партиям и не думает ли создать свою.

— Сейчас важно закрепить достигнутое в ходе революции. Позже, если развитие не остановится, я,

вероятно, вступлю в какую-нибудь партию, ставящую названные цели.

— Какая партия вам ближе всех?

— Ни одна партия сегодня еще не разработала экономической программы. А по важнейшим политическим вопросам между демократическими партиями царит согласие, и все мне одинаково близко.

— Поддерживаете ли вы нынешнее правительство?

— Частично. Полностью я мог бы поддержать коалиционное правительство, куда вошли бы Имре Надь, Янош Кадар, Бела Ковач, Анна Кетли, Сандор Кишш, а также представитель Национального ревкома.

Нетрудно догадаться, о каком представителе идет речь. В ходе разговора всё ощутимей, что, независимо от программы, у Йожефа Дудаша еще и незаурядные личные амбиции. К концу они обнаруживаются со всей откровенностью.

— Наши ближайшие задачи: сформировать временное коалиционное правительство, установить вместе с русскими сроки вывода их войск, назначить дату всеобщих свободных выборов, навести в стране порядок и спокойствие. Ввиду этого я вступил вчера вечером в контакт с Москвой и предложил общие шаги с целью урегулирования положения. Я предложил также правительство в том составе, как я только что говорил.

Не знаю, обычный ли это блеф или за этим что-то реальное. Во всяком случае, устремления Дудаша не из самых скромных. Так кто же он, этот вождь Национального ревкома, выпускающий свою газету, устраивающий вокруг себя атаманские мизансцены, хвастающий «контактом с Москвой» и — в интервью польским журналистам — заявляющий желание войти в правительство? Действительно ли он фашист? На чем основано такое мнение? Или попросту атаман, авантюрист, «сильный человек», рвущийся к личной популярности и власти? А если так — то насколько он

опасен для революции? И много ли еще потенциальных Дудашей в этой стране?

ПАРТИЯ

Как вчера договорились, звоню профессору.

Да, кое-что он уже может сказать. Партия создана. Она называется Венгерская рабочая социалистическая партия. Сегодня по радио передадут ее программное заявление, а завтра выйдет первый номер новой газеты «Непсабадшаг» («Народная свобода»). Образован оргкомитет в составе семи человек. Есть ли у меня под рукой блокнот? Профессор диктует: Имре Надь, Геза Лошонци, Золтан Санто, Янош Кадар, Ференц Донат, Дьёрдь Копачи, Дьёрдь Лукач.

Главный редактор газеты — Шандор Харасты, замечательный журналист, в последние годы отовсюду уволенный...

Да, партия совершенно новая, с новым членством, ни один прежний член ВПТ не переходит в нее автоматически...

Ну да, конечно, я могу звонить. Профессор охотно сообщит мне всё, что будет нового...

Я откладываю трубку и думаю о мужестве людей, которые решили остаться на посту. Может показаться парадоксальным, что именно эти бунтовщики, которых в прежней партии преследовали за всяческие уклонения, отстраняли от дел, клеймили, сажали в тюрьмы, — в трудном и опасном положении поднимают знамя коммунизма, а ортодоксальные горлодеры способны только унести за границу свои драгоценные головы, послав народу на прощанье автоматные очереди. Но это не парадокс — это закон.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

А тем временем с утра в Будапешт стекались тревожные вести: венгерскую границу со стороны СССР и Румынии непрерывно пересекают все новые отряды советских войск, занимают аэродромы, железнодорожные узлы, все стратегические пункты.

На официальный запрос Имре Надя (он сегодня к функциям премьера присоединил портфель министра иностранных дел) посол Андропов заявил, что это ложные слухи и никто не вводил в Венгрию новых соединений.

Через несколько часов запрос повторяется. Ответ: речь идет только о том, чтобы обеспечить эвакуацию мирных советских граждан и раненых солдат.

Вечером Имре Надь созвал пресс-конференцию. Только наши журналисты догадывались, в чем дело: они знали о тщетных дипломатических усилиях, о напрасных попытках посредничества, о том, что Надь исчерпал все возможности, прежде чем решиться на последний, отчаянный шаг. Конференция долго не начиналась, западные журналисты соревновались в догадках о том, что будет. Наконец, зачитано короткое заявление: в связи с передвижениями новых советских соединений венгерское правительство выражает протест и требует отвода всех советских войск. Одновременно правительство денонсирует Варшавский договор и провозглашает нейтралитет Венгрии.

Пятница, 2 ноября

ГАЗЕТЫ

Со дня на день их всё больше. Почти все редактируются и печатаются в здании бывшей «Сабад Неп», захваченном группой Дудаша. Дудаш лоялен: свою газету издает и другим не мешает. Сегодня к

вееру газет, печатающихся под крылышком Дудаша, прибавилась коммунистическая «Непсабадшаг». Ее делают бывшие журналисты «Сабад Неп», в разное время уволенные из редакции и подвергавшиеся полицейским преследованиям.

На первой полосе «Непсабадшаг» напечатано воззвание ВСРП — то, что Кадар вчера читал по радио. Вот его содержание:

— Мы обращаемся к тем, кого некогда любовь к народу и родине, благородные идеи социализма привели в ряды партии. Ракоши и его клика сделали партию орудием тирании, растратили нравственный капитал партии. Народное восстание свергло эту клику. Мы по праву утверждаем: товарищи, вы подготовили восстание. Венгерские коммунисты: писатели, журналисты, тысячи рабочих и крестьян, невинно арестованные старые бойцы — сражались в первых рядах. Мы гордимся, что вы приняли участие в вооруженном восстании.

— Мы обращаемся к вам со всей откровенностью. Народное восстание стоит на распутье. Либо демократические партии будут достаточно сильны и защитят власть народа, либо мы окажемся лицом к лицу с контрреволюцией... Еще не миновала страшная угроза иностранной интервенции и превращения Венгрии в новую Корею...

— В этот трудный час те коммунисты, что сражались против клики Ракоши, вместе с многочисленными патриотами и социалистами создают новую партию, навсегда порвавшую со злом минувшей эпохи.

— Партия основывается на идеях национальной независимости и дружбы со всеми странами, в первую очередь — социалистическими. Партия защищает и будет защищать достижения республики: земельную реформу, обобществление заводов, шахт, банков, несомненные социальные и культурные приобретения

народа. Партия борется и будет бороться за демократию и социализм, не рабски копируя чужие образцы, но опираясь на специфику и прогрессивные традиции нашей страны, на марксизм-ленинизм, освобожденный от сталинизма и всяческого догматизма.

— В этот исключительный, нелегкий час нашей истории мы призываем вас присоединиться к нам. Членом партии может стать каждый венгерский трудящийся, который считает наши цели своими и не ответственен за преступную политику клики Ракоши. Мы рассчитываем на всех, кто раньше, из-за режима антинародного руководства, оставался в стороне...

Поразительно, что основные лозунги повторяются во всех газетах, в заявлениях всех политических группировок. И не только требования независимости, но и социальные — те, что провозглашают сохранение основных экономических достижений народной демократии. Даже Бела Ковач, глава Партии мелких землевладельцев, заявил: «Пусть никто не мечтает о возврате прежнего. Мир графов, банкиров, капиталистов исчез навсегда» (это напечатано в их газете «Кишш Уйшаг»).

Один из наших коллег делает отсюда вывод, что программы ничего не значат, а лишь являются словесной завесой для реальных, невысказанных устремлений каждой группировки. Я думаю, это не так: не исключая тайных намерений той или другой партии, я придаю решающее значение общественному мнению, которому должны были подчиниться все движения, желающие удержаться на поверхности. Искренне или неискренне, но они вынуждены хранить верность провозглашенным сегодня программам — иначе они погибнут. А выработка программных различий пойдет вокруг иной проблематики, не той фундаментальной, отношение к которой большинства народа одно и то же и весьма недвусмысленное.

Но вернусь к сегодняшней будапештской прессе.

Газеты печатают призыв заводских ревкомов Ганца, Мавага, Чепеля и ряда других — призыв к рабочим вернуться на работу. Правительство выполнило важнейшие народные требования, будут выполнены и остальные. Продолжение забастовки парализует экономику страны, ослабляя не врага, а революцию. С таким же призывом обратился полковник Малетер, популярный вождь повстанцев, ныне первый заместитель министра национальной обороны.

Другого рода призыв печатает «Непсава», сообщая о вчерашнем заседании руководства социалистической партии. Речь идет о самосудах. «Такие индивидуальные акции, — заявляют социал-демократы, — глубоко оскорбляют, даже пятнают честь революции. Всеми силами надо им противостоять!»

Впрочем, по нашим сведениям, за последние сутки в Будапеште самосудов больше не было.

ЖУРНАЛИСТ

Разговор с Н. Н. в его редакционном кабинете, куда только что поставили пишущую машинку и провели телефон. Из большой соседней комнаты доносятся голоса — там собрание журналистов, бывших политзаключенных.

С Н. Н. мы познакомились вчера у Дудаша. Странно было в свите атамана встретить человека со значком польско-венгерской дружбы на лацкане, почти в совершенстве говорящего по-польски. Он помог нам провести интервью, после чего — всё еще в присутствии «вождя» — добавил по-польски:

— Я переводил всё, что он говорил, я работаю в его газете, но это не значит, что я во всем с ним согласен.

Это звучало довольно загадочно, но мы ничего не решились спросить.

В коридоре Н. Н. рассказал, откуда он знает польский. В войну он во Львове дезертировал из венгер-

ской армии и вступил в АК. В Будапешт вернулся... ярый полонистом. Сотрудничал с нашим посольством, перевел несколько романов. Потом это оборвалось, но Н. Н. по-прежнему интересуется Польшей, читает нашу прессу. Знает даже, о чем у нас идут дискуссии.

Это всё из вчерашнего разговора. Сегодня мы с ним наедине в его редакционном кабинете. Н. Н. разливает по стаканам слабое фруктовое вино.

— И это-то еле раздобыл. С самого начала восстания у нас сухой закон.

Я знаю — еще ни разу не встретил в Будапеште пьяного венгра.

Н. Н. опрокидывает стакан одним глотком и говорит:

— Вы вряд ли догадываетесь, почему я хотел говорить с вами. Я вас знаю. И знаю, что вы коммунист.

Пауза. Н. Н. продолжает:

— Я тоже коммунист.

— Так чего же вы у Дудаша?

— Об этом я и хотел поговорить. Я хочу спросить: что бы вы сделали на моем месте? Имея возможность руководить важным отделом в такой газете, влиять на ее характер — посчитали бы вы это недостойным коммуниста, отказались бы? Или же, придя к выводу, что игра стоит свеч...

Он резко умолкает. Открываются двери соседней комнаты. Бывшие заключенные кончили заседать и выходят в коридор через кабинет Н. Н. Один пожимает ему руку, другой на ходу хлопает его по плечу. Наконец мы снова одни.

— Ну, ладно, — говорю я, — допустим, игра стоит свеч. Да вам же не дадут ее вести. Они же наверняка узнают, что вы коммунист, и вышвырнут из газеты.

Н. Н. доливает вина и, помолчав, отвечает:

— Все знают, что я был в партии и что уже шесть лет, как меня исключили.

В ГОСТИНИЦЕ

Во второй половине дня я вернулся из города и засел писать обещанную корреспонденцию для «Штандара Млодых».

Это будет не столько корреспонденция, сколько письмо друзьям — про всё, что я здесь увидел, пережил и понял...

И вот я сижу в своей нетопленной комнате и пишу. Время от времени выхожу в холл погреться и каждый раз сталкиваюсь с новой стадией «дела нашей гостиницы».

Наша гостиница — здание весьма роскошное. Она принадлежала ЦК ВПТ и предназначалась, в основном, для зарубежных гостей. Когда группа польских журналистов поселилась в ней, большинство номеров пустовало.

Дирекция гостиницы давно смотала удочки, персонал перестал являться на службу, на месте остались только старый портье, истопник (впрочем, котлов он уже не топит) и уборщица (и она не делает уборки).

Вчера вокруг гостиницы начали собираться разномастные соседи, которые, видно, живут в далеко не блестящих условиях и справедливо рассуждают, зачем такому отличному зданию пропадать зря. До штурма, однако, чудом не дошло, всего лишь велись очень спокойные переговоры сквозь застекленные парадные двери. Потом толпа разошлась, но сегодня собралась снова. Нас, когда мы возвращались из города, очень вежливо пропустили.

Портье сегодня был, видать, порешительней, так как, в очередной раз выскочив погреться, я обнаружил кой-кого из толпы в холле и на лестнице. Еще позже все снова сучились у двери и слушали пылкую

речь какого-то мужчины с трехцветной повязкой. А когда я вышел в последний раз, уже закончив статью, — ни в холле, ни у двери никого не было.

— Что случилось? — спросил я истопника-словака, с которым мы объяснялись на русско-польско-чешском волапуке.

— Им человек из квартального ревкома сказал: стыдно, мол, перед иностранцами, что́, мол, иностранцы подумают, революция, мол, должна уважать законы... Ну, они собрались и пошли.

Я вернулся в номер и быстро записал эту непонятную историю, а за нею наспех и все услышанные за последние дни анекдоты из области права времен Ракоши.

ХРЕСТОМАТИЯ ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВА

РАССКАЗ ПЕРВЫЙ

Постановили удалить из столицы непроезжий элемент, пятнающий ее социалистический облик.

Приходили к старым, одиноким, больным людям, сажали их с вещами в грузовики и вывозили в деревни. Чаще всего оказывалось, что никто из крестьян не жаждет принять навязанных властью хлебников. Конвойные спешили и не забивали себе головы чепухой. Оставляли своих подопечных и багаж под первой попавшейся ивой и возвращались в город, где их ждали новые подвиги.

Бывало, шел дождь. Бывало, ударял мороз.

РАССКАЗ ВТОРОЙ

Восстание открыло двери камеры. Вышла женщина-политзаключенная.

Было ей сто один год. Посадили ее в девяносто шесть. За несдачу госпоставок.

РАССКАЗ ТРЕТИЙ

Ему сказали: — Не будем толковать народу о политических разногласиях. Сомнения и дискуссии — это не для народа. Скажем, что была измена, — это доступно воображению каждого. Партия избрала тебя — ты должен пожертвовать собою для партии. Это страшно, но ты же старый товарищ, разве ты можешь не помочь партии?

Потом ему сказали: — Ты во всем признаешься, и мы приговорим тебя к смерти. Приговор не будет приведен в исполнение. Ты сменишь фамилию, поедешь с семьей в дружественную державу, будешь спокойно жить и работать.

Когда его вели на виселицу, он вырывался и кричал:

— Мы же не так договаривались!

Это история Ласло Райка.

РАССКАЗ ЧЕТВЕРТЫЙ

В предыдущей истории он был одним из тех, кто воплощал Закон. Он действовал в соответствии с местом, которое занимал. Вышестоящие не могли на него пожаловаться. Игра шла по правилам.

Но когда того повели на виселицу — этому вдруг не хватило последовательности. Он запротестовал против нарушения уговора. Его арестовали как двурушника и соучастника преступлений повешенного. Спустя годы он вышел совершенно разбитым.

Это история Яноша Кадара.

ВЕЧЕРНИЕ ИЗВЕСТИЯ

За ужином Роман рассказывает о том, как он сегодня был в лагере авошей. Он разговаривал со многими из них: они спокойны и не выражают никаких претензий к повстанцам. Он видел одного авоша,

сильно потрепанного толпой и спасенного чуть не в последний момент. Этого человека обвинили в том, что он попросился в попутную машину, потом убил пассажиров, выбросил трупы и поехал дальше. Он доказывает, что это неправда, ничего он этим людям не сделал, они просто сами вышли из машины. Милиция ведет следствие: окажется виновным — пойдет под суд, а если нет — будет освобожден с соответствующим документом. Сейчас уже многих выпускают...

Мы идем с Ханкой в посольство — звонить в Варшаву. По дороге встречаем Кшиштофа.

— Слыхали?

— ?

— Кадар сбежал.

Оказывается, еще вчера вечером, прямо после совещания актива новой партии, где Кадар выступал по поручению оргкомитета, он сел с Мюннихом в машину, и след их простыл.

Несколько дней назад Ференц Мюнних сказал: «Единственное, что нам осталось, — с честью погибнуть». Видно, передумал. Но Кадар, который исчез буквально через несколько минут после публичного выступления в защиту новой линии? Возможно ли нанести партии такой удар б е с с о з н а т е л ь н о?

— Ну что ж, парень вышел из игры. Видать, надоело.

— А если только садится играть?

Суббота, 3 ноября

ПОЕЗДКА В ПРОВИНЦИЮ

На слегка обшарпанной, но надежной «Варшаве» мы трогаемся на рассвете на северо-запад.

В нашей журналистской команде четверо: Ханка, Марьян, Зыгмунт и я. Еще с нами два дудашевских парня: шербатый добродушный Иштван — это он раз-

добыл машину — и шофер Бела, веселый красавчик, похожий на героев итальянского кино. С ним, к сожалению, мы ни на каком языке не можем объясниться — только от Иштвана узнаём, что Бела работал шофером в ЦК партии.

Время раннее, а город оживлен. Одни сметают с тротуаров осколки стекла, другие чинят трамвайные рельсы, поднимают опрокинутые вагоны. Мимо нас проходят рабочие с сумками через плечо — похоже, на работу, но трудно поверить, что на вчерашний призыв откликнулись так быстро. Мы спрашиваем Иштвана — его, в свою очередь, удивляет наше недоверие: ясно, на работу!

Мы въезжаем в узкие улочки Буды, поначалу столичные, с вывесками и витринами, потом всё скромней, но нигде они не напоминают трущоб, какие я видел на окраинах других столиц. Мягко и незаметно улица переходит в шоссе, окаймленное рядами осенних, заиндевелых, но еще зеленеющих буков и дубов.

Нас охватывает внезапное веселье, будто мы пересекли не только границу города, но и границу невыносимого нервного напряжения, в котором прожили несколько долгих, как годы, дней. Спокойный, скучноватый, политически не окрашенный сельский пейзаж вдруг высвободил неудержимую потребность забыть о тяжелой истории, свидетелями которой мы являемся, отдаться более светлым, более легким, попросту нездешним мыслям. Мы перемываем косточки всем в своих редакциях, потом наперегонки рассказываем что ни на есть глупейшие, бородатые анекдоты, наконец Зыгмунт запекает какую-то бессмысленную песенку: «Ой, мамбо, мамбо итальяно...» Больше он слов, конечно, не знает, но нам это не мешает, и мы все подхватываем: «Ой, мамбо...» Иштван и Бела тоже попевают.

Тем временем «варшавка» энергично пожирает километры. Мы проезжаем дымящие трубы Татабаньи

— знаменитого шахтерского центра, который дал Будапешту в дни восстания одну из самых активных боевых дружин. Делаем круг вдоль узенького озера Тато и въезжаем на шоссе, ведущее в Комаром — железнодорожный узел на чехословацкой границе.

— «Ой, мамбо, мамбо итальяно...»

Песенка встает колом в горле. Навстречу приближается знакомый рокот. Мы тормозим и съезжаем вправо, прямо под стреху маленькой деревенской корчмы. Зеленое бронированное чудовище проходит мимо нас и скрывается за горизонтом.

КОРЧМА В АЧЕ

В корчме ничего не достать, кроме хлеба и вина. Но сюда сходятся крестьяне и живущие в деревне рабочие комаромских фабрик. Мы едим хлеб, потягиваем вино, разговариваем.

Как выглядела революция в Аче?

— Как положено. Вышли на демонстрацию, организовали комитет. Стрельбы не было. И до сих пор полное спокойствие.

Мы спрашиваем про коммунистов. Их тут, конечно, хватало — больше сотни. Вот порядочных почти не было. И десятка не наберешь. Эти в ревкоме. А остальные? А чего, сидят себе тихо.

Колхоз? Колхоз в деревне есть. Еще не распустили. Но мужики не хотят колхоза. Дождутся разрешения правительства и распустят.

А чья раньше была земля? Графская. Ну, эти уже не воротятся, такого никто не допустит.

— А если бы попробовали?

Крепкий, кряжистый мужик в домотканной куртке поднимает кулак:

— Тогда второе восстание устроим!

ДЬЁР

Об этом большом промышленном городе в северо-западной Венгрии мы еще в Польше наслышались самых фантастических вещей. Говорили, будто его захватили прибывшие из Австрии отряды хортистов и создали крайне правое автономное правительство во главе с фанатичным монахом-капуцином...

По всему городу искали мы этих хортистов и капуцина. Ни следа. Единственные пришельцы из Австрии — страшно самоуверенные корреспонденты второстепенных западных агентств. Так мы и не поняли, они ли выдумали облетевшую мир сенсацию.

Ревком Задунайского края. Атмосфера та же, что во всех ревкомах, какие я до сих пор видел. Толпы ходоков, треск пишущих машинок, гам, дым, множество солдат и вооруженных штатских.

Председатель комитета — могучий, пышноусый мужчина — мало напоминает обитателя монастырской кельи. На вопрос об автономном правительстве он визгливо, по-мужицки хохочет:

— Была такая инициатива... со стороны школьников. Мы им сказали, что это выйдет кабаре, а не правительство.

Председателя зовут Аттила Сигети, он известный левый журналист.

Мы задаем ему сакраментальные вопросы о программе — те же, что с упорством Фомы Неверного задаем всегда и везде, — и получаем те же, что всюду, ответы. Спрашиваем об отношении к правительству Надя.

— Как раз сегодня, — говорит Сигети, — мы окончательно признали правительство. Сейчас задача всех революционных сил — объединиться вокруг Надя и его правительства.

— Почему только сейчас?

— Потому что теперь правительство как раз в том составе, который мы с чистой совестью можем поддержать.

Выясняется, что с утра в провинцию сообщили о новой реорганизации правительства. Из него убрали таких неприятных народу политиков, как Апро. Вошли в правительство социал-демократы во главе с Анной Кетли. Министром обороны стал генерал Пал Малетер.

— У нас известия со всех концов страны, — говорит Сигети. — Все ревкомы выразили поддержку правительству Надя. Теперь это настоящее народное правительство.

Председатель еще что-то говорит, но я теряю нить перевода. Уже долго я поглядываю на молоденького офицера с розовым девичьим лицом. Сначала он вставил несколько слов по-русски, потом замолчал. Вопрос вертится у меня на языке, и, поколебавшись, неожиданно для самого себя я спрашиваю:

— Вы были в партии, правда?

Парень удивлен, но иначе, чем я ожидал:

— Как это был? Я и есть в партии.

— Так ведь партии нет. В этом доме был горком, а вы его выставили.

— Ну и что? Мы выставили плохую партийную власть. Но коммунисты остались. Пожалуйста! — он вытаскивает из нагрудного кармана партбилет. — Как начнется нормальная жизнь, сразу пойду платить взносы. Я был и остался коммунистом.

Всё это говорится громко, открыто, в присутствии десятка с лишним членов ревкома — некоммунистов.

ЛИСТОВКА

Мы получили ее на прощанье от молодого венгерского офицера.

Она написана на плохом русском языке, со смешными ошибками, но серьезно и недвусмысленно.

...Советские солдаты!

Мы, рабочие вагонной фабрики в Дьёре, заявляем, что и в странах народной демократии рабочие крепко защищают главные достижения социализма, то есть всеми силами выступают против крупных землевладений и майоратов, против возвращения капиталистам крупных предприятий и банков. В то же время мы против ракошистско-сталинской реставрации.

Нас беспокоит вторжение советских войск в Венгрию. Отсюда наш нейтралитет, провозглашенный в ООН, который мы хотим защищать сами, не допуская провокаций ни против служащих Советской Армии, ни против их семей. Каждого, кто вопреки нашей воле обратится к таким средствам, мы будем считать врагом правого дела Венгрии...

Советские солдаты!

Не стреляйте в венгерских!

Заявление рабочих вагонной фабрики публикует подписавшийся под листовкой народный совет Задунайского края. Рядом видна дата: Дьёр, 2 ноября 1956.

Что вычитает когда-то история из этого документа венгерской революции? Обоснованный оптимизм? Трагичность?

ТАНК

Он стоит за городом, недалеко от моста, на перекрестке дорог. Пузатый, солидный, он тяжело осел во влажную землю и устроился накрепко, словно он не нечто движимое, а прочная постройка, первая в запланированном поселке. Когда мы подъезжаем, он как раз выполняет еще одну функцию — трибуны. На трибуне стоит парень, белобровый, курносый, каких в Москве я встречал тысячи, с соломенным чубчиком, выбивающимся из-под лихо заломленной на ухо

пилотки. Рядом с ним, свесив ноги, сидит раскосый богатырь и сосредоточенно скручивает сигарку. Сзади на танке стоит третий — массивный, с каменным мужицким лицом, в длинной шинели, крепко сжимая автомат. Вокруг танка несколько десятков венгров, и первый солдат держит речь, ораторски подавшись вперед:

— А зачем было рушить памятники? А книги жечь зачем? Это что, по-вашему, культура?

— Так за памятники людей убивать? — откликаются из толпы.

Солдат колеблется.

— Оно, конечно, камень человека не стоит. Но зачем было рушить памятники героям? Тем, что за святое дело полегли?

— Сначала снесли только памятник Сталину.

— Сталина мы тоже не признаём, — хмуро соглашается солдат.

Его раскосый коллега раскуривает могучую самокрутку и с наслаждением выпускает дым. Третий вдруг выходит из каменной неподвижности и грубо ворчит:

— Хватит разговорчиков.

Первый машет рукой и быстро говорит:

— Разойтись! Разойтись!

И ныряет в глубь танка.

ГРАНИЦА

Поздним вечером проезжаем городок Хедьесалом и приближаемся к венгерско-австрийской границе.

За несколько километров перед границей нас останавливают возвращающиеся оттуда таможенники. Они, как обычно, отправились на службу, но советские солдаты не допустили их. Венгры и нам советуют повернуть. Шофер колеблется, но мы уперлись. Едем лесной дорогой среди сгущающегося мрака.

Наконец, мигает огонек. Машина останавливается. Выходим и делаем несколько шагов, пока нас не останавливает громкий оклик по-русски.

Впереди белеет опущенный шлагбаум. За шлагбаумом туманно маячат спящие танки. Перед шлагбаумом — солдат с автоматом наизготовку. Не называя себя, мы вступаем в переговоры.

— Можно перейти границу?

— *Нельзя!*

Повезло — что бы мы делали, если бы позволил?

— А что, только сейчас нельзя? А завтра утром, например, будет можно? А если не завтра, то когда?

— *Никогда!* — решительно отрезает солдат.

— А с той стороны в Венгрию можно перейти?

— Тоже нет. Там уже два дня стоят машины Красного Креста, а мы не пропускаем.

Ну что ж, мы докладываем часовому, что смирились, — и неожиданно слышим смущенный, изменившийся голос:

— Я лично вам полностью сочувствую, товарищи, но что поделать — приказ.

Мы желаем ему спокойной ночи и возвращаемся в машину.

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

Долго тянется ночная дорога от австрийской границы до Будапешта. Нас постоянно останавливают бдительные патрули национальной гвардии. Проверка документов, дружеская улыбка: «lengyel ujsagiго»* — и снова в путь. Однако едва зеленая «варшавка» набирает скорость — следующий патруль.

Не так ли выглядят в эту ночь все венгерские дороги? Я воображаю себе страну, погруженную во мрак,

* Польский журналист. — Прим. п е р.

и тысячи спокойных, но решительных часовых, заступающих путь тому, кого нельзя пропускать...

Только в одном случае парни с трехцветными повязками опускают руки: когда по шоссе, ровно гудя моторами, движутся зеленые советские бронетранспортеры. Тогда часовые отходят в сторону и провожают транспортеры хмурым вопросительным взглядом. Не провоцировать.

Две из наших встреч с патрулями не ограничиваются проверкой документов. В первый раз — когда мы только что повернули от границы. Видно, мы возбудили подозрения своим упрямством, когда нас предостерегали, что на границе искать нечего. В наказание теперь сидим в будке и разглядываем подразделение гвардейцев, которые во главе с командиром дисциплинированно слушают запущенное на полную катушку радио «Свободная Европа».

Эпизод был бы скорее юмористическим, если бы один из наших не признался шепотом, что у него в кармане три удостоверения АОН, подаренные на память будапештскими повстанцами. Если их сейчас найдут! Но до обыска не доходит. Комендант милиции в Хедьесалом в конце концов верит, что к белому шлагбауму нас толкало только журналистское любопытство...

Второй раз — уже проехав Дьёр и Комаром — нам приходится вылезти из машины, и ее всю перетрясают. Когда мы залезаем обратно, начальник патруля объясняет: тут проезжали какие-то машины и разбрасывали газетки, подписанные Коммунистической партией Чехословакии. Паскудные газетки. Вот одна.

Из венгерского текста мы понимаем только «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Зато достаточно выразительна карикатура, которая, видимо, изображает смысл венгерской революции. С австрийской стороны границы стоят господин с животиком (капиталист),

господин с усиками (помещик) и господин в экзотическом мундире (хортист). С другой стороны радостно протягивают объятия венгерские повстанцы. Марьян берет газетку для коллекции.

Когда выясняется, что мы — не чехи, распространяющие антиповстанческую пропаганду, нас отпускают с миром.

Мы перегоняем длинную колонну грузовиков, наполненных розовыми мясными тушами. Вспоминается корчма в Аче и обида крестьян, когда мы спросили, почем они продают продукты в Будапешт. «Мы денег не берем! Там кровь проливают...» А эти грузовики с мясом — не то же ли выражение солидарности со столицей?

Последний раз у нас проверяют документы уже вблизи гостиницы, на Сапожной площади. Въезжаем на тихую улицу Михая Мункачи. Почти два часа ночи.

— До завтра! — прощаемся мы с венгерскими друзьями. — До завтра!

ПЕРЕД СНОМ

В гостинице мы безжалостно будим товарищей. Надо же поделиться впечатлениями от поездки в Задунайский край и, главное, расспросить их о субботних новостях.

Францишка и Лешек тоже были в провинции — на юго-востоке, в Сольноке. Впечатления у них те же, что у нас: в стране наступает стабилизация, правительство становится настоящим правительством, получает поддержку всех революционных сил.

В Будапеште сегодня было спокойно. За пятницу и субботу — ни одного происшествия. Многие авоши добровольно являются в следственную комиссию на улицу Марко. Попытка подсчитать, сколько человек пало жертвой линчеваний в те дни, когда они происхо-

дили, т. е. от вторника до утра четверга, дала как наиболее вероятную цифру 70-80 человек.

С утра шли переговоры о выводе советских войск. В первой половине дня — в здании парламента, а вечером венгерская делегация отправилась к русским. В делегации генерал Малетер, генерал Иштван Ковач и министр Ференц Эрдеи. Кажется, они еще не вернулись.

...Перед сном я думаю о перспективах венгерской революции — какими они рисуются в эти дни стабилизации. Конечно, я не знаю, какое устройство укрепится в конце концов в Венгерской Республике. Однако похоже, что мы увидим тут любопытный синтез основных достижений народной демократии (вся земля в руках крестьян, национализированные заводы и банки) с многопартийностью, свободой печати и другими атрибутами либеральной демократии. Будет ли такое устройство одним — быть может, очень долгим — из путей к социализму? Я не решился бы этого утверждать. Зато о пути, по которому вели страну люди типа Ракоши, я уж точно знаю, что он не приводит ни к чему, кроме падения и рабства.

Так или иначе, а начинается сложный процесс развития, от которого не приходится ждать немедленных плодов. А мне пора домой...

Воскресенье, 4 ноября

ПЯТЬ УТРА — ПРОБУЖДЕНИЕ

...В глубокий сон вторглось что-то извне — не могу осознать, не хочу открывать глаза, стараюсь снова погрузиться в ту не ограниченную ощущениями глубь, где я пробыл так недолго. Но упрямое что-то ломится всё навязчивей. И вдруг до меня доходит, что прервало мой сон: мерный гул артиллерии.

В ту же секунду кто-то полуодетый врывается в комнату:

— Вставай! В Будапеште опять война!

РАДИО

...С утра сквозь грохот артиллерии, рокот бронированных машин, издевательский свист реактивных самолетов еще прорывались по радио последние протесты и призывы правительства Надя.

На нескольких языках прозвучало короткое, волнующее воззвание венгерских писателей и интеллигенции к народам мира, завершающееся троекратным: «Помогите! Помогите! Помогите!»

Потом радио замолкло и заговорило только вечером — голосом Яноша Кадара.

Кадар представился как премьер нового революционного рабоче-крестьянского правительства, которое берет власть, поскольку слабое правительство Надя всё больше поддавалось влиянию реакционных, фашистских элементов. Встала задача сохранить народную демократию и социализм в Венгрии. В связи с этим новое правительство обратилось за помощью к советскому союзнику...

В числе членов нового правительства названы, в частности, Апро, Мюнних, Марошен, Хорват и — Эрдеи, который накануне принимал участие в переговорах о выводе советских войск из Венгрии.

На этом сообщении политика заканчивается, и радио передает популярные мелодии из оперетт.

Но за нашими окнами политика продолжается — ее глухое гудение раздается весь день и всю ночь без роздыха.

В ГОРОДЕ

Телефонная связь с Варшавой прервана. Может, чудом действует телетайп? Втроем, с Ханкой и Кшиштофом, пробуем попасть в здание бывшей «Сабад Неп».

Пустые осенние улицы. Черные, голые деревья, тротуары устланы желтыми и рыжими листьями. Сухо, даже солнечно, но холодный ветер пробирает насквозь.

Там и сям в подъездах теснятся кучки жителей. На улице Дамьяних мы пытаемся заговорить. Люди кратко объясняют, где идут бои, и указывают дорогу, но от разговора на более общие темы уклоняются. В Будапешт вернулся страх.

Мы идем по улице Доб. Несколько раз навстречу нам проходят вооруженные отряды венгерских солдат и штатских. Отступают? Кое-где в углублениях стен расставлены бутылки с бензином, помеченные красными тряпицами. Чем ближе к Ленин-кёр, тем больше людей — с оружием и без. А вот и Ленин-кёр — широкая столичная артерия. Переулок, по которому мы пришли (одно из узких пересечений артерии), отделен от Ленин-кёр баррикадой — не слишком внушительной, просто доски и лом наспех нагромождены друг на друга. Такая же виднеется напротив, на другой стороне широкой улицы. Сама же улица перегорожена более основательной баррикадой, сложенной, главным образом, из булыжника, вырванного из мостовой. Мы доходим только до первой баррикады. Здесь полно людей, которые, разговаривая с нами, не скрывают подозрительности. Один, с гранатой за поясом, допытывается, чего это мы направляемся именно туда, где перестрелка, русские. За здание «Сабад Неп» идут бои. Наше «lengyel ujsagiго» никого на этот раз не убеждает.

Мы поворачиваем. Мы еще не отошли далеко от баррикады, как нас останавливает частый топот ног. Несколько вооруженных ребят с повязками. Очень молодых — скорее школьников, чем студентов. Договориться трудно — немецкого они не знают, говорить по-русски мы не рискуем. Наконец обнаруживается, что один немного понимает по-французски. Объясня-

ем, кто мы, показываем паспорта. Ребята смеются с откровенным облегчением. Командир вытаскивает из кармана три блестящих пули: они достались бы нам, если б оправдались подозрения защитников баррикады...

Мы не успеваем дойти до перекрестка возле автобусного парка, который находится под прицелом русской пушки, — как совсем поблизости взрывается зажигалка. Ее алое сияние на секунду останавливает нас, но мы быстро решаемся и рысью перебегаем опасный перекресток. Через несколько минут мы в посольстве.

ЧТО С КЕМ ПРОИСХОДИТ

Осторожные попытки дозвониться до венгерских друзей. Связь с Варшавой невозможна, но нельзя отказать от основной обязанности журналиста — сбора информации.

Что с деятелями восстания? Коммунистический актив революции, кажется, получил убежище в югославском посольстве. Там Имре Надь, Санто, Лукач, Донат. Глава Партии мелких землевладельцев Бела Ковач вроде бы бежал на Запад, кардинал Миндсенти — в американском посольстве. Всё еще не вернулись — и теперь вряд ли вернуться — генералы Малетер и Иштван Ковач.

А рядовые? Нас беспокоит судьба дудашевцев. Вчера, пока мы ездили по провинции, группа Дудаша была распущена Реввоенсоветом. Ее членам с вечера обменивали удостоверения. Щербатый Иштван и шофер Бела были с нами и ни о чем не знали, а вернулись уже ночью. Как бы им не сделали чего плохого свои же... Да если и нет, всё равно они в огне боев вокруг «Сабад Неп». Мы пытались до них дозвониться — телефон не отвечает.

Понедельник, 5 ноября

СТРАННАЯ ВОЙНА

У защитников города нет командования. Нет плана обороны. Нет оружия, кроме автоматов, гранат и бутылок с бензином. Можно ли удержать город такими силами?

У атакующих — артиллерия, танки, бронемашин. Над их колоннами патрулируют звенья реактивных самолетов. Но у них нет в Будапеште — или по каким-то причинам они ее не вводят в действие — пехоты. Танки и бронетранспортеры ездят по улицам — главным образом, где нет баррикад. Стреляют куда попало. Артобстрел вызывает пожары (один я сегодня видел вблизи — на том же перекрестке, куда зажигательный снаряд ударил вчера; видно, сегодняшний был посильнее). Но можно ли захватить город только такими методами?

ЗАХВАТЧИКИ И ЗАЩИТНИКИ

С советской стороны принимают участие в боях совершенно новые подразделения, привезенные в последние дни из глубинки. Мы убеждались в этом не раз лично, это же подтверждают и наблюдения всех, кого мы ни опрашивали. Очень молодые ребята в бурых шинелях (год рождения, в основном, 1937-й) не всегда знают, куда их привезли, часто едва говорят по-русски, но в одном глубоко убеждены: что в этом городе они громят подлых предателей-фашистов.

А другая сторона? Это, главным образом, те же, кто 23 октября демонстрировал перед парламентом, потом отражал первую интервенцию, организовывал национальную гвардию. Однако их больше, чем прежде: к рабочей и студенческой молодежи прибавились и старые рабочие, которые до тех пор поддерживали

революцию только пассивно. Теперь с оружием в руках они встали на баррикады Чепеля и Кёбаньи.

Францишка с Марьяном ходили сегодня по укреплениям защитников города, разговаривали с командиром одного из участков, шахтером, тяжело раненным в ноги, и с другими бойцами. Они вернулись в глубоком убеждении, что венгры будут сражаться до конца. Но концом этим — рано или поздно — скорей всего будет поражение.

ОТЕЦ И СЫН

Вечером в нашей гостинице укрылись два венгерских бедняка из-под Будапешта. Днем они пытались навестить в задунайском госпитале второго сына, тяжело раненного на улице осколком снаряда, под вечер застряли в нашем квартале и ночью не могли продолжать путь.

Отец — маленький, худенький, иссохший, с запавшими щеками и блекло-голубыми глазами. Трудно понять, седая или светлая от природы меланхолическая щеточка белых усов. Выцветшая лыжная шапка наезжает на уши. Паренек — лет шестнадцати-семнадцати, лицо тоже вытянутое, но округленное беретом, глаза темные. Оба сидят внизу в швейцарской — неподвижно, с тем характерным отупением простых людей, которое мужиколюбцы принимают за смирение и фатализм. А это всего лишь страшная усталость.

Вторник, 6 ноября

В ПОСОЛЬСТВЕ

По разным причинам я добрался сегодня до посольства позже остальных. По пути — неожиданность: танковая колонна разместилась на тихой улице Горького, в том числе один танк перед больницей и

один прямо перед посольством. Этот последний производит впечатление пустого, зато на первом и вокруг него множество солдат, веселых, хохочущих, болтающих.

В посольстве меня встречают перепуганные лица друзей. Танки въехали на улицу Горького минут пятнадцать назад, и как раз этот веселый пустил автоматную очередь по окнам посольства. В секретариате посла разбитые окна, осыпавшаяся известка. К счастью, ни в кого не попали, но еще бы чуть-чуть... Советник старательно собирает сплюснутые пули.

Говорят, это не единственный сегодня случай обстрела посольств. То же самое было с югославским, где погиб первый секретарь, и, кажется, с египетским.

ПАРТБИЛЕТЫ

Радио-Будапешт непрерывно передает веселые мелодии из оперетт. Но собравшийся вокруг репродуктора персонал гостиницы глядит уныло.

Зыгмунт утешает: скоро стрельба кончится, наступит спокойствие — но их-то, оказывается, и пугает, что будет потом. Все они во время революции сожгли перед поверженным памятником Сталина свои партбилеты — билеты миллионной партии.

— Что теперь с нами сделают?

Зыгмунт не слишком убежденно успокаивает: ничего, мол.

Старушка-уборщица вздыхает:

— Пусть уж будет эта партия, только бы никого в нее не загоняли...

БЕТХОВЕН

Вечером мы вылезаем на крышу и глядим на зарева над городом. Их много, они окружают нас со всех сторон. Только что начавшийся дождь не гасит пожаров.

Каждые несколько минут перед нами сверкает молния, потом раздается гром. Это артиллерийская гроза — а начнись п р и р о д н а я, мы ее не заметили бы за грохотом войны.

Среда, 7 ноября

КАК МЫ ХОДИМ ПО ГОРОДУ

Война продолжается. Ни на миг не умолкает. Страдание продолжается.

Не было дня, чтобы мы не вышли в город, не заглянули войне в глаза.

Но ходим мы странно. Никто нас этому не обучил, это пришло само и уже кажется нормальным. В редкие мгновения иронического самоконтроля мы осознаём, что, веди мы себя так в иной жизни, нас приняли б за сумасшедших.

Зыгмунт:

— Представьте себе, что мы осторожно, гуськом, прижимаясь к стенке, идем по улице Фоксаль*. Доходим до угла. Первый осторожно выглядывает, остальные ждут. Порядок, танков нет. И — бегом через дорогу на другую сторону. И в подворотню. Оглядываемся: никто не остался? Прислушиваемся: откуда стреляют? И снова осторожно, гуськом, прижимаясь к стенкам — до следующего угла...

ПРОМАХ

И все-таки нет места безопаснее улицы.

Вот мы сидим в столовой гостиницы — то ли высокий полуподвал, то ли низкий первый этаж, — как вдруг раздается треск, свист, над нашими головами

* Улица в Варшаве. — Прим. п е р.

пролетает хорошенькая пуля и вплющивается в противоположную стену.

За минуту до этого один из нас стоял прямо там.

ПОЛОЖЕНИЕ

Положение, насколько мы можем судить, таково: советские войска в Будапеште продвигаются вперед; овладев необороняемыми кварталами, они начали бои там, где венгры защищаются. Центры самого упорного сопротивления в Будапеште — Кёбанья и рабочий Чепель, «красный Чепель», как его называют. На Чепеле, кстати, есть оружейные цеха — там, говорят, взялись за производство противотанковых снарядов. Бои идут также за транспортные артерии центра города — Ференц-кёрут и Ленин-кёр.

Где советские войска окончательно овладели положением, там авоши проводят обыски и аресты. Слышно, что начались грабежи магазинов и другие эксцессы.

В провинции еще защищается Дьёр, не прекращаются бои за Сталинварош (Дунапентеле, «венгерская Новая Гута»).

Где-то еще действует радиостанция коммунистического Сопротивления — радио имени Райка.

Русские бросают в бои новые танковые подразделения.

Четверг, 8 ноября

ДЫМ НАД ГОРОДОМ

Со дня на день мы расширяем круг своих путешествий по Будапешту.

Сегодня весьма запутанным путем нам удастся добраться до берега Дуная и через цепной мост в Буду.

В разных точках города еще идут бои, но уже много улиц, усмиренных полностью. Теперь советские

танки развозят по ним призывы коменданта города генерала Гребенника, а также газету ЦК партии, которая вчера вышла под названием «Сабад Неп», а сегодня — «Непсабадшаг». На газете поставлена цена — 50 филлеров, но солдаты раздают ее бесплатно.

Итак, мы добираемся до цепного моста Ланхид — единственного действующего изо всех, соединяющих обе части столицы. Подходы к мосту утыканы артиллерией и бронемашинами, из-за них выныривает несколько до зубов вооруженных фигур. Это, однако, не русские — те тоже недалеко, но предпочитают роль пассивных наблюдателей. Мы имеем дело с отечественным оплотом оккупации — функционерами возрожденного АУН.

Они предупредительно вежливы. Возвращая паспорта, отдают честь и шелкают каблуками.

Мы быстро проходим по неповрежденному, только очень иссеченному выстрелами мосту. Под ногами хрустят ружейные гильзы.

Мы углубляемся в старые, узкие, ползущие под гору улочки Буды. Сташек, лучший знаток этих мест, проводит нас к знаменитой Рыбацкой башне. Прямо возле старинного здания знакомый вид: танки. Они отдыхают, небрежно разлегшись, но кругом полно следов их бурной деятельности — хоть бы эта трещина на стене церкви...

Мы глядим с Рыбацкой башни вниз, на неласковый, не похожий на себя Будапешт. Медленно катится покрытый гусиной кожей Дунай. Дома за рекой рассыпались в разные стороны, словно хотят бежать из города. Но пожары наступают им на пятки, заходят с флангов, отрезают отступление.

Кто-то рядом называет пожары по имени:

— Это Чепель. Тот — Уйпешт. А это Кёбанья.

В то же мгновение вспыхивает новый пожар. Дым — сначала белый, густой, как тесто, потом темнеет и

черной струей хлещет в небо, и так уже закопченное. Горит где-то в центре.

ГОСПИТАЛЬ

В госпиталь мы попадаем случайно. Нас ведет санитарка, встреченная у Рыбацкой башни.

Госпиталь этот необычный: он спрятан под землю и бронирован железобетонными плитами. Когда-то это был военный лазарет, и после 45-го года он не использовался. В начале революции группа врачей и санитарок ввела его в действие за одни сутки. За следующие он наполнился ранеными и больными.

Врачи ведут нас по палатам и по коридорам, где тоже стоят койки. С гордостью показывают они сложные агрегаты, благодаря которым подземному госпиталю не грозит нехватка воздуха или света. В одной палате мы видим, как в вены смертельно истощенного человека течет из стеклянных трубочек живительная кровь.

— Это польская кровь, — говорит врач, бледная, худая девушка с подведенными от усталости глазами.

В другой палате — неожиданность. В военном госпитале нет родильного отделения, но как же не принять роженицу? Это произошло в ночь под воскресенье, 4 ноября. Скрюченная, сморщенная личность, явившаяся на свет в такое необычайное время, энергично крутит ножками.

— Самый юный боец Сопротивления, — роняет кто-то из нас.

Девушка-врач улыбается — впервые с момента нашего знакомства. Ей как будто хочется о чем-то спросить, но она так и не спрашивает — ни сейчас, ни после.

Пятница, 9 ноября

ПРИЕМ У КАДАРА

Мы долго колеблемся: идти в парламент или нет? В конце концов любопытство берет верх. Полдюжины польских журналистов забирается в посольский лимузин.

Площадь перед парламентом полна танков. Окрестные скверы обращены в артиллерийские позиции. На клумбах солдаты жгут костры, варят кашу и суп.

Мы оставляем машину под гнетущей опекой танков и переступаем порог кем-то указанной двери. В тесной прихожей толкуются часовые: пара авошей и несколько косоглазых красноармейцев. С верхней площадки разинул дуло гостеприимный пулемет. Застекленные двери налево ведут в офицерскую дежурку, откуда выходит вежливый старший лейтенант.

Мы объясняем, кто мы и чего хотим. Он смотрит паспорта, спрашивает, когда мы приехали и от каких редакций.

- «Жице Варшавы».
- «Нова Культура».
- Радио.
- А «Трибуна Люду» есть?
- Есть.

Советский офицер, выходит, разбирается в названиях польских газет.

— Так вы хотите попасть на прием к товарищам из венгерского правительства? — переспрашивает он и исчезает в дежурке. Через стекло видно, как он совещается с другим советским офицером — кажется, майором. Через несколько минут он выходит и беспомощно разводит руками:

— Увы. Венгерское правительство очень занято и не может вас принять. Сами понимаете — столько дел. Увы.

Суббота, 10 ноября

ТОЖЕ РАБОТА

Не скажу, будто мы сразу разобрались, что это за тип, но заметили его сразу.

Он появился в нашей гостинице где-то между первой и второй советской интервенцией. Он довольно туманно объяснял, почему ему пришлось уйти из своей квартиры, но никто его за язык не тянул. Еще он сообщил, что живет в Венгрии с 1939 года и занимается, в основном, переводами.

За ужином Францишка шепнула:

— Глянь, какое лицо.

Продолговатое лицо с правильными чертами, высоким лысеющим лбом и несколько большими выпученными глазами выглядело мертвой маской.

— Воплощенное отсутствие мысли, — сказала Францишка.

Я не согласился. Мне казалось, на его лице написано что-то иное — я еще не мог понять, что, — но явно иное, чем одно отсутствие мысли. Немного позднее я понял: это был ужас. Чудовищный ужас, вой которого неумолчно раздавался внутри человека уже долгие дни, но ни разу не прорвался наружу.

Наступила вторая интервенция. Что-то в нашем знакомце словно расслабилось. Вдруг обнаружилось, что он почти красив. Он шастал за нами с милой улыбкой и заводил разговоры на все вообразимые темы. Некоторые наши ответы вызывали в нем особое волнение.

В конце-то концов, если ты хоть когда-нибудь в жизни встречался с т а к и м и, узнаешь их почти безошибочно. Нашего мы раскусили, когда он приступил к исполнению своих обязанностей. Будь мы венграми, нам было бы не до веселья. А так — мы дурачились как могли. Он слышал от нас всё, что хотел слышать,

и даже больше. Журналисты делают записи на месте — он, бедняга, был вынужден всё держать в памяти до позднего вечера и, лишь услышав наше «Спокойной ночи!», мог приняться за свои отчеты. Самое смешное, что его сокровища не приносили капитала: под обстрел он не выходил, а телефон в гостинице не работал.

Сегодня уже спокойно. Даже телефон починили. Наш ангел-хранитель, однако, выходит из гостиницы, торжествующе забирается в ближайшую телефонную будку и застревает там по полчаса.

СТАРИК

Мы оба писатели. Оба коммунисты. Он намного старше меня и несравненно известней. И все-таки между нами больше общего, чем разделяющего. И вот как выглядит встреча двух писателей-коммунистов стран народной демократии в Будапеште 10 ноября 1956 года.

Я подъезжаю на машине на условленную улицу и возле лавочки сигналю. В машину садится пожилая женщина, которую я вижу впервые. Мы едем дальше, она показывает дорогу. Потом меня приводят в квартиру, в которой не только что я никогда не был, но и тот, с кем я встречаюсь, оказался впервые.

Как же мне горько! А ему — тому, кто при Хорти был в подполье и вышел из него в радостном 45-м году?

...Мы разговариваем о положении в Венгрии и в мире. Мой собеседник на всё глядит безнадежно. Если перед второй интервенцией ему виделись какие-то перспективы сохранения социализма, теперь они не представимы. Поздно — теперь даже вывод советских войск не поможет. Уже нет организованных сил — тех, что были перед второй интервенцией, —

— способных уберечь страну от кровавой реакции. Разве что... да нет... — старый писатель машет рукой.

Несколько последних дней по всему Будапешту расклеены призывы в трехцветной рамке, подписанные совместно тремя организациями: Ревкомом студентов, Реввоенсоветом и Союзом венгерских писателей. Мой собеседник — один из соавторов этих призывов. Как раз сейчас он работает над новым текстом, смысл которого будет следующим: ввиду того, что действия противника причиняют ущерб, в первую очередь, гражданскому населению, следует прервать безнадежное вооруженное сопротивление, продолжая сопротивление пассивное, нравственное... Этот призыв должен появиться уже сегодня.

— А послушают вас?

— Мы единственная инстанция, которую еще слушают.

На прощанье мы напоминаем друг другу о разных средствах предосторожности. Когда мы заканчиваем их перечисление, старый писатель поднимает печальные мудрые глаза:

— Ну скажи, разве можно так жить?

ИШТВАН

Еще одна в этот день встреча — и прощанье. Появился Иштван. Мы едва не разминулись: я заметил его широкую спину, когда он уже поворачивал за угол.

Мы бредем по течению улицы, как по руслу реки. Ноги вязнут в кучах желтых листьев. Рассказать друг другу почти нечего.

— Где Бела?

— Не знаю, я потерял его из виду еще в воскресенье.

— А ваш командир?

— Дудаш был с нами, уже не командовал, сражался, как все. Где он теперь, не знаю.

— Ты всё время был в боях?
— Да. Ранили меня.
Только теперь я замечаю, что Иштван хромает.
— Так всё, конец?
— Конец. Иду домой. Не был дома с двадцать третьего...

Некоторое время мы идем молча.

— А я уезжаю. Ханка уже уехала.

— А Марьян?

— Тоже.

— А Зыгмунт?

— Уезжает вместе со мной.

Мы снова молчим. Наконец достаем записные книжки и обмениваемся адресами. Целуемся. Хромая, Иштван уходит.

Воскресенье, 11 ноября

ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БУДАПЕШТУ

Чепель — длинный, унылый, безобразный, как всякий фабричный квартал в больших европейских городах. Чтобы ему быть таким, не было надобности войне проходить через Чепель.

Война прошла через Чепель. Этот квартал Будапешта защищался дольше всех. Еще сегодня в глубине Чепеля тлеют непогашенные очаги сопротивления.

В той части Чепеля, где мы проходим, эти очаги задавлены. Их нет. И ничего другого нет. Километрами тянутся пустые, безлюдные улицы.

Мы глядим по сторонам: ни одного дома не пощадила война. В каждом огромная брешь — чаще всего на уровне второго или третьего этажа, будто тут прошел хищный допотопный зверь, кусавший направо и налево, всюду жаждавший оставить след своих челюстей.

Иные следы на мостовой. Через каждые несколько десятков шагов привидение — черная, скрученная гряда железа: убитый танк. Несколько раз попадаются подорванные катюши...

Возвращаясь с Чепеля, мы проходим почти через центр — через Ференц-кёрут и Уллей-ут. Тут еще страшнее: все дома сожжены или взорваны, мостовые вывернуты наизнанку, копоть, пыль, узкие тропинки, протоптанные между руинами... Но этот вид нам знаком. Это Варшава 1944-го. Захваченный город.

ПОБЕДИТЕЛИ

Их четверо. Они лежат на улице рядышком, в неловких, неестественных позах. Разодранные и сплюсненные, едва ли не двухмерные, они выглядят тряпочными куклами, заброшенными под опаленную стенку, почти втоптаннами в краешек выщербленного тротуара. Кто-то присыпал их ободранные лица белой пылью или известью. Тот, что впереди, — вообще без лица: с погнутой каской срослось черное, засохшее месиво. Должно быть, давно они так лежат, потому что уже ничем не напоминают о мире живых, откуда их вырвало какое-то невообразимое мгновение. Они стали частью мертвого пейзажа разбитой вдребезги городской улицы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Проводником мне служит молодой венгерский студент. Проводником? Я не знаю этих улиц, а он их не узнаёт. Мы оба блуждаем в это воскресное утро, в последние часы перед разлукой.

Мы склоняемся над свежими могилами, которых не счесть в каждом сквере, в парках, возле церквей. На кусках фанеры или картона написано, кто тут ле-

жит: «Лайош ... 18 лет», «Жужа ... 15 лет», «Арпад ... 12 лет». Все могилы усыпаны цветами.

Мы входим в церковь. Людей меньше, чем можно ожидать. Венгрия — не чересчур религиозная страна. Но в высокие своды ударяет песнь необыкновенной красоты и силы. Я никогда такой не слышал. Мой товарищ объясняет: это старый церковный хорал — «Боже, Ты, что Венгрию...» Пение тянется долго — когда оно умолкает, мы выходим.

Мы хотим еще заглянуть в университет. Но приходится долго простоять перед массивными воротами, прежде чем открывается узенькое окошко и выглядывает разгневанный старый привратник:

— Чего вам тут надо? Нет университета. Приказ господина министра просвещения — никого не пускать. Идите себе.

Окошко захлопывается.

И мы бродим дальше, бесцельно и бессмысленно, потом расстаемся и договариваемся снова увидеться после обеда.

Но в гостинице я узнаю, что не увижусь больше ни с кем из будапештских друзей. Мои коллеги несколько странным образом раздобыли машину. Мешкать не следует. Мы едем через Югославию в Польшу.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Через двадцать лет — закончим рассказ.

Надо было брать ноги в руки и улепетывать из Будапешта, захваченного русскими и их местными сообщниками.

Первой группе польских журналистов — в том числе женщинам и больным — удалось уехать с югославскими коллегами, их автобусом. Но на всех там мест не хватило. Мы искали случая. Ближайшая дорога

в Польшу — через Чехословакию — была закрыта. Мы решились лететь в Бухарест румынским самолетом (только они и летали) — и, к счастью, не полетели: тот самый самолет, что должен был нас взять, попал в аварию или был неведомо кем подстрелен, и никто не уцелел. Тем временем один из наших каким-то манером попал в Будапеште на «пир победителей». Ему досталось место возле нового коменданта общественной милиции. Выпили. Пьяный милицейский предложил пьяному польскому журналисту машину и пропуск. Пропуск, правда, выдан на фургон для перевозки мяса, в котором два лица могут передвигаться по Будапешту, — получили же мы маленький виллис, влезли туда впятером (четыре журналиста и студентка) и пустились из Будапешта на юг, к югославской границе. Ну, и как-то доехали — с пьяным шофером, с вечно глохнущим мотором, по заминированному шоссе, через бесконечные советские патрули, которые, правда, не могли проверить, что там написано по-венгерски в пропуске.

Мне запомнились три таких контроля. Первый — еще в центре города, когда мой слишком свободный русский язык вызвал подозрения и меня принялись допрашивать. Я сослался на свою недавнюю учебу в Москве, но, когда от меня потребовали назвать фамилии преподавателей, они мгновенно, все до одной, вылетели из головы. Я их тут же припомнил, и смершевца, быть может, даже не заметил минутного колебания, но для меня оно продолжалось вечность.

Потом уж я не разевал рта, зато отлично слышал, как, пропуская нас через очередную рогатку, один русский проворчал другому: *«Поляки... Тоже бандиты!»*

Наконец в третий раз безусый офицерик всунул розовое личико в машину и озабоченно прошептал: *«Извините... Мы не виноваты...»*

Только перед самой границей, в Сегеде, нас задержал смешанный русско-венгерский патруль, и каза-

лось, что пропуск пошел к чертям, а нас ожидает долгое следствие в местной контрразведке. В начале разговора в контрразведке нам достались горькие упреки: это, мол, польский пример толкнул венгерскую молодежь на безрассудные поступки. Но мы ответили, что в польских октябрьских демонстрантов не стреляли и потому всё прошло спокойно; на этом политическая дискуссия прекратилась. Сомнения возбудили наши документы — например, в моем паспорте не было штампа пересечения границы при въезде. Долго, усердно дозванивались до Будапешта, в конце концов поймали коменданта милиции, и он от нас не отсекся, так что мы смогли, хоть и под конвоем танков, одного впереди, одного сзади, продолжить дорогу к желанной границе. Мы перешли ее пешком, оставив машину на венгерской стороне.

На югославской таможне мы дождались утра; за нами приехал чиновник посольства ПНР в Белграде; наши сведения его не интересовали: он твердо знал, что в Будапеште перед освобождением был миллион (!) организованных фашистов и что это они разожгли контрреволюционный мятеж...

Из Белграда через Вену мы полетели домой. Некоторые из нас — в том числе и я — считали своим долгом дать слово правде о венгерском восстании. Какое-то время эта возможность была — мы еще переживали медовые месяцы польского Октября. Я выступал во многих местах, некоторые выступления помню до сих пор: в Клубе Кривого Колеса, на фабрике имени Розы Люксембург (это там старый рабочий-коммунист, чуть не плача, обвинил меня во лжи — с самой зари пролетарской власти в России буржуазия немилосердно клеветала на нее, и он знает, что не может быть того, о чем я рассказываю, — не может быть и неправда! Спустя годы точно то же скажет мне в Риме итальянский коммунист о только что прочитанном «Архипелаге ГУЛаг»...), наконец — в Гене-

ральном штабе Войска Польского. Тут, через несколько минут после того, как я завел свое, в большой зал, наполненный молодыми офицерами, явились несколько советских генералов и полковников в польских мундирах и заняли места в первом ряду, напротив меня. Однако они меня не прерывали и не вступали в полемику, только внимательно слушали, и иронические улыбки блуждали на широких лицах...

На основе заметок, сделанных еще в Будапеште, я закончил свой «Венгерский дневник». Я посвятил его памяти Михаила Кольцова, русского публициста, — его «Испанский дневник» незадолго до того произвел на меня большое впечатление. Поразила меня и судьба автора, попавшего в число жертв кровавых сталинских чисток. Из-за этого и книга была запрещена — уцелевший экземпляр мне давали в Москве под страшным секретом. Я печатал свой «Дневник» в «Новой Культуре» (редактором которой меня выбрали коллеги, когда я вернулся из Венгрии); несколько кусков появилось, хотя и с пропусками, а последний цензура запретила совсем. Тогда я напечатал дневник целиком в парижском журнале «Франс-Обсерватер» — переводила Анна Познер, и как раз тогда, чуть ли не в связи с этим переводом, она вышла из компартии...

Гораздо позже я услышал о русском переводе «Венгерского дневника» (того, что появилось в «Новой Культуре»); его сделал студент-литовец по заказу дирекции Литинститута, которая нашла нужным ознакомить узкий круг посвященных с мерзкими выходками недавнего аспиранта и осудить его на закрытом собрании. Так оно и произошло, но тексты, вопреки первоначальному замыслу, пошли дальше, к не предусмотренным властями читателям, — многих из них я потом встречал, и совсем недавно мне рассказывали, что какие-то копии «Венгерского дневника» всё еще кружат на окраинах русского самиздата...

Вот и всё о возвращении из Венгрии группы польских журналистов и о наших поспешных попытках сказать правду об отчаянном и подавленном восстании. (Кроме своего «Дневника», назову еще репортажи Ханки Адамецкой в «Штандаре Млодых» и Марьяна Белицкого в «По просту».) Спешка наша оказалась как нельзя более к месту: вскоре (по «государственным соображениям») уже ничего не могло появиться, а позже, когда Гомулка в одной из своих речей бросил словечко «контрреволюция», открылось широчайшее поле деятельности для профессионалов и добровольцев по оплевыванию венгерского восстания.

Что тем временем происходило в Венгрии — известно. Жертвами волны террора после поражения восстания стали как его многочисленные участники и сочувствующие, так и военные и политические руководители. Эти последние, во главе с Имре Надем, испытали на себе привычное для их победителей вероломство: когда, получив гарантии безопасности, они отправлялись в эмиграцию в Югославию, их выволокли из югославского автобуса, посадили в тюрьму на румынской территории (вместе с арестованными раньше участниками переговоров — Палом Малетером и др.), тайно «судили» и убили. Наш собеседник из здания парламента, Геза Лошонци, не дождался этого «суда» — умер до него, в тюрьме, при невыясненных обстоятельствах. Среди тех, кому была дарована жизнь и возможность умереть своей смертью в Будапеште, был престарелый Дьёрдь Лукач.

Из других, с кем я встретился во время восстания, кажется, был расстрелян красочный Дудаш. Пишу «кажется», потому что сообщение об этой казни, насколько мне известно, никогда не было опубликовано и я знаю о ней только по слухам — как и о том, что Дудаша принесли на казнь на носилках. От подчиненного Дудаша, выступающего в моем дневнике под именем Иштван (так я его тогда зашифровал, а на-

стоящего имени уже не припомню), через год пришла Марьяну Белицкому открытка из Канады: выходит, несмотря на ранение, он сумел перейти границу.

Уже нет в живых журналиста, переводчика на нашей встрече с Дудашем, Белы Батернаи. В своем дневнике я опустил не только его фамилию, но и деталь, объясняющую наши столь скорые дружеские отношения. Батернаи перевел мою юношескую книгу о Людвике Варныском («Каторжная мазурка»), изданную в Венгрии в 1952 г. под названием «Bilincstánc». Потому-то — хоть раньше мы и не были знакомы — встретившись во время восстания, мы не чувствовали себя чужими друг другу. Больше я его никогда не видел, но сохранил самые светлые воспоминания об этом отважном человеке — бойце АК, политическом утописте, друге Польши.

Выдающийся писатель старшего поколения, с которым я встретился в Будапеште 10 ноября 1956 г., — это Тибор Дери. Вместе с несколькими другими писателями, активно участвовавшими в венгерских событиях, он хотел после поражения искать убежища в Польше. Я пытался что-то устроить в Варшаве, разговаривал с одним членом Политбюро и с человеком из МИДа — я даже не исключаю, что мои собеседники, не лишённые доброй воли, предприняли какие-то усилия «на высшем уровне», но, видно, снова на пути встали безжалостные «государственные соображения», и венгерские писатели не получили убежища. Вскоре Тибор Дери, Дьюла Хаи и другие оказались в тюрьме, дальнейшие попытки стали безнадежными...

Только молодого студента, который 11 ноября водил меня по разрушенному, оплакивающему убитых Будапешту, мне удалось еще встретить, и не раз, — это Дьёрдь Гёмори, ныне известный кембриджский полонист...

С течением лет террор в Венгрии ослаб, обнаружился и исторический парадокс: в то время как обожа-

емый в Октябре «вождь нации» Гомулка постепенно загонял страну в состояние всё большей политической и экономической зависимости от СССР, растущего угнетения, нищеты и лжи — ненавидимый (и справедливо) Кадар как бы искал путей выхода из ловушки, довольно успешно пускался в экономические эксперименты, умеренно либерализировал режим, стремился прийти к соглашению с народом и его интеллигенцией. Сейчас, через двадцать лет после событий в обеих странах, не только материальный уровень жизни в Венгрии очевидно выше, чем в Польше, но и атмосфера, кажется, лучше, и культура не приведена в такой упадок, и убийственная советизация в различных областях не продвинулась в той степени, как у нас. По крайней мере, такое впечатление было у меня, когда я в этом году снова посетил Будапешт и ходил по старым следам — моим собственным и разлетевшихся друзей... Почему так случилось? Или решающую роль сыграли черты характера и ума вождей? Или, может, несмотря ни на что, иное географическое положение? Или докоммунистическая Венгрия была более западной страной, чем Польша, с более укорененным европейским сознанием, и прививка советизма там еще более чужеродна, и энергичней исторгается социальным организмом? Или, наконец, именно восстание, хоть и проигранное, на более длительный срок создало условия, в которых правители считают менее рискованным обращаться к народу с жестами примирения, нежели вечно завинчивать гайки? Я только ставлю эти вопросы, но — хоть и был живым свидетелем того и другого — ответить не осмелюсь.

В заключение — коротко о моих земляках, которые были со мной там и тогда; нескольких из них я упоминал в «Венгерском дневнике», и, быть может, читателям хотелось бы знать их дальнейшую судьбу.

Ханка Адамецкая, светлая, благородная, чистая, постоянно жила на самой высокой, напряженной ноте и — покончила с собой через несколько месяцев после нашего возвращения из Будапешта. На ее похоронах встретились, пожалуй, все остальные — последний раз в полном составе.

В обстоятельствах, слишком похожих на самоубийство, погибла вскоре и Лидка Видаевич — «девчоночка с шапкой волос и огромным автоматом», о которой я писал в заметке от 1 ноября, умышленно тогда не уточняя, что речь идет о польской студентке, участнице венгерского восстания. После нашего возвращения Лидка не раз ко мне забегала, мы разговаривали, я разделял ее горечь, но сжигавшая этого полурбенка ненависть возбуждала сострадание и страх. Я пытался ее успокаивать, однако ожидавшей ее гибели не предчувствовал, хоть, может, и следовало бы.

Марьяна Белицкого тоже нет в живых. Он умер обыкновенно, в больничной постели, после месяцев страданий, после лет запутанной иногда, но яркой жизни. Он умел радоваться жизни, как мало кто из известных мне людей, и в то же время был способен на самоотречение и самоотверженность ради убеждений и друзей. Марьян расстался с партией задолго до меня, еще в 1957 году. Из-за этого ему пришлось почти полностью отойти от журналистики; в поисках другого поля деятельности он занялся древней историей и написал хорошую книгу о шумерах. Были у него и другие планы, а в больницу он попал внезапно: я был за границей, ничего не знал, а вернувшись, на следующий день узнал о его похоронах.

На этих похоронах я не встретил уже почти никого из нашей будапештской «команды»: одного только — годами перед тем не издавши — Зыгмунта Жижуховского, который давным-давно бросил перо и зарабатывал на жизнь более достойным способом. Я об-

радовался этой встрече, договорились созвониться — и с тех пор снова прошли годы...

Францишка Боровичова покинула Польшу с волной эмигрантов 68-69-го года. Не знаю, где она сейчас и как ее дела, — где бы ни была, если когда-нибудь до нее дойдут эти слова, пусть знает, что я сердечно вспоминаю хорошего товарища и желаю ей счастья...

За границей — но в ином качестве: специальных корреспондентов в разных там Парижах и Вашингтонах — наслаждаются жизнью некоторые другие журналисты, фамилии которых я позволю себе опустить. Признаюсь, что тогда в Будапеште я не подозревал в них той ловкости, которую они демонстрируют, годами снабжая свои редакции желательными и информативными и комментариями; и всё еще, бывает, удивляюсь — это те самые? это они теперь разоблачают гнилой Запад, коррупцию парламентарных режимов, заговоры сионистов и маоистов?

Но и на этих — куда более далеких мне, чем умершие и изгнанные, — слава Богу, свет клином не сошелся...

Пора прервать эту глоссу к дневнику двадцатилетней давности — а ниточка венгерская в моей жизни никогда уже, верно, не оборвется, хотя всего лишь неполных две недели продолжалось мое бессильное присутствие возле защищавших свою свободу и достоинство братьев-мадьяров.

Май 1976

ВОРОШИЛЬСКИЙ Виктор — род. в 1927 г. в Гродно. Учился в Лодзинском и Варшавском университетах, окончил аспирантуру Литературного института им. Горького в Москве, защитил кандидатскую диссертацию. Начал печататься с 1945 г., в 1949-м выпустил первую книгу стихов, в дальнейшем опубликовал несколько десятков книг: стихи, переводы (в частности, из Г. Айги), проза (в том числе роман о Салтыкове-Щедрине «Сны под снегом»),

литературоведение (монтаж документов «Жизнь Маяковского»). В 1957-58 гг. был главным редактором еженедельника «Новая Культура», откуда ушел вместе с группой писателей, протестуя против цензурных ограничений. В последние годы в связи с участием в акциях протеста лишен возможности печататься на родине. В 1977 г. в Библиотеке журнала «Культура» напечатан его автобиографический роман «Литература».

ПАМЯТИ ДРУГА

Умер Юрий Домбровский. Ушел из жизни замечательный русский писатель и человек поистине трагической судьбы. Чуть ли не третью часть отпущенного ему на земле срока он провел в тюрьмах и лагерях, по обвинению в несовершенных им преступлениях, самым главным из которых была его гражданская и профессиональная честность. Власть методически преследовала писателя, последовательно проведя его через все девять кругов ГУЛага, жуткий ад московских коммуналок, намеренное замалчивание, пока не достигла своего: он умер, так и не пробившись к своему широкому читателю у себя на родине. Вот какой ценой расплачивается современный русский писатель за право оставаться самим собой!

В своих романах «Хранитель древности» и «Факультет ненужных вещей» Юрий Домбровский на материале обыденной жизни с поразительной глубиной вскрыл психологический механизм, с помощью которого государственное насилие овладевает обществом в целом и каждым человеком в отдельности. Эти романы представляют собою не только высокохудожественные свидетельства нашей эпохи, но и мудрое предостережение потомкам от слишком поспешных социальных экспериментов.

Мы убеждены, что книгам Юрия Домбровского суждено большое будущее. Придет пора, когда миллионы читателей с благодарностью помянут этого писателя «незлым, тихим словом», по достоинству оценив его необыкновенный талант и человеческую прозорливость.

У Юрия Домбровского не было врагов, он жил или среди друзей, или среди равнодушных, но времени равнодушия приходит конец, а друзей у этого русского писателя с каждым годом будет всё больше и больше.

«КОНТИНЕНТ»

СТИХИ

Виолетта И в е р н и

* * *

Повяжу тебя стихом, как грехом,
В чернострочье кочевать поведу,
Не героем воевать Иерихон:
Прицыганенным конем в поводу.

И прощенья у тебя не прошу,
Что не мир тебе в подарок, а миф,
Что ташу тебя вдыхать анашу
Ненасытных и беспамятных рифм.

Ты премудрости моей не учен —
По земле ступать — что дым корчевать,
Не устанешь у меня за плечом?
В никуда тебя веду кочевать...

А чтоб не был без вины виноват —
Чуть тревога закричит петухом,
Я часы остановлю наугад,
Я грехом тебя свяжу, как стихом...

* * *

Мы ходим по кругу,
По лунному кругу,
По мягкому, мятому, мятному лугу.

Пригорок овален,
Тропинка поката,
И время с холодного лба циферблата
Стекает кругами.

В упрямом круженьи,
В упорном круженьи —
Безверье, безволие, бессилье крушенья,
Бесславию стяга.
Несмелая влага
Касается щек: темнота отсырела.
И в ней молчаливо злорадствует тело,
Как чаша с цикутой.

Взбухает минута
И падает наземь.
— Смотри, этот пень до греха безобразен!
— Так грех — безобразен?
— Греха не бывает...
Безлистный обрубок из тьмы выплывает,
Как дьявол — из жажды.
Но жажда проходит.
Ее забывают.
Вот разве что пень мы припомним однажды.

Мы ходим по кругу,
По лунному кругу,
Продрогшие тени плетутся за нами,
Мотает кудель ненасытная прялка,
И всё, как в старинной серебряной раме,
Прекрасно и жалко.

СТОЛИЦА ХИМЕР

«В последний раз — опомнись, старый мир!»

А. Блок

1

Ты мед изгнанникам.
Под твой фонарь
Приходит странником
Вчерашний царь —
Гадать, сумерничать
И ждать вестей.
А вести верчены,
И жжет постель,
И куром в ощипе
Луну трясет,
И Гревской площадью
Пропах восход.

2

О непрочный Париж,
Туалетная, летняя склянка!
Стрекозиный матчиш
И турнюры Прекрасной эпохи
Еще снятся тебе.
Но последняя в мире шарманка
Уж давно испустила
Последние медные вздохи.

О лукавящий идол —
Увечный, беспечный, извечный!
В этом капище душном,
От тесных надежд запотевшем,
Люди с будущим — прошлого требуют:
Клади заплечной;
Люди с прошлым — сбывают добро:
Что грустней — подешевше.

О бездонный Париж,
Соловьиное, винное зелье!
Стрекотанья афиш —
Не умней телефонного флирта —
Как тебе не простишь
За тот ласковый привкус безделья,
Что дороже восточных чудес
И сокровища Флинта, —
Воли привкус и плеск...

...Мы стоим у дверей
В лихорадочный блеск
Елисейских полей,
В воспаленную темень Монмартра...
О столица химер!
С того края земли,
Где безмерие мер
Молодит ковыли
На могилах, —
мы слово тебе принесли,
Но оно — не козырная карта.

Пчела — на пасеку,
Тесина — в тын,
А блудный пасынок,
Блудливый сын —
К тебе (ведь кладбище —
Живым поклон),
О Мекка жаждущих,
О Вавилон
Сирот — им яблоко
Подсунул бес...
Амбиций ярмарка,
Страна чудес,
Где снам и улицам
Тепла — по унциям,
Где служат устрицам
И революциям.

* * *

Я огорошен звездным небом,
Как откровением лица,
Такая грусть, такая небыль
И неразменность до конца.

Я огорошен, я доверчив,
Так трудно ясность воспринять,
А этот мир — он так заверчен,
Что до истоков не достать.

Я будто тронутый немного
С рожденья — Господа рукой,
Землею мучусь, как тревогой,
Болезнью болен лучевой.

Ударясь в грязь — не плакать слезно,
Что одинок — к чему пенять.
Да что там — падают и звезды.
И тоже — некому поднять.

1965

* * *

Леониду Губанову

Пусть каналии рвут камелии,
И в канаве мы переспим.
Наши песенки не допели мы —
Из Лефортова прохрипим.

Хочешь хохмочку — пью до одури,
Пару стопочек мне налей —
Русь в семнадцатом чёрту продали
За уродливый Мавзолей.

Только дудочки, бесы властные,
Нас, юродивых, не возмешь,
Мы не белые и не красные —
Нас салютами не собьешь.

С толку стало быть... Сталин — отче ваш.
Эх, по матери ваших бать.
Старой песенкой бросьте потчевать —
Нас приходится принимать.

Три дороженьки. Дар от Господа
В ноги идолам положи.
Тридцать грошиков вместо Посоха,
Пропиваючи, не тужи.

А вторая-то прямо с выбором —
Тут и лагерь есть, и тюрьма,
И психушечка — тоже выгода
На казённые на хлеба.

Ну а третья-то... Долей горек тот,
Если в этот путь занесло —
Мы б повесились, только толку что,
И невесело, и грешно.

Хочешь хохмочку — пью до одури,
Пару стопочек мне налей —
Русь в семнадцатом чёрту продали
За уродливый Мавзолей.

1965

* * *

Утро косится воровато,
Снег сверчком под окном скрипит,
Тень, как узник мечась, — обратно
Возвращается с полпути.
Сны, как розы за ночь засохнув,
Распадаются на глазах...
Бой курантов разводит вохру
Задыбевшую на часах.
Сходят пятна фонарной сыпи
С лика улиц, как пот со лба...

Вот и с этим рассветом свыклись,
Как с махоркою голытьба.

1975

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

В. Максимова

Я взгляды буржуазные бичую,
Смотрю канкан и пью за тех, кто там...
Мир оказался вовсе не причудлив,
А прост, как мышь, попавшая в капкан.

Как прапорщик, сорвавший эполеты,
Я не пригоден больше ни к чему,
Но если Бог не требует ответа,
Не следует с ответом лезть к Нему.

В бараке муза... помнишь ли, в оборках,
Тайком склонясь над бритой головой...
Да только запах грязи и махорки
Еще стоит, как ладан, надо мной...

Нас гонят так, как в день не гонят Судный,
Расплата эта нам не по стихам...
Здесь тоже по ночам приходят музы —
Химеры из собора Нотр-Дам.

*

Вся душа в пограничных ребристых столбах,
Даже страха в ней нет, я тоскую о страхе,
Как тоскует отверженный Богом монах,
Как отпетый разбойник тоскует о плахе.

Вся душа перечеркнута, как черновик,
Да такой черновик, что нельзя разобраться —
То ли дом на песке, то ли храм на крови,
То ли эхо шагов по тюремному плацу...

Париж, 1978

МУЗА

Она приходила в беспмятстве бед
К затворникам тех арестованных лет,
Скреплявших губами сухими
Ее запрещенное имя.
А черные ветры ничейной земли
По свежим могилам мели и мели,
И тусклые звезды в ничейной дали
В кромешную тьму осужденных вели.
И голо чернели, как колья оград,
Воронеж, Елабуга и Ленинград.
Но пели фанфары и тысячи труб
От трепета чуть шевелящихся губ,
И в ту комаровскую осень
Под шепот кладбищенских сосен.
И словно подав к воскресению знак,
Она раздвигала застеночный мрак
И билась волной о ступени,
Где блещут бессмертные тени.

1970

* *
* *

И государственная опись
Никем не читанных стишков,
И государственная пропись
Под протоколами листков...

И, проводив гостей, затворник,
Едва затихнут каблуки,
Сорвав молчанье, как намордник,
С рычаньем рвет черновики.

Не блеском славного Парнаса,
Не звоном сладкозвучных лир —
Одной кровавою гримасой
В него вонзался целый мир.

Так к разуму от протоплазмы
Нас привела природа-мать,
Чтоб сердце сжав последней спазмой,
В углу дыхание прервать.

1970

* * *

Н. Г.

Обернулась прозрачной весной —
Молодые, неслышные годы! —
Словно корни в коре земляной,
Губы пили подснежные воды.

Солнце здешнее вмёрзло не зря
В рук твоих ледяные прожилки,
И крошечный мороз января
Растопила ты августом пылким.

Вот таких-то и скрутит недуг,
И протащит в бреду по сугробам,
От волос и до кончиков рук
Пробирая московским ознобом.

Боль моя, отзовись, позови
Из моей одиночной квартиры,
Чтобы полдень полночного мира
И в моей загорелся крови!

31. 8. 70

* * *

Душа моя, сестра печали!
Всё ты, о Русь... Ты, с клёнов медь!
И как бы нас ни отлучали,
Как ни заказывали петь, —
Но в каждом посвисте едином —
Тот отзвук, оклик, зов времен,
Как в каждом клике лебедином —
Единство блещущих имен.

1972

**ОБРАЩЕНИЕ В. ЧАЛИДЗЕ
К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН
ВАЛЬДХАЙМУ**

Многоуважаемый г-н Генеральный Секретарь!

Я обращаю Ваше внимание на грандиозную демонстрацию в Тбилиси в защиту грузинского языка как государственного. Грузинский народ — одна из старейших наций на Земле, и его культура должна быть под защитой Объединенных Наций. Я также обращаю Ваше внимание на опасность преследования тех, кто участвовал в демонстрации. Особое беспокойство вызывает то, что Грузия закрыта теперь для визитов иностранных корреспондентов.

Объединенные Нации не раз демонстрировали свое бессилие перед великими державами, когда речь шла о защите прав человека в конкретных случаях. Покажут ли они теперь свое бессилие, когда речь идет о защите права народа, хотя и не представленного в Объединенных Нациях?

Я призываю Вас, г-н Генеральный Секретарь, с должным пониманием отнестись к серьезности этой проблемы и помочь защитить право грузинского народа на пользование своим языком во всех областях жизни. Независимо от того, пойдут ли власти СССР на формальную уступку, включив соответствующую статью в Конституцию Грузинской ССР, — проблема останется серьезной: насильственная русификация грузинской культуры началась давно, культура этого народа под угрозой. В защиту грузинской культуры уже выступали грузинские интеллигенты, в том числе известный грузинский общественный деятель Звиад Гамсахурдиа, арестованный теперь вместе с коллегами М. Коставой и В. Рцхиладзе.

Я также обращаю Ваше внимание, что проблема эта касается не только Грузии, но и других народов СССР, и в соответствии с международным правом Объединенные Нации не должны остаться безразличными к ней.

15 апреля 1978 г.

В. Чалидзе

«ЭТО НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР...»

ВАС ПОНЯЛ!

- Вызывали?
- Вызывал, дорогой, вызывал. Скажи, любезный, — всё забываю тебя спросить — как там у нас с эпитафиями на сотрудников?
- С эпитафиями у нас плохо.
- Вот и хорошо, вот и отлично. Садись, будем составлять.
- Так ведь... некому пока.
- Что значит «некому»? Сегодня некому, а завтра — навалом. Вечно мы откладываем на последний день.
- Вас понял! С кого начнем?
- А ты как думаешь?
- Как прикажете, так и подумаю.
- Прикажу, дорогой, типовую эпитафию.
- Опять вас понял! Чтобы одна на всех и все под одну.
- Именно! Бери бумагу, пиши разборчиво: «Здесь лежит...» А кто здесь лежит?
- Так ведь кого прикажете, того и положим.
- А положим-ка мы с тобой для начала товарища Н.
- Вас понял! Пишу: «Здесь лежит товарищ Н.»
- И всё?..
- И всё.
- А не мало?
- Хватит с него. Невелика шишка.
- Нет, дорогой, так оно не пойдет. Надо бы что-нибудь эдакое, возвышенное... Чтобы щемило, чтобы

щипало, чтобы брало за душу. «Путник, остановись!» И так и далее...

— Вас понял! «Путник, остановись! Здесь лежит товарищ Н.»

— Это лучше. Уже щемит, но еще не щиплет.

— Знаю! Видел! «Спи спокойно, товарищ Н. Ты уже дома, а мы еще в гостях!»

— Кто дома?..

— Он дома.

— А мы где?..

— А мы в гостях.

— У кого?

— У себя.

— М-да... Не щемит. Нет, дорогой, не щемит и не щиплет. Очень уж глубокомысленно... Всю скорбь отшибает. «И пусть у гробового входа младая жизнь будет играть...» Вот! Писали же люди...

— И снова вас понял! «Путник, остановись! Поиграй у входа к товарищу Н. Помни, путник: он давно уже дома, а ты всё еще играешь в гостях!»

— Молодец, дорогой! Это ближе. Оно, правда, не щемит и не щиплет, но за душу уже берет. Давай теперь поконкретней, поконкретней... Чтобы все знали, кого мы теряем. Чтобы скорбели с нами.

— Вас понял! Другому не понять, а я с налету! «Путник! Ни с места! Здесь лежит товарищ Н.»

— Хорошо!

— «Дисциплинированный! Трудолюбивый! Добросовестно относившийся к порученному делу! Пользовавшийся уважением всего коллектива!»

— Прекрасно!

— «Спи спокойно, товарищ Н. Ты уже дома, а коллектив всё еще в гостях!» Три подписи. Печать. Что такое?.. Вы плачете?

— Эх, милый... Растрогал ты меня... Такого человека хороним! Такого человека!..

— Да плюньте вы на него. Не стоит он ваших слез.

— Стоит, дорогой, стоит... Лев! Орел! Герой! Ну, ладно... Поплакали — и за работу. Спрячь эпитафию в сейф. Спрятал?

— Спрятал.

— Ну и отлично. А то он еще прочитает, возомнит...

— Вас понял! Незачем ему знать, какой он у нас хороший. Совсем незачем!

— Правильно, дорогой. Придет срок — семья всё узнает!

БОЯЗНО ЧЕГО-ТО...

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, здравствуйте...

— Как ваше здоровье?

— Не скажу.

— Почему?

— На провокационные вопросы не отвечаю.

— Я вас не провоцирую. Мне на работе поручили узнать, как вы себя чувствуете.

— Это не телефонный разговор.

— У нас всё телефонный разговор.

— Всё, но не это. Если я скажу, что мне хорошо, можно подумать, что мне хорошо. Если я скажу, что мне плохо, можно подумать, что мне плохо. Улавливаете?

— Нет.

— Молодой еще. Вырастете — уловите. Не уловите — не вырастете. Нет, нет... Это не телефонный разговор. Спросите меня о другом.

— О чем?

— Откуда я знаю? Не я вам позвонил, а вы мне. Спрашивайте — отвечу.

— Не знаю даже, что и спросить. Я позвонил с единственной целью — справиться о вашем здоровье.

- Это не телефонный разговор.
- Я думал, у нас всё телефонный разговор.
- Всё, но не это.
- Слушайте! Ну его к чёрту, ваш телефон... Давайте, я к вам подъеду.
- Зачем?
- Справлюсь о здоровье.
- Это будет подозрительно: приехал, задал один вопрос и сразу уехал.
- Я не уеду сразу. Посидим, поболтаем...
- О чем?
- О чем-нибудь.
- О чем-нибудь я не болтаю.
- Ну, тогда посидим, помолчим.
- О чем?
- Ни о чем.
- Нет, нет... Этому никто не поверит. И потом, что я напишу в объяснительной записке по поводу нашей встречи?
- Вы пишете объяснительные записки?
- Конечно. Я не мыслю свою жизнь без объяснительной записки. Так что встречаться мы не будем.
- Но мне надо узнать про ваше здоровье! Мне поручили... Скажите... Я вас очень прошу!
- Это не телефонный разговор.
- Всё. Больше не могу. Давайте попрощаемся и повесим трубки.
- Не сказав ничего существенного? Это подозрительно.
- Что же делать?
- Разговаривать. Ну?! Только не молчите.
- Хорошо... Про погоду... Можно про погоду?
- Попробуйте.
- Погода у нас хорошая...
- Не преувеличивайте.
- На самом деле — хорошая.

— Никого не интересует, какая она на самом деле. Дальше.

— Извините... Погода у нас плохая. Сплошные осадки.

— Осадки — это не телефонный разговор.

— Мне казалось — конечно, я мог ошибаться, что у нас всё телефонный разговор.

— Всё, но не осадки. Осадки — это беспросветно. Дальше.

— Погода у нас средняя. Светит солнце, льет дождь... И всё это одновременно.

— Вы делаете успехи.

— Можно теперь повесить трубку?

— Пока нельзя.

— Извините... Из окна видно, как проносятся по улице троллейбусы. Один пустой, другой битком... Один пустой, другой битком...

— Молодец!

— В них сидят нарядные, богато одетые пассажиры в скромных недорогих костюмах.

— А говорил, что не может! Дальше...

— Они сидят и тихо разговаривают.

— Опять за старое?!

— Они сидят и громко разговаривают...

— Кому я сказал?

— Понял... Они разговаривают не тихо и не громко: «Погода у нас средняя. Светит солнце, льет дождь...»

— Одну минуту. Вы случайно не знаете, как пишется: «не тихо и не громко» или «ни тихо и ни громко»?

— А вам зачем?

— Чтобы правильно записать.

— Вы записываете?

— Конечно. Я всегда всё записываю. Так как же пишется...

— На провокационные вопросы не отвечаю. Если

они говорят не тихо и не громко, можно подумать одно, а если они говорят ни тихо и ни громко, можно подумать прямо противоположное. Нет, нет... Это не телефонный разговор.

— Наконец-то вы поняли. Теперь можете повесить трубку.

— Честное слово?

— Можете, можете.

— Скажите, что вы не шутите...

— Кладите.

— Боязно чего-то...

— Смелее. Не бойтесь.

— Не решаюсь...

— Клади, кому говорят!

— Спасибо... Большое спасибо... Даже не верится... До свидания!

— Прощайте.

— А почему не «до свидания»?

— «До свидания» — похоже на сговор. На предполагаемые встречи и неизвестные намерения. Поняли? Алло, вы поняли?.. Почему вы молчите?..

— Я не молчу. Я тоже записываю.

ЧУМОВОЙ

— Гражданин! Эй, гражданин! Товарищ с авоськой!

— Я, что ли?

— Вы, вы... Извините, пожалуйста. Ради Бога, извините...

— Чего тебе?

— У меня к вам маленькая просьба... Только, пожалуйста, не откажите...

— Короче. Десять копеек?

— Нет, нет... Не деньги. Наоборот. Как бы вам объяснить?..

- Будь здоров. Мне некогда.
- Не уходите! Второй раз я не решусь... Видите ли...
- Ну?!
- Сейчас... Раз, два, три... Спросите... вы... меня...
- А?!
- Вы меня спросите.
- Про что?
- Про что-нибудь.
- Мне не надо.
- Мне — надо! Ну, спросите, чего вам стоит?
- А что спрашивать?
- Что хотите. Вот, например: «Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы...»
- Зачем это я буду тебя спрашивать?
- Чтобы я ответил. А я отвечу. Я обязательно отвечу. Я много думал над этим вопросом. Что нужно сделать для того, чтобы... Я думал, а никто не спрашивает.
- Не спрашивают — значит, не надо.
- По этому вопросу не надо — по другому надо. Я и по другому думал.
- Что ты от меня хочешь?
- Чтобы спросили. Например, вот это: «Как вы думаете...» Как вы думаете — это обязательно. Это подстегивает мозг. «Как вы думаете, почему это хуже, чем то?»
- Кто тебе сказал, что хуже?
- Никто. Я вижу.
- Не туда смотришь.
- А я думал над этим! Я много думал, и у меня есть вариант, чтобы было лучше. Да, да... Конечно, может, он и не годится, но выслушать-то можно.
- Отпусти рукав. Отпусти, кому говорят!
- А вы не отмахивайтесь. Что вы отмахиваетесь? Спросите меня: «Что вы думаете по этому вопросу?»

— Слушай ты, чумовой!.. Сейчас милицию позову.

— Ну, вот... Сразу и милицию. А может, по этому вопросу только я один и думаю. Может, этим вопросом никто и не занимается.

— Не бойся. Кому надо, тот занимается.

— А я боюсь... Боюсь, понимаете? Вдруг никто! Столько вопросов, столько вопросов... Про один можно и позабыть.

— Что ты от меня хочешь? Ну, что? Я из-за тебя автобус пропустил...

— Я хочу помочь. У меня мозг не загружен.

— Тебе что, больше всех надо?

— Ничего мне не надо.

— Ну и сиди.

— Я и сию. А в мозгах порожняк. Спросите, а? Неужели вам всё ясно?

— Мне всё ясно.

— Этого не может быть. Что-то всегда должно быть неясно.

— Неясно — объяснят.

— А если не объяснят?

— Если не объяснят, значит это не неясно, а ясно. Ясно?

— Как вы сказали?

— Как слышал.

— Всё. Извините. Ради Бога... Знаете, накопилось, а тут гляжу — вы идете. Я и накинулся. Я не ожидал, что вам всё ясно. По виду и не скажешь.

— Мне всё ясно. Будь здоров.

— До свидания. Извините. До свидания.

— Пошел... Побежал... «Спросите меня, спросите...» Не на такого напал! Провокатор...

ПОНЯЛ?

- Эй, ты!
- Чего?
- Ничего. Слазь с мачты.
- Зачем?
- Слазь, кому сказано!
- Да я впередглядящий. Я вперед гляжу.
- Уже не надо.
- Как так не надо? Раньше всегда глядели.
- Не твоя забота.
- Смотри, долбанемся...
- Не долбанемся. У нас теперь механизм есть.
- Какой такой механизм?
- А такой: загогулина вертится, механизм греется, фиговина светится, хреновина показывает. А ты в трюме сидишь, на сто верст кругом видишь. Понял?
- Не...
- Слазь с мачты! Я те на пальцах объясню.
- Ну, ладно... Полез. Эй, эй... Земля! Земля!..
- Чего орешь?
- Земляаа!!!
- Погоди-ка, погоди... А по этой хреновине никакой земли нету.
- Как же нету... Земля на горизонте!
- Не бреши. Нету земли.
- Она куда у тебя смотрит, твоя загогулина? Куда смотрит?
- Куда надо, туда и смотрит. Тебя не спросили.
- Поверни, загогулину... Вперед поверни! Ура! Земля!! Повернул?..
- Повернул. Нету никакой земли.
- Да ты выйди из трюма, глазами погляди... Ой, земля, братцы, земля!..
- Во дает... Во разоряется... Да я теперь новейшей техникой вооружен. Я теперь ни в жисть тебе не

поверю. Хватит! Понадоверялись невооруженному глазу. Какая может быть земля, когда у меня хреновина ни фига не показывает?

— Ой, да что же это делается... Ой, да куда же мы плывем... Родимый, выглянь из трюма... Выглянь!.. Эй, а она от чего у тебя работает?

— Известно от чего: от электричества. Током шибанет, загогулина завертится, механизм нагреется, фиговина засветится, хреновина показывать начнет. Во как!..

— А ты ее в штепсель включил? В штепсель, а?..

— Думаешь, надо?

— Думаю, родной, думаю, дорогой, ой, как думаю... Ой-ой-ой... Долбанемся! Взгляни, прошу тебя...

— Во паникер... Во трепач... Да у меня техника на грани фантастики! Да я трюм нарочно захлопну! Да я глаза закрою! Да я одеялом накроюсь...

— Включил, золотой, в электричество? В электричество включил?..

— Включил. Давно включил. Нету земли. Нету, понял?

— Не могу я этого понять, не могу... Как же ее нету, когда вот она, вот! Можно я с корабля спрыгну? Ой, можно?.. Отвечай скорее, родимый... Отвечай, а то врежемся — ответа не услышу...

— Я те спрыгну... Мракобес.

— Ой, не могу... Вот же она, земля... Пощупать можно... Десять, девять, восемь, семь, шесть...

БУЛЬК!..

— Эй! Эй!.. Ты что, спрыгнул? Во дурак... А я ошибку нашел. Я его, механизм этот, в радиосеть включил. Это мы мигом испра...

ТРАХ!..

— ...навсегда останется в наших сердцах мужественным, целеустремленным, смело идущим до конца к любой цели. А малoverы, которые не доверяют технике, будут отвечать по всей строгости наших гуманных законов. Я кончил. Спасибо за внимание.

Я ВАМ ЗАВИДУЮ!

— Алло!

— Да-да?

— Это 123-45-67?

— Он самый.

— Я вам завидую.

— Что, что?

— Я вам завидую. Слышите? За-ви-ду-ю!

— Кто это говорит?

— Какая разница... Я вам завидую — это главное.

— Странно... Ведь вы меня совсем не знаете.

— Именно поэтому. Среди знакомых — никого.

Сплошные ничтожества. Некому позавидовать. Вот я вам и позвонил.

— Но почему именно мне?

— А почему бы и нет? Раз я вас не знаю, у вас могут быть добродетели.

— Что значит «могут быть»? Полно!

— Тем более. Ах, как я вам завидую!

— Странно... Я должен знать, чему вы завидуете. Может, моей принципиальности?

— Полноте! Откуда она у вас?

— Вы меня не знаете!

— Я знаю других.

— Тогда... Тогда — кристальной честности?

— Не преувеличивайте.

— Благородству? Скромности? Высоким душевным качествам?

— Не набивайте себе цену.

— Это как-то... Хотите знать, это даже обидно. Кто-то завидует, а я не знаю — чему. Скажите! Ну, скажите, чему вы завидуете? Я этим гордиться буду.

— Почему я знаю? Завидую — и всё. Стихийно завидую.

— А как же мне гордиться? Тоже стихийно?

— Попробуйте.

— Пробую... Еще пробую... Еще... Не выходит. Только завидовать можно неконкретно. А для гордости нужна определенность.

— Потому я и не горжусь. Мог бы, да нечем. Это так трудно — гордиться. Ищешь — и не находишь. Находишь — и сомневаешься.

— Подлец! В какое положение вы меня ставите? Я тоже отказываюсь гордиться!

— Ваше дело.

— Как так?! Чему же вы тогда будете завидовать? Я не горжусь — вам нечему завидовать.

— Глупости. Для моей зависти совсем не нужна ваша гордость.

— Тогда... Тогда я тоже буду завидовать. Я вам буду завидовать. Ха-ха-ха... Вам!

— Эй, эй, полегче... Это моя идея.

— Плевать! Ух, как я вам завидую... Ух, ух!

— Это нечестно.

— Честно, честно... Вы — мне, я — вам. Милый вы мой! Жизнь-то теперь настанет какая! Наполненная жизнь!

— Ну вот, испортил идею. Я-то думал, буду себе завидовать потихоньку, проведу в сладости остаток дней...

— Чепуха! Завидовать надо с размахом. Я сейчас всех обзвоню, всех!

— Не надо... Пожалуйста... Оставьте мне мою зависть.

— Ни за что! Теперь вы не можете завидовать. Вы придумали такую идею, такую идею!.. Ваша судьба — гордиться этим. Гордитесь! Гордитесь, дурень! А я вам буду завидовать. Ха-ха-ха... Разъединяю!

— Не надо! Не на...

— Я! Я теперь завидую! Я! Будто крылья выросли!.. Всех обзвоню, всех! Весь город! Весь мир! Вот она жизнь, полная, насыщенная... Алло! Международная? Дайте Токио. Токио? Соедините с кем хотите. Алло. Это кто?

— Курода-сан у телефона.

— Курода! Ты меня слышишь? Здравствуй, Курода! Я тебе завидую!!!

КАНДЕЛЬ Феликс (литературный псевдоним — Ф. Камов) — родился в 1932 году, в Москве. По образованию — авиационный инженер. Печататься в России начал с 1963 года. Публиковал свои вещи в «Новом мире», «Литературной газете», участвовал в нескольких сатирических сборниках. По его замыслу и сценариям была создана серия мультфильмов «Ну, погоди!», пользующаяся большой популярностью в СССР. В 1973 году в связи с подачей заявления о выезде в Израиль Кандель был лишен возможности работать в кино и литературе. Четыре года сидя «в отказе», Феликс Кандель активно участвовал в еврейском движении, издавал самиздатский журнал «Культура». В конце 1977 года получил разрешение на выезд и уехал в Израиль. В 1976 г. журнал «Грани» опубликовал его роман «Коридор», в 11-м номере «Континента» был напечатан его рассказ «Старик Семеныч».

YMCA - PRESS

11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Paris (5).

В связи с поступлением большого количества заказов
издательство ИМНА - ПРЕСС объявляет

НОВУЮ ПОДПИСКУ

на

СОБРАНИЕ ПЕСЕН РУССКИХ БАРДОВ

издание второе, переработанное и дополненное

Собрание включает почти **ТЫСЯЧУ ПЕСЕН** русских бардов и состоит из **четырёх серий по 10 магнитофонных кассет** в каждой серии с приложением полных текстов всех песен.

(Серии № 1, 2 и 3 представляют собой переработанные и дополненные соответствующие серии первого издания. Серия № 4 включает лишь песни, не вошедшие в первое издание "Собрания русских бардов").

В СОБРАНИИ ПЕСЕН наиболее полно представлено творчество ведущих бардов современной России:

В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Галича, Б. Алмазова, Е. Бачурина, Ю. Кима, Е. Клячкина, Н. Матвеевой, Ю. Кукина, Ю. Визбора, А. Городницкого и других.

Подписка осуществляется либо на полный комплект, либо по сериям.

ЦЕНА ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА (40 кассет с текстами)

1 600 Ф фр. (включая пересылку авиапочтой)

1 550 Ф фр. (включая пересылку простой почтой)

ЦЕНА ОДНОЙ СЕРИИ (10 кассет с текстами)

480 Ф фр. (авиапочтой)

460 Ф фр. (простой почтой)

**ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ЗА СОБРАНИЕ
ВНОСИТСЯ ОДНОВРЕМЕННО С ЗАКАЗОМ**

Без приложенной оплаты заказы не принимаются.

(Университеты и библиотеки могут производить расчеты по получении "Собрания") — Прием заказов ограничен.

Подписка прекращается 30 октября 1978 г.

После закрытия подписки заказы приниматься не будут.

Все заказы будут выполнены в течение двух месяцев с момента закрытия подписки: до **1 января 1979 г.**

СТИХИ ПОЭТОВ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Валерий Перелешин

СОНЕТЫ О РОССИИ

ЗАБВЕНИЕ

Бездомностью не сразу озабочен,
Я не искал у предков и предтеч
Того, что сам не мог бы уберечь:
Ни золота, ни упраздненных вотчин.

Но хуже то, что жалобно непрочен
И мой ларец — сокровищница встреч,
Губ ласковых, неотведенных плеч —
Термитами и временем источен.

И то письмо с остатками чернил, —
Я и его, увы, не сохранил
Не от червей — от немочи забвенья!

Зачем же я, уже почти гнильё,
От чуждого храню произношенья
Отечество и отчество мое?

МОЙ МІР

Мой весел мір и по-иному жуток:
Здесь мелочней, быстрее толчея,
Чтоб карликов я брал себе в друзья,
В любовницы — пискливых лилипуток.

Насмешки здесь не злее детских шуток,
Хвалы — глупей партийного вранья:
Не жизнь, а быт, но чем до бытия
Зияющий заполню промежутки?

Сегодня здесь — как завтра, как вчера,
Бездумная салонная игра
В таинственность, забавные загадки.

И я пишу о радости земной,
И слушает сонетики, баллады
Мой Боженька — мальчонка озорной.

ПРИХОДО-РАСХОДНАЯ КНИГА

Ничтожные на стороне прихода
Копеечки, а прожиты рубли:
Полсотни лет от Лепеля вдали
Покроет ли грошовая свобода?

Я от грозы под сень громоотвода
Бежал сюда, на дальний край земли,
И вот — нули, мордастые нули
Насмешливей, злорадней год от года.

Пока в мечтах я высоко летал,
Наследственный растаял капитал, —
Уже в ходу и красные чернила!

Внизу листа сургучная печать
Гласит: «Не я, — она мне изменила»,
А новый том успею ли начать?

БЕГСТВО

Доказано: я — человек в футляре
От головы до отворотов брюк:
Я ускользнул в подполье, в тесный люк
От пестроты и грохота, и гари.

Я утонул в незримом Светлояре,
Упрям и глух, и нем, и близорук:
Был полон мир героями вокруг,
Но бредил я о солнечном Икаре.

Защитою от ветреной толпы
Я вырастил щетину и шипы
Или, точнее, как робкие моллюски,

Ушел на дно, где больше холодка,
И там заснул. Но сны мои по-русски,
И с ними строй и совесть языка.

ПЕРЕЛЕШИН ВАЛЕРИЙ — родился в 1913 году в Белоруссии. Ребенком был вывезен в эмиграцию в Китай, где получил юридическое образование. В 1959 году переехал в Бразилию. Выпустил восемь книг стихов. Знаток китайской культуры, переводчик китайской классической поэзии. Опубликовал несколько книг поэтических переводов с китайского, португальского, испанского, персидского и английского языков. Живет в Рио-де-Жанейро.

Как до Колумба, в хижинах ютится
В Колумбии большая беднота,
Но этот город все-таки столица,
И кажется, богата Богота.

Доколумбийских глиняных горшков
Я не купил, на лучшее надеясь.
В Музее Золота мы загляделись
На золотых сияющих божков.

Мы жертвы тем божкам не принесли,
Мы им не поклонились до земли.
Зачем? Они врагов не отразили,
Не вознеслись ни в славе и ни в силе.

Я думал не о них, а об умельце,
О том, кто сделал золотое тельце
С таким искусством. Никаких имен
Не сохранилось (да у тех племен
И письменности не было). И странно
Подумать нам о тени безымянной.

Ты тоже мастер золотых изделий —
Из чувств и рифм, звучаний и видений, —
И письменность у нас. Но имена
Не знает наши наша же страна.

Не споря о бессмертии с божками,
Мы балуемся русскими стихами.

* * *

Одна миллионная миллиметра —
Размеры вирусов. Не может быть,
Что в результате тумана и ветра
Они могли тебя убить.

Не может быть, что какой-то вирус
Тебя убивал, как тать, пока
Твои глаза глядели, расширясь,
На посветлевшие облака.

Тебя, вероятно, убил архангел,
Ударил огненным крылом
Воитель в небесном высоком ранге,
Сопровождаемый орлом?

Еще продолжалась инфлуэнца,
Еще ты кашлял и чихал,
Когда он вылетел из солнца,
Как молния сквозь черный шквал?

На горную снежную вершину
Упал его свет, и в тот же миг
Тебя в светозарную дружину
Взял знаменосцем архистратиг?

* * *

На последнем вскрытии
врач обнаружил
в моем организме
неизвестные органы.

Ни один мне не нужен,
могу подарить их,
скажем, отчизне
(вы растроганы?).

Если хотите,
могу пересадить их
(они — точно из белого теста)
вам, любезный читатель, —
если в вашем организме,
как полагал Аристотель,
есть свободное место.

* * *

И сухая ноябрьская ночь,
как заросли чертополоха,
огромные заросли
серых колючих стеблей,
сделанных из осеннего ветра,
из жесткого холода,
из вороньего резкого грая.

В такую ночь
в переулки выходят лемуры.
Они качаются, как на лианах,
на черной паутине молчанья;

они вращаются вместе с планетой
(только в другую сторону);
они говорят, что нам лучше вернуться
в туманность Андромеды.

ЧИННОВ Игорь — родился в Латвии. С 1947 года в эмиграции. Сначала в Париже, где окончил Сорбонну, затем в Мюнхене (работал на Радио Свобода). С 1962 года — профессор Канзасского университета. Выпустил несколько книг стихов.

КОВЧЕГ ДЛЯ НЕЗВАННЫХ

Глава из романа

Разговор между начальником гитлеровского кацета, которого переводят на повышение, и его лагерной прислугой, заключенным-евреем:

— *Бери, пей! Ты заслужил эту рюмку коньяку: за три года службы ты не получил от меня ни одного замечания.*

— *Благодарю вас, герр оберст.*

— *Сегодня я разрешаю тебе быть абсолютно откровенным, поэтому скажи мне честно: что особенного ты заметил во мне за эти три года?*

— *У вас стеклянный глаз, герр оберст.*

— *Ты можешь назвать, какой именно?*

— *Левый, герр оберст.*

— *Как ты угадал, ведь он так превосходно подделан!*

— *А в нем было что-то человеческое, герр оберст...*

1

Голос рыбного министра униженно вибрировал в трубке, слова набегали одно на другое, тот захлебывался словами:

— Товарищ Сталин... Как коммунист... Как верный солдат партии, я обязуюсь ликвидировать прорыв... Лично вылетаю на место стихийного бедствия. — Министр перешел на умоляющий хрип. — Костыми лягу, товарищ Сталин...

Он не стал дослушивать, положил трубку: пусть выкручивается теперь, старый боров! Он знал, что

Главы из того же романа см. в №№ 9 и 14.

после такого телефонного оборота этот вахлак будет землю носом рыть, но положение выправит. Чёрт бы их побрал, эти стихийные бедствия! Едва кончилась война, они, словно сговорившись, принялись наваливаться на страну след в след: засуха на Украине, затем в Молдавии, а вот сейчас это самое цунами на Курилах. И всякий раз приходилось затыкать всё новые и новые дорогостоящие дыры, перекраивать бюджет, искать и наказывать виновных. Никак не удавалось прочно подняться на ноги, чтобы вновь взять за шиворот вчерашних союзников, которые наивно полагают, будто он удовлетворится, наконец, тем, что ему принес тучный послевоенный раздел. Как бы не так, господа хорошие, как бы не так, не для того он годами отстраивал эту махину, рисковал судьбой и преступал все заповеди, чтобы довольствоваться частью: всё или ничего, и, как это сказано там, в Евангелии, пусть мертвые хоронят своих мертвецов!

Он снова опасливо скосил глаза на лежащую сбоку от него «тассовку»: «С 10 по 14 ноября происходило крупное извержение одного из действующих вулканов Курильской гряды. Подземные толчки...» Дальше следовали подробности, которые его мало интересовали и в которых он не усматривал особого проку: ничего уже нельзя было ни предотвратить, ни поправить. Теперь оставалось найти виновных, а затем начинать всё заново. Виновные же, разумеется, найдутся, он всегда отказывался считать стихию смягчающим обстоятельством, по опыту знал, только попусти, каждый начнет оправдывать свое разгильдяйство всякими субъективными и объективными причинами: в болтовне утопят страну. «Взялся за гуж, — он вдруг вспомнил Золотарева, пожалев лишь о том, что не успел проверить этого туляка в деле, лишний раз убедиться в своем знании человеческой природы и собственной прозорливости, — не говори, что не дюж».

В нем давно выработался спасительный инстинкт самосохранения от праздных раздумий по какому-либо конкретному поводу. Это помогало ему принимать решения, не растекаясь в деталях или подробностях, что, в свою очередь, обеспечивало таким решениям немедленное воплощение в реальность: Золотарев, вместе с его васильковыми глазами и собачьей преданностью, мгновенно отошел от него в небытие, уступая место новой теме и новому имени.

Имя это значилось в Указе, с утра лежавшем перед ним на столе в ожидании его утвердительной визы. С этим Указом, а вернее, с этим именем у него была связана целая, чуть не сорокалетняя история, которая, по его мнению, заслуживала теперь достойного завершения. Облегченно перестраиваясь на шуточный лад, он поднял трубку «вертушки», набрал однозначный номер:

— Зайди, Лаврентий, — на этот раз даже его гортанное произношение показалось ему кстати, — дело есть, Серго крестить пора...

Он с детства не любил своего грузинского акцента, вязко напоминавшего ему о его плебейском происхождении. С завистью вслушивался он в свободный выговор своих сверстников из дворянских семей, где русский язык считался обиходным, отмечая, с какой легкостью переходили они от раскатистого грузинского «э» к почти беззвучному русскому «е», произнося чужие «ш» и «ч» без единого свистящего звука. Его детская зависть к ним, к их облику, к их внешнему превосходству, хотя почти каждый из них и влачил то же самое полунищенское существование, — в Грузии, как известно, на каждого нищего три дворянина, — с годами обратилась в жгучую, трудно преодолимую ненависть, которой долго потом, после победного похода Одиннадцатой Армии по Закавказью, он насыщался, но так и не насытился, только поостыл с годами. И поэтому, когда хваткий кутаисец Давид Рондели,

явно угождая ему, снял незамысловатую, но злую комедию о двух беспортошных князьях из Эристави, он осыпал сообразительного мэтра щедротами со своего плеча и периодически просматривал ленту, всякий раз удовлетворенно покатываясь со смеху. По-азиатски укорененно презирая русских и всё русское вообще, он жаждал выглядеть со стороны чистокровным русским, чтобы по праву смотреть свысока на инородцев и их жалкие подражания чужому величию...

Берия вошел, даже скорее вскользя по обыкновению без стука, весело поблескивая на него преданными стеклышками пенсне в предвкушении предстоящей забавы. Не спуская с хозяина понимающих глаз, приблизился к столу, остановился рядом, но не сел, молча устремленный к нему сердечностью и соперничеством момента.

Это была их давнишняя игра, какую они время от времени разыгрывали себе на потеху с людьми из ближайшего окружения. В строгом соответствии с загодя и тщательно отрепетированным сценарием он так же молча кивнул гостю на телефон.

Бережно подтягивая к себе трубку, Берия по-прежнему продолжал заговорщицки светиться ему в глаза, слегка сотрясаясь от смешливого удовольствия, но едва заговорил по телефону, как в голосе его прорезалась привычная повелительность:

— У тебя готово?.. Соединяй. — И деловито подбираясь, прокашлялся. — Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Сергея Ивановича... Кто просит? Смотрите, какая любопытная гражданка! Старый друг просит... Гражданин Кавтарадзе не платит за телефон? Ай-ай-ай, скажите пожалуйста, партиец с дореволюционным стажем, профессиональный дипломат, кристальной души человек, детей любит, а он, оказывается, еще и злостный неплательщик! Накажем, честное партийное слово, накажем, в крайнем случае,

гражданка, за него уплатит центральный комитет векепебе. — Голос у того вдруг резко пресекся. — А теперь позови Кавтарадзе и — быстро: говорят из органов! — Одобряя исполнительность абонента, победительно осклабился. — Серго? Здравствуй, Серго! Кто говорит? Ну, не квартира, а кружок любознательных, хоть сейчас наряд с орденом высылай. Лавруша говорит. Узнал?.. Ну, какой же я тебе «товарищ Берия»! Лаврушка, Лаврентий, как хочешь называй, только, пожалуйста, без официальных. Рука об руку революцию делали, а теперь величаться будем, брось! Только сегодня узнал, сам понимаешь, мои молодцы донесли, что ты уже целый год, как в Москве. Целый год, Серго, и глаз не кажешь? Совесть иметь надо, дорогой, рано тебе старых друзей забывать, вот и Сосо все время спрашивает: что там Серго, как там Серго, где он? Приезжай сегодня, если не занят... Ерунда! Что значит «не в чем»? В чем есть, в том и приезжай. Да, чуть не забыл! Вот Сосо стесняется спросить у тебя сам: можно, и он подъедет? Тоже повидать тебя хочет, соскучился. Втроем посидим, без баб, выпьем, споем, по-домашнему, по-мужски... Согласен? Слушай меня внимательно, Серго, ровно в двадцать один ноль-ноль за тобой заедет Саркисов...

Дальше он слушать не стал, мысленно уходя в то далекое прошлое, когда судьба впервые свела его с этим парнем из Зестафони. И хотя тот числился дворянским отпрыском, держался запросто, даже с известным подобоострастием, как младший со старшим, не упуская случая подчеркнуть свое почтение перед его опытом и заслугами. Парень был на шесть лет моложе, пописывал стихи, но кто их только ни пописывал в пору полового созревания, рвался в работу, не рассуждал, не мямлил, не чистоплюйствовал, делал, что приказывалось, чем в конце концов и пришелся ко двору. Он умело использовал неопфита там, где самому ему было ввязываться не с руки, учил, натаскивал по

мелочам, даже впоследствии привел за собою в «Правду», но хмель Октябрьской лафы многим ударил в голову, в том числе и этому зестафонцу, который в угаре митинговой болтовни оказался вдруг в троцкистской орбите, путался с Иоффе, якшался с Ломинадзе, петлял вокруг Шляпникова и после высылки своего кумира, как и следовало ожидать, очутился за бортом. Он годами не трогал глупца, изредка напоминая тому о себе то сдержанно вежливой повесточкой из милиции по поводу законности местной прописки, то случайным приводом за мнимое нарушение уличного движения, а то — что было более крепким средством — упоминанием в дежурной статье об истории борьбы партии с фракционной оппозицией. Так, почти на протяжении тринадцати лет перепуская беднягу из холодного в горячее, он довел того до полного человеческого ничтожества, после чего, уступая просьбе Лаврентия, восстановил в партии, пристроив в МИД, на случайных заграничбегах. Но затем опять сменил температуру: год держал строптивца без работы и хлеба, в коммунальном курятнике на окраине города. И вот сегодня тому предстояло последнее испытание...

— Слушай, Лаврентий, — вне всякой связи с недавним разговором он вдруг вновь вернулся к Курилам, — не справился твой Золотарев с заданием, дров наломал, не сумел обуздать стихию.

Тот схватил его мысль с полуслова, с полувзгляда, с полунамека: мгновенно напрягся, вытянулся:

— Мой грех, Сосо, — переходя на грузинский, семантика которого позволяла гостю эту маленькую фамильярность, Берия вкрадчиво нащупывал его настроение, — проглядел ротозея, ты не беспокойся, за всё ответит подлец, не выкрутится.

— Успеешь, — снисходительно отмахнулся он, настраиваясь на прежний лад. — Подумай лучше о крестинах, устрой так, чтобы навсегда запомнил и

внукам-правнукам наказал. Крестить так крестить! — И сразу же пресек слабую попытку гостя продолжить разговор. — Ступай. Я к тебе сам приеду...

Затем он снова ушел в себя, в свое одиночество, в свои уже старческие видения. Ему никак не хотелось верить, что жизнь в нем стремительно катится под уклон, что конец близок и что химеры прошлого, так надоевшие ему в последние годы, возникают перед ним из пепла его собственного распада. Ведь, кажется, еще совсем недавно, только что, может быть даже вчера, он сидел с тем же самым Серго Кавтарадзе в прохладном подвале батумского духана и говорил с ним о женщинах, кахетинском вине, заморских странах и многом, многом другом, чего за давностью лет теперь и не восстановишь. Возбужденный хмелем и молодостью, Серго мерцал в полумраке влажными глазами, тянулся к нему всем корпусом через стол, страстно твердя:

— Ведь мы не умрем, Сосо, не умрем, ведь это не для нас, вот увидишь, Сосо, мы не умрем!

И счастливо смеялся, снова отстраняясь в полумрак и мерцая оттуда на него влажными от хмеля и молодости глазами...

Зимняя темь за окном матерела, набирала студеную силу, размножая вдали россыпи городских огней. Взгляд его снова скользнул по белевшей сбоку от него «тассовке», невольно задержался на ней. «ТЬфу ты, чёрт! — Он чуть было не выматерился вслух от охватившей его досады. — Глаза промозолила!»

Он рывком вытянул на себя верхний ящик стола, наотмашь, ребром ладони смахнул туда злополучную бумажку и резким тычком задвинул его на место, а Указ, лежавший перед ним, аккуратно сложил вчетверо, сунул в боковой карман френча.

Поздним вечером его машина почти бесшумно вкатилась в квадратный дворик безликого особняка на площади Восстания. Изнутри особняк был так же безлик, но компактен, привлекая удобным расположением служб и жилья. Изредка бывая здесь, он всякий раз отмечал про себя сходство этого дома с маленькой крепостью: все окна выходят в тесные проезды; вдоль Садового кольца, откуда возможно огневое оцепление, — сплошной кирпичный забор; во дворе, с тыла — глухая, в шесть этажей стена, но главное, что сразу бросилось ему в глаза еще при первом посещении, — это здание Радиокomiteта, торчавшее прямо напротив, через узкий проулок. «Окопался, сукин сын, — по обыкновению опасливо обожгло его, — на воре шапка горит, часа своего выжидает, шакал, у микрофона под боком устроился!»

Емко очерченный сзади светом дверного проема, тот уже сбегал к нему навстречу со ступенек приземистого крыльца:

— Ждет, ждет голубчик отца крестного. — Хозяин бережно подхватил гостя под локоток и бочком, бочком повлек к дому. — Извелся весь в ожидании, поверь, осунулся даже. — Принял у него шинель и, догоняя, продолжал косить в его сторону сбоку веселым глазом из-под пенсне. — Как говорится, готов, только окунуть осталось младенца. Сюда...

Стол был накрыт на троих, сверкал и лоснился хрусталем, никелем, снедью, строго топорщился крахмальной белизной скатерти и салфеток. Проходная, без окон комната тонула в теплом сумраке от низко спущенного над столом абажура с густой бахромой, и поэтому всё в ней, этой комнате: мебель, картины, портьеры на дверях — смотрелось смутно и зыбко, словно сквозь запотевшее стекло.

— Вот он, вот он, крестничек, дрожит, как нашкодивший школьник. — Хозяин ловко обогнул гостя, летучей походкой пересек комнату, отдернул портьеру. — Проходи, Серго, не стесняйся, Сосо приехал, видеть тебя хочет.

На пороге противоположной двери выявилась безликая фигура, сутуло устремилась было к нему, но тут же замерла, согнувшись чуть не в поясном приветствии:

— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович...

— Брось эти величания, Серго, — хозяин уже подталкивал того сзади, посмеивался, мельтешил стеклышками пенсне, — Сосо к тебе как к другу пришел, обнять тебя хочет, а ты со своими официальностями, нехорошо получается. Иди, иди, не бойся, не укусит.

И чем ближе тот подступал к нему, тем неуютнее становилось у него на душе: он вдруг разглядел в этом сутулом старике, который, кстати, был на шесть лет моложе его, свое собственное отображение. И хотя его давно донимала мысль о старости, ему в голову не могло прийти, что дело зашло так далеко и что возраст уже сыграл с ним такую скверную шутку. Ему понадобилось некоторое усилие воображения, чтобы узнать в этой студенистой развалине бойкого парня батумских времен с белозубой улыбкой во весь рот и влажно мерцавшим взглядом. «Нет, видно, никого она не щадит, костлявая, — заключил он мысленно тот давний их разговор в духане, — всех без разбора метет».

Приближаясь к нему, тот словно ступал по тонкому льду: прежде, чем поставить ногу, инстинктивно нащупывал подошвой пол под ногами. Заглаженная до блеска шевиотовая пара сидела на нем, будто с чужого плеча, старомодный галстук поверх ветхой сорочки болтался, как петля, тщательно подстриженные, но редкие волосы почти не скрывали лысеющего черепа:

тусклое подобие человека, небрежный слепок с облика разоренного игрока, пожелтевший негатив их общего прошлого.

— Гамарджоба*, Сосо! — Гость затравленно взглядывался в него, стараясь, видно, по выражению его лица угадать необходимую дистанцию в разговоре. — Здравствуй, дорогой!

— Гагимарджес**, гагимарджес, Серго, — изображая объятие, он завел руку к тому за спину, слегка похлопал по ней, успокаивая, — ну, ну, Серго, ну, ну, будь мужчиной...

Шевиотовый пиджак старика был густо осыпан перхотью, и, брезгливо отстраняясь от того, он вдруг с угрюмым злорадством повторил про себя французскую поговорку о гильотине как лучшем средстве от этой напасти.

Нет, ему было не жалко этого восторженного болтуна, посмеявшегося в трудную для него минуту оказаться в стане его политического противника, но он считал, что всякое правило в состоянии долго продержаться только на исключениях, от которых оно — это правило — приобретает еще большую и последовательную неотвратимость. И пусть радуется тот, кому выпал счастливый билет, тем более, если он выпал бывшему приятелю.

А хозяин уже суетился вокруг стола, вибрировал переполнявшим его озорством, гостеприимно распахивал руки:

— За стол, за стол, гости дорогие, как говорит хорошая русская поговорка, соловья баснями не кормят...

— Наливай, Лаврентий. — Он спешил, торопился быстрее достичь того раскованного состояния, когда слово становится уверенным и легким, а слушатель податливым. — Мне «изазеллы»!

* «Гамарджоба» — грузинское приветствие.

** «Гагимарджес» — ответное приветствие.

Потом, во все протяжении застолья, он исподволь внимательно следил за беспомощно пьянеющим гостем, пытаясь составить из разрозненных, почти неуловимых черт и черточек цельный образ человека, с которым его связывала молодость, но знакомые приметы, едва сцепившись в нечто единое, тут же осыпались, вновь обнажая перед ним приблизительную анатомическую схему, скелет, остов лица, вяло обтянутый старческой кожей.

— Ты помнишь, Серго, — его влекло, подмывало злорадное любопытство, — тот наш духан в Батуми?

В перекрестном внимании двух пар глаз, словно в скрещении света, тот метался заискивающим взглядом от одного к другому, лепетал в хмельной умиленности:

— Конечно, Сосо, конечно, помню, еще бы не помнить, эх молодость, молодость, золотая пора!..

Но в склеротических зрачках гостя, где глубоко затаенный страх лишь слегка расслабился опьянением, он безошибочно читал другое: не помнит, ничего не помнит, но будет заранее поддакивать, чтобы в очередной раз спасти свою шкуру. Боже мой, и эта зачуханная порода человекоподобных особей грозила когда-то перевернуть мир вверх дном и поставить во главе этого бедлама безродного еврея из Херсона.

Ни с того, ни с сего ему снова припомнилось откровенное восхищение в синих глазах Золотарева, он мысленно сравнил гостя с русоголовым туляком, и сравнение вышло не в пользу старого приятеля. «Может быть, попробоваться его раз, — колебнулось было в нем что-то, — глядишь, потянет, за одного битого, говорят, двух небитых дают». Но вслух сказал, отметая сомнения и нисколько не заботясь о логике разговора:

— Проморгал Курилы твой Золотарев, Лаврентий, шкуру с него снять мало. — И добавил после

короткой паузы. — Народу много, а людей нету. Запевай, Лаврентий.

Хозяин послушно прокашлялся и, прикрыв глаза, старательно вывел мягоньким тенорком: «Чемо цици, Нателла...»*. Гости слаженно подхватили вторую строку, и песня на какое-то время соединила их в одном томлении, в одной тоске. Им не было никакого дела до грузинской девочки Нателлы, до ее любви и забот, но в этой девочке они оплакивали сейчас свою собственную судьбу, свое прошлое, настоящее и будущее, призраки своих тщетных надежд, свою малость, бездомность, одиночество. Где ты, где ты, девочка Нателла, желанный призрак, ускользящий горизонт, неутоляемая жажда?

Наступал момент, ради которого, собственно, это и затевалось. Он едва заметно, со значением кивнул хозяину, тот утвердительно сощурился, широко расплываясь в сторону гостя:

— Слушай, Серго, вот Сосо стесняется у тебя спросить, можно, он к тебе в гости поедет? Сосо хочет посмотреть, как ты живешь, с женой твоей познакомиться, будь другом, пригласи?

— Да, да... Я с радостью... И жена будет рада. — Хмель быстро улетучивался из гостя, всё в нем опрокинулось, посерело. — Только, сами знаете, коммунальная квартира, народу полно, одна комната, принять совсем негде...

Но хозяину уже было не до гостя с его жалким лепетом и оправданиями:

— О чем разговор, Серго, мы люди простые, не в княжеских хоробах выросли, нам от народа отрываться не к лицу, сейчас и поедем. — Живо подаваясь к выходу, тот крикнул куда-то за портьеру, в темноту коридора. — Саркисов, машину!

* «Чемо цици, Нателла» — грузинская народная песня.

В просветах между занавесками, перед окном машины расступалась ночная Москва в редких огнях и первой наледи. Он давно привык, даже привязался к этому нескладному городу, где ему, с помощью русских поделщиков, удалось взлелеять и осуществить отмщение заносчивым землякам, не принявшим его когда-то в своей среде, а затем вернуться в Грузию триумфатором. Но и после этого здесь, в Москве, за надежной броней огромных людских масс и пространства, он чувствовал себя намного уверенней и неуязвимей, чем там, на собственной родине. Поэтому он не любил родных мест, заезжал туда редко, походя, неохотно, предпочитая им устойчивую громоздкость вот этих, плывущих ему навстречу улиц.

Москва еще носила на себе следы минувшего лихолетья, на затемненных окнах дотлевали бумажные кресты, от сплошных когда-то деревянных заборов оставались только обгрызанные пеньки опор, номерные фонари отсвечивали синими стеклами, ему трудно было поверить сейчас, что ровно пять лет назад, в эту же пору, обескровленная Москва всерьез готовилась сдать на милость победителя, а он, запершись у себя в кабинете, тоскливо ждал вестей из штаба Волоколамского направления: от них — этих вестей — зависела тогда судьба страны, его собственная судьба. Разве мог он предположить в те ноябрьские дни, что через каких-нибудь четыре года капризная фортуна положит к его ногам почти половину Европы, заставив согнуться перед ним надменные шеи ослабевших союзников!

Примостившись прямо против него на откидном сиденье, Кавтарадзе надсадно дышал, ерзал, прерывисто бормотал в его сторону:

— Конечно, жена обрадуется... Еще бы!.. Только принять негде по-человечески... Коммуналка, повернуться трудно... В тесноте, конечно, не в обиде...

Я не жалуясь, Сосо, живу не хуже других, мне хватает, только гостей принять негде, теснота...

— Брось, Серго, приbedняться, — насмешливо посверкивали сбоку из темноты стеклышки пенсне, — живешь в нашем здоровом коммунальном коллективе, среди народа, так сказать, в самой гуще, радоваться должен, с простыми людьми в постоянном контакте...

Машина, свернув с магистрали, принялась плавно петлять по лабиринту низкорослых переулков и вскоре вкатилась в неглубокий дворовый колодец, застыв у подъезда деревянного флигелька.

— Осторожнее, Сосо, — выбравшись из машины первым, Кавтарадзе протянул ему руку для опоры, — тьма здесь такая, хоть глаз коли, без света еще живем, по-военному...

В ночном безмолвии опытный слух его сразу же выловил шепотную переключку и скользящие шорохи: вокруг дома разворачивалась цепь наружного охранения. Эта озабоченная возня по обыкновению вызвала в нем острое сознание собственной уязвимости, стерегущей его на каждом шагу, напоминая ему в то же время о хрупкости и тщете человеческого существования. «Со всех сторон обкладывают, — мгновенно остервенился он, — как дикого зверя!»

Откуда-то у него из-за спины, под ноги к нему услужливо скользнул веерный луч ручного фонаря, и он грузно двинулся за этим лучом в провальную темень подъезда. В лицо ударило густым букетом застоявшегося жилья, душным запахом обжитой ветхости, смешением затхлой пыли с истлевающими нечистотами. Веерный луч у него под ногами скользил по выщербленной лестнице, полз со ступеньки на ступеньку, метался на поворотах, пока не замер перед порогом обшарпанной двери, тут же взметнувшись к розетке входного звонка.

— Сейчас, сейчас, — Кавтарадзе старался нащупать кнопку звонка, но та, словно одушевленная, вы-

скальзывала у него из-под пальцев, — спят все... Сейчас, откроют...

За дверью долго не откликались, затем хлопнула дверь, слышались шлепающие шаги и женский, явно спросонья голос:

— Кто там?

— Рахиль Григорьевна, простите великодушно, это я — Сергей Иванович, будьте так добры, откройте! — просительно заторопился тот. — У жены температура, ей трудно, наверное, встать, простите пожалуйста. — Но, видно, вспомнив о своих спутниках, вдруг спохватился, повысил тон. — Не копайтесь, Рахиль Григорьевна, быстрее!

В лязге яростно отпираемых запоров послышался откровенный вызов. Дверь распахнулась сразу, одним махом, на весь проем обозначив перед ними выявленную сзади тусклым светом коридорной лампочки женскую фигуру, шарообразные формы которой едва сдерживал лоснящийся от неряшливой носки ночной халат.

— Безобразие! — И без того пышную плоть ее распирало неистовым возмущением. — У вашей жены температура, а голова должна болеть у меня! Заявляйтесь ночью в пьяном виде, поднимаете на ноги весь дом, и у вас еще хватает совести повышать на меня голос, я этого так не оставлю, завтра же... — Тут она испуганно осеклась и, убывая, сжимаясь, высыхая в размерах, стала стекать куда-то вбок, в глубь коридора. — Простите, Сергей Иванович, я не заметила, какой портрет за вами несут...

Устремляясь следом за ней, тот напряженно приговаривал ей вдогонку:

— Спокойнее, Рахиль Григорьевна, спокойнее, идите к себе и закройте на ключ, никакого шума. — Прежде чем скрыться за дверью в глубине коридора, он виновато обернулся к гостям: — Жене скажу, чтобы оделась. Только одну минуту...

Перешагнув через порог, гость даже оробел на мгновение, до того нелепым показался он самому себе в своей маршальской шинели среди этого коммунального царства с висящими по стенам велосипедами и тазами, загроможденного по сторонам бездельным хламом и сундуками. «Живут же люди, — с содроганием представил он себя на их месте, — как в пещерах!»

Сперва чуть слышные, голоса за дверью в глубине коридора постепенно усиливались, росли, напрягались, и, в конце концов, один из них — женский — отчетливо пробился наружу:

— ...Успокойся, Сережа, это бывает, это у тебя от неприятностей, от переживаний, это пройдет, сейчас я встану, поставлю чаю, попей, и ты придешь в себя... Тебе это мерещится... Прошу тебя, Сергей, успокойся!

Заискивающе подмигнув ему, спутник его на цыпочках протанцевал на эти голоса, без стука приоткрыл дверь, просунул в щель голову и сказал громко, но скорее не хозяевам, а туда, за спину, в коридор:

— А кто к вам приехал, принимай дорогого гостя, хозяйюшка! — И уже оборачиваясь к нему. — Заходи, Сосо, здесь все свои.

Стол был оборудован с молниеносной быстротой и максимальной незаметностью: майор Саркисов умел потрафить высокому начальству. В последовавшей после этого беспорядочной и громкой попойке он так толком и не разглядел этой самой жены Серго, которая, беспомощно похлопотав вокруг них, тихонечко ступевалась где-то в углу комнаты, между кроватью и шкафом, до самого конца не подавая оттуда признаков жизни. В памяти у него отложилась лишь ее почти птичья пугливость да смоляная с проседью прядь, свисавшая у нее со лба.

Его почти не брал хмель, и, хотя про него шла молва, что перед застольем им употреблялись особые

специи, он пил со всеми на равных, по-честному, но чаще всего только вино. Опыянение сказывалось в нем лишь некоторой душевной расслабленностью и тягой к грубоватым шуткам. Поэтому, едва почувствовав легкое головокружение, он не упустил случая, чтобы не подзадорить хозяина:

— Слушай, Серго, я же тебя лихим танцором помню, тряхни стариной, изобрази лезгинку!

Тот — уже без пиджака, в расстегнутой, со спущенным галстуком рубашке — пьяно засмутился, виновато заерзал кроличьими глазами по сторонам, но, тем не менее, ослушаться не посмел, поднялся и, выбравшись из-за стола, нетвердо поплыл вокруг них под собственный аккомпанемент. Но даже теперь, спустя много лет, в старческих и неуверенных движениях его заметно проглядывалось присущее почти всем южанам изящество, врожденная музыкальность, законченность жестов и ритма. Старик плыл по кругу, забываясь в танце, и по морщинистому, с набрякшими подглазниками лицу его текли мутные слезы. Чему он сострадал сейчас — этот не по годам дряхлеющий неудачник: своей судьбе, молодости, теперешнему унижению? Бог его знает! «Ладно, — окончательно решил про себя гость, — чёрт с ним, пусть живет!»

Только под утро, когда лица сотрапезников стали смутно расплываться перед ним среди частокола разнокалиберных бутылок, он вдруг вновь вспомнил о цели всей этой затеи и, небрежным жестом вынув из бокового кармана френча сложенную вчетверо бумагу, устало подытожил:

— Спасибо за компанию, Серго, пора по домам. На прощанье у меня к тебе дело: поедешь послом в Румынию? — И заранее отмахиваясь от возможных благодарностей, буднично зевнул. — Карандаш у тебя найдется? — Он безучастно ждал, пока хозяин метался по комнате в поисках карандаша. — Не спеши, дорогой, поспешность, сам знаешь, нужна только при ловле

блех, время терпит. — Получив от хозяина случайный огрызок, намеренно по-мальчишески послунял грифель, размашисто начертал резолюцию и протянул бумагу хозяину. — Отдай Вышинскому на исполнение. — И тотчас повернулся к спутнику. — Поехали, Лаврентий, пора и честь знать...

Он уже ничего не видел и не слышал, почти без усилия выключаясь из окружающего. Лишь оказавшись в машине, он на какое-то мгновение отметил взглядом стоящего у подъезда в одной рубашке со спущенным галстуком хозяина и с вялой механичностью махнул тому ладонью в знак приветствия.

Когда машина, вырвав из лабиринта кривых переулков, зашелестела по магистрали, он внезапно проговорил с сонной ленцой:

— Слушай, Лаврентий, ты этого своего Золотарева все-таки шлепни, стихия стихией, а отвечать кто-то должен.

И облегченно откинулся на спинку сиденья.

Из книги «СОНЕТЫ НА РУБАШКАХ»

ДИАГРАММА ЖИЗНИ

Улыбчивые старцы-мудрецы
Разглядывают диаграмму жизни:
— Поэтом будет... при социализме...
— Судьба печальная, — заметил Лао Цзы.

И вот я родился в своей отчизне...
Была война... Давили подлецы...
На грядке кошка ела огурцы...
Скущица — хоть на лампочке повисни!

Вдруг выигрыш — поездка в Сингапур!
И ту, где жизнь — как сладкий перекур,
Я фреску увидел в китайском храме:

Там на стене, где ивы и дворцы,
Улыбчивые старцы-мудрецы,
Беседея, склонились к диаграмме...

СОНЕТ ВО СНЕ

Приснились мне превратности такие:
Я сочинил сонет. Но удивленно
Он вытянулся полкою вагона
И почему-то стал поездкой в Киев.
Кружилось поле. Дверь гремела ручкой.
Сбиваясь, ямб стучал, скакал по рельсам.

Я полкой был! Колесами! Трясучкой
Томительной! — и вечером апрельским
Я был внутри сонета и снаружи
И я страдал, что это обнаружат —
И снова на Урал, служить солдатом.
Но мой сонет бренчал стаканом чая,
Смотрел в окно, меня не замечая,
И выглядел Анваром Саадатом.

НЕЧТО-НИЧТО

Качается шар. Навстречу шару
Качается шар. Один в один
Влетают шары: один — пара, один, пара,
один-пара...

Из сферы зеркальной за ними следим.
Все отраженье: предмет или дым,
Шар или призрак. Подобно кошмару
Шар вырастает... Но вместо удара
Шар исчезает, поглочен другим.
Несутся, слоятся шары, пропадая
В третьем — в десятом — целая стая,
В лжебесконечность уходят шары,
шары, шары, шары, шары...ша.....*

Стойте! Довольно! Не вынесу пытки!
Маленький шарик, повисший на нитке,
Детский предлог для вселенской игры...

* Строка уходит в бесконечность, ложно понимаемую.

МАЛЕЕВКА

Гнилой кокос плывет в воде, чернея.
Гнилой канал оплавлен фонарем.
Летят из Таиланда и Гвинеи.
А друг мой умер в семьдесят втором.

Хочу уехать в Ялту по весне я,
В апреле мы вещички соберем.
Что из того, что мы с тобой умрем —
Жила бы лишь земля и радость с нею.

Спадает с хвои снег, по ветру вея,
Дорожек сырь. Скамеек темный хром.
Писатель бодр, хотя мозгами хром.

Душа подонка и лицо плебея!
В Нью-Йорке Эдик вылез из сабвея,
И жизнь и смерть он чувствует нутром.

СОNET-СТАТЬЯ

«Большая роль в насыщении рынка товарами принадлежит торговле, она — необычный посредник между производством и покупателями; руково-

дители торговли отвечают за то, чтобы растущие потребности населения удовлетворялись полностью, для этого надо развивать гото-

вые связи, успешно решать проблемы улучшения качества работы, особенно в отношении сферы услуг, проводить курс на укрепление материально-технической базы, активно внедрять достижения техники, прогрессивные формы и методы организации труда на селе».

САПГИР Генрих — родился в 1928 году. Детский поэт. Член СП СССР, живет в Москве. Выпустил более двадцати книжек для детей. Лирика Г. Сапгира, собранная в книги «Голоса», «Псалмы», «Элегии» и «Сонеты на рубашках», никогда не публиковалась.

Россия и действительность

Борис П а р а м о н о в

МАЛЬЧИК ПРОТИВ МУЖА

Бердяев жаловался в автобиографии, что книги его известны во всем мире, кроме России; при этом он ссылался на письмо, полученное от поклонника из Чили, как на особенно горький факт, — по контрасту с молчанием родины.

Слов нет, мы живем в меняющемся мире. Сегодня в России популярность Бердяева — в ряду таких писателей, как Набоков и Солженицын, при том, что он, со всем изяществом и легкостью его стиля, писал философские книги.

Помню, что в 1967 г., когда я поступил в аспирантуру ...ского университета* и первым делом бросился в библиотеку (книги-то на дом можно брать!), Бердяева выдавали по первому требованию. Через 10 лет, в 1977, на его книги была очередь. (Речь идет, конечно, о дореволюционных изданиях, других в советских библиотеках в открытых фондах нет.)

Не знаю уж, каких авторов читали эти десять лет в Чили.

Конечно, ни о каком одностороннем процессе говорить не приходится — возрастающая популярность Бердяева встречает должный отпор. В том же знакомом мне университете фундаментальную библио-

* Я не конспирирую, а просто не знаю, как его назвать: новое название не могу произнести — с души воротит, а старое, согласен, он носить уже не вправе. В общем, имеется в виду тот университет, что на Университетской набережной.

теку отдали в ведение так называемого первого отдела — филиала ГБ, имеющегося в любом учреждении. Читать пока не запрещают, но формуляры просматриваются кем следует, и читатели, таким образом, входят в соответствующую орбиту. Интересно, на каком этапе заводят на них персональное досье в управлении и сколько книг Бердяева нужно для этого прочитать?

Это, однако, пассивная оборона. Известно, что лучший способ обороны — нападение. Так в футболе, так и в идеологической борьбе, которая, как все знают, на современном этапе усилилась. Усилил ее, среди прочих, и Бердяев, умерший в 1948 г.

Раскачались. Выпустили по Бердяеву, говоря ихним языком, «залп».

«Залп» этот называется: В. А. Кувакин. Критика экзистенциализма Бердяева. Изд-во Московского университета, 1976, 208 стр., 65 коп. Бумага плохая. Рисунок обложки сперт из какого-то издания «Посева»: спираль на плоскости, в данном случае долженствующая изображать не спираль (образ развития), а лабиринт (тупик) — обманчивая перспектива, соблазн для малых сих.

Была ли необходимость в этой акции?

С точки зрения самодовлеющего канцелярского механизма — была. В ответ на призыв партии и ее ленинского ЦК — усилить противостояние идеологическим диверсиям — сдвинулись какие-то колеса, проскрипели какие-то пружины, и пропагандистская машина, натужно заскрежетав, выбросила из себя продукт. В ответ на это в ленинском ЦК в соответствующей ведомости поставили галочку. Тут главное — чтоб соблюлась видимость осмысленной, определяемой потребностями дела, бесперебойно идущей работы. На самом деле — автоэротизм. Так у Алексея Александровича Каренина, когда он писал служебную бумагу о башкирских землях, зарозовели щеки.

Но оперативность — слабовата. Ждали десять (или сколько там) лет, а потом еще рукопись в 200 страниц продержали в типографии 9 месяцев. Сколько месяцев (или лет) она лежала в издательстве, выходные данные не указывают, но уж никак не меньше.

Ясно, что происходило в это время: книга проходила цензуру. Это был первый, ответственнейший опыт. «Курировали» ее, надо полагать, весьма высокопоставленные товарищи — может быть, даже из ленинского ЦК.

Одно из указаний было: убрать Бога с большой буквы. Наш автор, конечно, сам не решился на такую вольность, чтоб писать Бога с прописной, но вот его персонаж... Цитат из Бердяева в книге много, везде Бог, и везде с большой буквы! Уверен, что это указание пришло, как всегда, с опозданием, когда книга была уже набрана и сверстана; так и вижу корректурный лист, испещренный понижающими Бога поправками. Пришлось перелить сотни строк, вот и задержка (одна из). Но все-таки не доглядели: на стр. 173 — с большой Бог, с прописной!

Долго ли, коротко, хорошо ли, плохо — но продукт вышел из аппарата. (Эти метафоры у меня — от Орвелла, сказавшего, что в коммунистическом мире книги будут писаться машинами.) Итак, машина сработала — и оправдала свое существование. Что же произошло еще?

А ровным счетом ничего.

Бердяева в книге В. А. Кувакина — нет. Я бы сказал, что в ней нет и самого В. А. Кувакина. Писатель, автор, т. е. прежде всего индивидуальность, человек со своим, пусть корявым, но неповторимым лицом, — отсутствует.

Что же в книге есть?

В ней есть метод.

Метод, само собой разумеется, марксистский.

Уже на стр. 3, в авторской аннотации сообщается, что Бердяев — ведущий представитель русской буржуазно-помещичьей философии начала XX века. Это бред даже с точки зрения марксизма. Наш автор делает трогательные усилия, чтобы как-то свести концы с концами и доказать возможность такого сочетания: чтоб философия была одновременно и буржуазной, и помещичьей, тогда как известно, что в России начала XX века помещики хотели одного, а буржуи — другого, одни были за самодержавие, другие — за конституцию, одни были консерваторы, другие — либералы. А впрочем, кому это в СССР теперь известно? И те, и другие слились неразличимо в понятии «эксплуататорские классы». Поди разбери, кто там либерал, а кто реакционер. Какое имеет значение, что Бердяев ни разу, буквально *ни разу* не сказал доброго слова о буржуазии? Слов же его о том, что сам большевизм — всемирно-реакционное явление, автор, конечно, не приводит.

Требуется доказать, что апостол свободы Бердяев был идеологом эксплуататорских классов.

Однажды Петр Струве сказал: «Когда от меня требуют указать, интересы какого класса выражает философия Фихте, я чувствую, что от этого вопроса глупею». Не знаю, поглупел ли Кувакин, выпустив свою книгу. Но критиковать ведь надо так, чтобы, по контрасту, еще ярче заблистала *наша* истина: критиковать надо *с позиций* — известно каких.

Эти соображения продиктовали самый главный прием.

Приведение к схеме — так назовем его. Нужно противопоставить тому или иному положению Бердяева соответствующее положение марксизма-ленинизма. Идеальным вариантом было бы на каждую цитату из Бердяева дать цитату из Ленина. Это, естественно, не получается, потому что Ленин писал больше не о философии, а о том, как обливать кипятком поли-

цейских*. Поэтому на 122 бердяевских цитаты приходится только 37 марксистских: 27 — Ленина, 8 — Маркса-Энгельса, 1 — Брежнева (ритуальная) и 1 из каких-то дежурных тезисов ЦК. Думаю, что в первоначальных редакциях книги это соотношение было еще больше в пользу Бердяева; выравнивание пропорции было главным содержанием цензорской работы.

Затруднениям автора можно только посочувствовать. Он знал заранее, что без ильичевой оснастки рукопись не пойдет. Первым этапом автоцензуры был такой: Кувакин взял в руки справочный том к сочинениям Ленина и полез в алфавитный указатель, на букву Б. О Бердяеве оказалось мало, очень мало, но пригодились Булгаков и Бернштейн. Пришлось заглянуть также в систематический указатель, ну, например, в рубрики «ревизионизм», «либеральное ренегатство» (возникает впечатление, что последнее слово Ленин писал через «д»). Потом начинается главное: как из этой кучи грязных ругательств да из мимоходом выраженного платонического желания «разнести Бердяева» (ПСС, т. 46, стр. 135) извлечь что-нибудь философское? К тому же, настойчивое желание Ильича подверстать Бердяева к ренегатам либеральной буржуазии мешает очень уж удобной, можно сказать — красивой, трактовке его как выразителя феодальной реакции. Сам Маркс велит пустить его по графе «феодальный социализм» (реликты этой ранней трактовки несколько раз мелькнули в книге). Но что делать, если Ленин тянет в другую сторону! Нужно

* Но иногда случается чудо: так, Ленин, оказывается, писал о любимом учителе Бердяеве Якобе Беме. Немедленно цитировать! Какое уж дело нам до того, что цитата эта — всего-навсего из ленинского безграмотного конспекта «Истории философии» Гегеля (безграмотного потому хотя бы, что во «Введении» к этой книге, названном Лениным архискучным, он не заметил слона: гегелевской формулировки конкретного как всеобщего. В этом же конспекте Аристотель назван сволочью идеалистической).

искать компромисс; поэтому появился термин «буржуазно-помещичья философия», поэтому Бердяев глядит у Кувакина таким кентавром.

Вообще Ильич гадит, сильно гадит советским философам. Не будь его, они писали бы не хуже какого-нибудь Гароди, и, главное, никто бы не смел обвинить их в ревизионизме. Это не значит, конечно, что Ленин плохой, а Маркс хороший; я бы не стал говорить, что чела марксизма касались в юности поцелуи муз, — я бы сказал, что в этом тупике сохраняется эхо философских голосов. О Ленине этого не скажешь. Вот пример из книги Кувакина. В § 5 первой главы «Иррационалистическое учение об истине» он пишет о бердяевских трактовках истины: «Все эти, так не похожие друг на друга определения не столь уж различны, если учесть, что каждое из них предполагает понимание истины не как соответствие знания бытию, объективной реальности, т. е. не как относящуюся к области познания, а как само бытие. Иначе говоря, истина для Бердяева — это подлинное бытие... Таким образом, истина перестала быть гносеологическим вопросом, она распространилась с метода на объект созерцания, превратившись из проблемы гносеологии в онтологическую проблему». О чем тут идет речь? Истина — бытийный акт, нужно не знать истину, а быть в истине. Звучит как будто очень религиозно. На самом деле ничего не стоит увязать это положение с Марксом, с «Тезисами о Фейербахе»: для Маркса ведь тоже истина — не состояние сознания, а состояние бытия; отличие его в этом смысле от Бердяева (конечно, громадное и принципиальное) в том, что он говорит об общественном бытии, а не об экзистирующем субъекте. То же у Гегеля, в его панлогизме: знание и есть (подлинное) бытие; гегелевское тождество бытия и мышления, о котором, безусловно, слышал Кувакин на третьем курсе университета, тоже ведь не гносеологическое только, но онтологическое. Но все

эти связи Кувакин не может обозначить, углубив тем самым свое сочинение, — потому что существует несчастная ленинская теория отражения, трактующая истину именно как «соответствие знания бытию», в традициях так называемого наивного реализма, ничего не имеющего общего ни с Гегелем, ни даже с Марксом. И любую трактовку приходится подгонять под нулевой философский уровень ильичевых лакейских диссертаций.

Или вот еще пример использования ленинского наследия в деле борьбы с идеологическим врагом («умным и талантливym врагом»), милостиво роняет Кувакин, не замечая, что, согласно марксизму, в этой характеристике субъект противоречит предикату: ведь враг поступательного развития человечества не может быть умным и талантливым, потому что у него иллюзорное сознание, а то и просто классовая корысть). Известно — и Кувакину более, чем его кураторам, — что основной мотив философии Бердяева — неприятие объективного мира; раз так, значит он субъективист. Лезем в систематический указатель и под словом «субъективизм» находим целую россыпь цифр, относящихся к субъективной социологии Михайловского. Так в книге Кувакина появляется фраза: «...способ построения им идеала общественного развития и устройства вполне подпадает под известную ленинскую оценку так называемого «субъективного метода» в социологии. «И в самом деле, — говорит В. И. Ленин, анализируя социологию Н. Михайловского, — как это просто! Хорошее «братъ» отовсюду — и дело в шляпе!..»^{*}». Главные слова в этом пассаже — «дело в шляпе». Кувакин делает вид, что забыл, о чем сам же писал на предыдущих страницах: что не кто иной,

^{*} Обратите внимание на тонкий полиграфический прием в ведении идеологической борьбы: Ленин — В. И., а Михайловский — просто Н.

как Бердяев, выпустил целую книгу, посвященную критике субъективной социологии, так что объединять его с Михайловским, чтобы вдвоем подвести их под ленинский разнос, никак уж нельзя, и никак уж не протитательно преподавателю философии нарушать элементарный логический закон.

Но для того чтобы приумножить посмертную славу Ленина как философского прозорливца, заранее знавшего, кто что напишет, и потому давшего образцы соответствующей критики на каждый такой случай, — для этого Бердяеву пришлось выступить в компании не только с либеральным народником Михайловским (Н.), но и с епископом Беркли (Дж.). Надо же философски углубить разговор о субъективизме Бердяева! И вот Кувакин изобретает термин «тотальный субъективный идеализм», причем слово «тотальный» берет в кавычки особо. Соответствующая партия в книге Кувакина из того, что в ней написано, — пожалуй, самое интересное для характеристики — нет, не Бердяева, а марксизма.

Проблема тут вот такая. Ленин говорил, что материализм требует признания объективного мира, существующего до и вне человека. Эта формула неверна, потому что вопрос не в признании чего-то объективно существующим, а в установлении характера этой объективной реальности: она может быть, к примеру, духовной, и тогда мы говорим об объективном идеализме. Бердяев, вспоминая классификацию Дильтея, относил свой тип философствования не к объективному идеализму и, конечно, не к натурализму (материализму, по-советски), а к так называемому идеализму свободы. Это значит, что его не интересует реальность вне человека, какой бы она ни была — материальной или духовной. И Бердяев был склонен сближать первые два типа философствования, усматривал в объективном идеализме натуралистическую тенденцию: стремление объяснить мир по схеме

взаимоотношений человека с природой, с той разницей, что необходимость природы заменена необходимостью разума (ибо разум не только освобождает, но и порабощает: тема, которую блистательно развивал Лев Шестов). Поэтому в философии Бердяева акценты стоят на проблемах этических и аксиологических, а не онтологических; более того, он пришел к отрицанию всякой онтологии, онтологического типа мышления, усмотрев в нем натуралистическую, насилующую человека тенденцию. Для него важно не то, каков мир сам по себе, а каким его делает человеческий выбор, важно, что человек согласен видеть в нем как этически и аксиологически предпочтительное. (Известный тезис экзистенциализма: выбирая себя, человек выбирает мир.) С этим же связана бердяевская концепция творчества: человек не только находится в мире, но и творит его. А объективный статус бытия — этически безразличен, поэтому Бердяев отказывается от построения онтологии и даже Бога выводит за пределы бытия. Центр бытия — не в объектном мире, а в душе каждого человека, поэтому философию Бердяева можно назвать плюралистическим персонализмом.

Что же получится из этой философии, если подойти к ней с позиций диалектического материализма? Не получится ничего: оказывается, что с этих позиций ее нельзя разглядеть, на этом языке она невыразима. Диамат, естественно, не может вместить в себя антионтологической установки, неспособен элиминировать материальный мир и во всех своих рассуждениях исходит именно отсюда; для него закрыта реальность духовного, и он не может поверить в ее этический примат. Таким образом, все философские построения здесь натурализуются, человек утрачивает вольный дух, оседает на землю. Марксист, оставаясь марксистом, не может понять, каким это образом, переноса центр бытия в субъект, мы не утрачиваем реальности объективного бытия, — ему видится в этом

солипсизм, угрожающий самому существованию мира объектов. Всякую ситуацию он онтологизирует, представляя ее в образах материального бытия, в натуралистической символикe. Ленин на 400 страницах своего «Материализма и эмпириокритицизма» так и не мог понять, что такое гносеологический идеализм и чем он отличается от онтологического идеализма. Это очень характерная ошибка марксизма. Тем более ему не понять, что такое идеализм свободы и каким образом он минует онтологическую проблему, — не понять потому, что он не знает реальности свободы, вытесненной из его сознания плотяными реальностями вещного мира. У марксиста-диаматчика на выбор две возможности: или искренне, как Ленин, не понимать, или, понимая, делать вид, что не понимаешь. Вторую возможность осуществляет Кувакин.

Он, например, утверждает, критикуя бердяевский персонализм: «...с самого начала последовательный плюрализм должен исходить из положений объективного идеализма». Почему он это утверждает? Да потому, что мир философии Бердяева с точки зрения онтологически ориентированного мышления диаматчика являет картину самопротиворечивую: если я, субъект, создаю мир, то что же делают остальные автономные, согласно плюралистической посылке, субъекты? Как эти миры накладываются друг на друга? Но это противоречие существует не у Бердяева, а у Кувакина, слепо следующего ленинской трактовке философии Беркли. Ленину субъективный идеализм Беркли мнился солипсизмом, которого, однако, хитрый епископ в последний момент избегал, вводя Бога. Положение Кувакина сложнее, — он не может приписать Бердяеву берклианской концепции мира как Божественной перцепции, ведь сам Бог выведен у Бердяева за пределы бытия, бытие у него — одна из объективаций теоретизирующего разума. Поэтому Кувакин вводит термин «тотальный субъективный идеализм»,

в котором и обнаруживает не существующие у Бердяева противоречия.

И всё это потому, что Кувакин, а в его лице сам диамат, не может видеть, что бердяевский плюрализм — это не онтология, а моральная позиция: миры, создаваемые субъектом или, лучше сказать, выбираемые им, не обладают признаками материального бытия, но ведь только последнее реально для марксиста. То, что мир не создается, а, так сказать, пересоздается в творческом акте человека, что в этом акте создается реальность высшая объективной данности, — этого как раз марксисту и не понять. И критика, исходящая от него, становится бумерангом, поражающим не чуждый и враждебный предмет, а собственную ограниченность. Как эта критика бьет мимо цели и в данном случае, показывает одна умышленная ошибка Кувакина: он пишет, что Бердяев «онтологизирует» свободу. Кажется, это единственный случай, когда кувакинские кавычки пришлись кстати: он явно чувствует, что сказал не то, что бердяевская позиция прямо извращена, но по-другому, оставаясь марксистом, сказать не может: как объяснить, что Бердяев не онтологизирует свободу, а деонтологизирует мир? Таковы издержки натуралистического мышления.

А ведь Кувакин — не член КПСС, не преподаватель марксизма-ленинизма, а человек, читавший Бердяева. В. А. Кувакин — ведь он Бердяева *понимает*. Могу сколько угодно привести примеров правильного изложения той или иной бердяевской позиции. Ограничусь одним, относящимся как раз к тому, о чем сейчас говорилось:

«Возникновение материального мира, лежащего вне субъекта, образование пространства (далекости, чуждости, тесноты и скученности), разрыв и распадение вечности на исчезающие мгновения прошлого, настоящего и будущего и есть не что иное, как *способ* существования человека вне бога. Бытие, утверждает

Бердяев, стало таким не само по себе, а таков способ переживания мира, представляющего теперь внележащим (надо бы сказать: внеположным), объективным и насилующим. Состояния и способы существования человека определяют все остальное. Попросту говоря, как субъект взглянет на мир, таким он и будет, что он пожелает принять за первичное, то и будет первичным. И философия человека получает основное свое содержание от того, что признается первичным».

Здесь автор своими словами описывает то, что называется экзистенциальным выбором. Написав свою книгу, он сделал свой выбор. Он не может этого не понимать.

Фрейд однажды сказал, что критика психоанализа своим характером только подтверждала его истину. Такова же кувакинская — марксистская вообще — критика Бердяева. Они не убедят никого, что философия Бердяева ложна, они только покажут, к чему лежат их собственные сердца, где их сокровище. Отвергая примат несотворенной свободы, они отказываются от свободы и для себя — им легче чувствовать себя объектами в мире объектов.

На стр. 91 Кувакин говорит о некоем бердяевском парадоксе: Бердяев утверждал невыразимость, несообщаемость истины, открываемой в мистическом духовном опыте, что не помешало ему, однако, писать книги и посылить эту истину выражать. По этому поводу наш автор счел себя вправе впасть в иронический тон. Мы можем задать вопрос: а что открылось ему в глубинах и на высотах марксизма, какой истине он сподобился и *что* выразил своей книгой, кроме того, что он — винтик в пропагандистской машине? Не знаю, что он приобрел, написав эту книгу, но потерял он — душу.

Так что же лучше, тов. Кувакин: апофатическое богословие или коммунистическая цензура?

Хоть личность автора до последней степени стерта, все же кое-какие его симпатии и «установки» заметны — отдадим ему в этом должное. Но выражены они не прямо, а в отрицательно-критической форме. На стр. 69 Кувакин пишет: «Кстати (совсем не кстати! — Б. П.), деторождение не вызывает у Бердяева никаких радостных или светлых мыслей, это, как он говорит, 'процесс дробления личности в роде'».

Итак, Кувакину нравится деторождение, вызывает у него радостные и светлые мысли. Надо полагать, что он, как истый диалектик, процесс деторождения предпочитает его результату. (Оттого, наверное, в СССР и рождаемость падает — все диалектиками стали.)

Вообще же роль, исполняемая в жизни Кувакиным, как-то не вяжется с ответственной ролью отца. Мне тут по его поводу приходили в голову евангельские ассоциации, но, пожалуй, это слишком тяжелая пушка для нашего воробья. Лучше вспомнить повесть Тынянова «Малолетный Витушишников».

Будучи ребенком и пробираясь на Рыбацкую улицу, на карусель, малолетний Витушишников сумел по дороге оказать услугу государю императору.

За это ему купили домик, приняли в закрытое военно-учебное заведение и научили играть на барабане.

«Стучите в барабан и не бойтесь», тов. Кувакин, — «вот смысл философии всей».

ПАРАМОНОВ Борис — родился в 1937 году в Ленинграде. Окончил ЛГУ, где потом преподавал историю философии. Кандидат философских наук. В 1974 г., обвиненный в идеализме, уволен из университета, в 1977 году властями принужден был эмигрировать. В настоящее время живет в США.

**Издательство
ПОСЕВ**

Первый самиздатовский православный сборник

НАДЕЖДА

Христианское чтение

Выпуск первый. 1977

С 1821 года и до 1917 выпускались в России журналы под общим названием «Христианское чтение». После 60-летнего перерыва в 1977 году в России нашлись люди, уверенные, что русское сознание нуждается «в слове Божьем для воскресения из мертвых». Они составили и отредактировали «первую часть «Христианского чтения» по примеру некогда существовавших в России изданий, духовно окормляющих ее культуру».

Составитель сборника — Зоя Крахмальникова

В сборнике следующие разделы:

**ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ · ПРЕДАНИЕ · ОТЦЫ ЦЕРКВИ · ЖИЗНЬ
ВО ХРИСТЕ · ПРАВОСЛАВНОЕ ПАСТЫРСТВО · ПРАВОСЛА-
ВНЕ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА · ПИСАТЕЛИ**

*Более 300 стр. · Цена — 24 н.м. (Магазинам, церковным
приходам и другим распространителям — скидка).*

**POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt/Main-80**

Требуйте наш каталог!

Восточноевропейский диалог

Вацлав Белоградски

ЛИТЕРАТУРА КАК КРИТИКА БАНАЛЬНОГО ЗЛА

Банальность

Каждое человеческое действие оценивается другими людьми с двух точек зрения: 1) как соотносящееся с официальными законами, охраняемыми специальным аппаратом; 2) как проявление свободы волеизъявления, то есть внутреннего убеждения человека, который отвечает за свои действия перед самим собой и другими, не заботясь о мнении властей.

В этом смысле в обществе всегда существует напряжение между официально установленным и общественно допустимым. Определенные действия могут считаться общественно допустимыми, хотя их официальной характеристики еще не существует. Напряжение между общественно допустимым и официально установленным собственно и составляет содержание свободной общественной жизни. Органы власти обязаны учитывать изменчивость мнений и взглядов, с тем чтобы устанавливать приблизительное соответствие между тем, что общество считает допустимым, и тем, что официально узаконено. Любое глубокое противоречие между общепринятым и официально законным является революционной ситуацией.

В социологии развитие современного общества определяется как движение внутри разных дихотомий, содержание которых всегда одно и то же: модернизация

— это движение от общественных структур, основанных на личном контакте, на непосредственной коммуникации, на совместном опыте, к формальным структурам, то есть к организации, подчиненной специально обученным функционерам. В любой из социологических моделей это движение от конкретных человеческих отношений с их символикой к отношениям формальным, опосредованным управленческим аппаратом. Проблема со всей очевидностью заключается в следующем: не означает ли модернизация общества последовательного перевода свободы волеизъявления на запасные пути литературных упражнений, в то время как официальная законность, то есть аппарат и его функционеры, становятся единственным мерилom человеческих поступков?

Важным моментом в модернизации общества является понятие «государственные интересы». В европейской истории эта стадия означает, что человеческие действия начинают оцениваться с точки зрения их функциональности в рамках государственной экспансии, в рамках укрепления мощи государства. Распространение подобного мерила приводит к крайнему упрощению (банализации) внутреннего мира человека и в определенных отношениях делает его созданием опасным. Опасность, которую являет собой банальный человек, то есть человек, себя и других оценивающий с точки зрения государственных интересов и официальных структур, может быть описана при помощи «модели злодеяния», совершенно отличной от древних понятий искушения или «возврата к первобытным инстинктам». Понятие «банальность» является теоретической моделью в анализе зла, которое прежде всего официально. В современной истории нас в первую очередь останавливает не сама ее жестокость, но скорее тот факт, что эта жестокость узаконена. Достаточно, чтобы определенные действия не нарушали некоторых границ законности, например, диктовались бы госу-

дарственными интересами, — и они больше не возмущают, они принимаются обществом.

В своем труде «Мировая революция» Т. Г. Масарик рассматривал генезис той культурно-политической структуры, в которой государственные интересы, государственный аппарат и его власть становились средоточием всего мышления в Германии. Для него современная история — это в значительной степени воплощение прусского государственного мифа, то есть немецкой метафизики от Канта до Маркса и Ницше. В собственно немецкой культуре Масарик видит антигосударственный импульс — музыку Бетховена, которая является «гимном человечности». Мировую войну он рассматривает как всемирно-исторический спор между «бетховенской» демократической человечностью и метафизическим титанизмом пруссачества. Эта мысль теперь снова стала актуальной, особенно в работах французских «новых философов». Духовный титанизм, который лежит в основе мира субъективно-произвола, конструируемого немецкими идеалистами, Масарик определял следующим образом: «Этот метафизический титанизм привел немецких субъективистов к моральному одиночеству... Гегель, Фейербах ищут убежища в государственной полиции и в материализме, которым недоступны метафизические вымыслы; подчиняются прусским солдафонам... Немецкие университеты сделались духовной казармой философского абсолютизма, вершиной которого была идея прусского государства, Гегелем обожещаемого; под именем диалектики Гегель подарил прусскому государственному абсолютизму новый вид макиавеллизма, основанного на непризнании принципа контрадикции. Право опирается на власть и насилие... Как прусское государство и пруссачество вообще, так и немецкая философия, немецкий идеализм — это нечто абсолютистское, насильственное, ложное, заменяющее величие свободной объединяющей человечности колоссаль-

ным и в своем роде величественным строительством Вавилонской башни».

В этой перспективе социалистический государственный миф вырисовывается воплощенной формой пруссачества, его новым претворением. Все так называемые отклонения и искажения «социалистической законности» выявляются как необходимое следствие внутренней зависимости социалистического мифа от немецкой метафизики.

Банальность и крайнее упрощение внутренней жизни человека и его общественного поведения проявляются в том, что существование некоторого бюрократического аппарата, управляющего тем или иным звеном общества, означает *eo ipso*, что действия его функционеров безоговорочно принимаются обществом. Всё, что угодно, может считаться законным и общепринятым, потому что исчезло напряжение между двумя полюсами суждений относительно человеческих поступков.

Понятие «банальность» было использовано немецкой исследовательницей Арендт, эмигрировавшей в Америку и занимающейся проблемами политики. Ей понадобилось это понятие, чтобы описать особый вид зла, представленного в лице Эйхмана на иерусалимском процессе. Под банальностью Арендт понимает организованное отчуждение человеческих поступков от их личностного значения, от их жизненного содержания, то есть от их субъективной оценки. Благодаря такому отчуждению, человек становится невосприимчив к значениям, возникающим при конкретном общении с другим человеком или в результате конфликта с ним, ибо конкретное общение — это одновременно конфликт с альтернативной точкой зрения, носителем которой является другой человек.

«Эйхман — не Яго и не Макбет, и ничего не было ему менее присуще, чем злоба ради холодной целеустремленности, — в отличие от Ричарда III... У него

не было оснований быть жестоким... И определенно он не стал бы убивать своего начальника, чтобы занять его место. Короче говоря, он так и не понял, чем, собственно, занимался. Не был он и дураком, просто у него не было никаких идей... И именно тот факт, что у него не было никаких идей, предопределил его судьбу — стать одним из величайших преступников своего времени. Отстраненность от действительности и безыдейность могут быть гораздо опаснее, чем все присущие человеку звериные инстинкты».

Преступление, которое совершил Эйхман, имеет две основные характеристики: 1) оно — результат абсолютной неавтономности его отношений к другим людям, результат подавления какой бы то ни было субъективной реакции на собственные поступки, результат абсолютной невосприимчивости к мнению другого человека как носителя альтернативной точки зрения; 2) его главным оружием был язык, совершенно обесцвечивающий смысл того, что он делал, другими словами — язык объективного администрирования, не содержащий даже намека на жестокость, которую он предписывал в приказах и о которой информировал в отчетах.

Во время процесса Эйхман сказал, что бюрократический язык — это единственный язык, которым он владеет. Арендт в связи с этим замечает, что его неспособность пользоваться каким-то языком, кроме бюрократического, вытекает из неспособности мыслить, то есть «думать, исходя из позиции другого человека». С ним невозможно было говорить, потому что существование других людей, мнений и вообще действительность как таковая его не касались. Административная объективность языка, то есть умение рассуждать о концентрационных лагерях в экономических терминах, была типична для СС, и Эйхман своим знанием этого языка особенно гордился.

Итак, если думать — значит допускать влияние противоположной точки зрения и если только такое воздействие возвращает к реальности, то Эйхман способностью мышления не обладал. В этом не было индивидуальной неспособности или порока — не-думанье культивировалось и было неременной частью его полномочий и обязанностей. Думать значило бы то же, что «быть субъективным» и, таким образом, выйти за пределы объективного административного языка. Действия, связанные с подобной объективностью, обыкновенно определяются «интересами государства», то есть стоят над простым человеческим разумением, «некомпетентным» и использующим понятия любви и ненависти.

Решающим фактором современности Арендт считает трансформацию понятия «искушение». Быть искушаемым теперь означает подвергнуться искушению добра, поддаться субъективности, любви или ненависти, уйти из-под власти административного языка. Так, например, солдат, который в своем дневнике пишет, что чувствовал сострадание к истязаемому, но преодолел искушение прекратить истязание, показывает, что такое искушение в современном смысле слова.

Сходным образом понимает банальность Солженицын, для которого банальное зло — это всегда зло идеологическое. Идеология представляется ему системой символов, которая изымает человеческий опыт добра и зла из отношения одного индивида к другому и, следовательно, позволяет считать допустимым любой поступок, поскольку в условном языке для него есть объяснение.

«Чтобы делать зло, человек должен прежде осознать его как добро или как осмысленное закономерное действие. Такова, к счастью, природа человека, что он должен искать оправдание своим действиям.

У Макбета слабы были оправдания — и загрызла его совесть. Да и Яго — ягненок. Десятком трупов

обрывалась фантазия и душевные силы шекспировских злодеев. Потому что у них не было и д е о л о г и и.

Идеология! — это дает искомое оправдание злодейству и нужную долгую твердость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему перед собой и другими обелять свои поступки, и слышать не укоры, не проклятья, а хвалы и почет. Так инквизиторы укрепляли себя христианством, завоеватели — возвеличением родины, колонизаторы — цивилизацией, нацисты — расой, якобинцы (ранние и поздние) — равенством...

...Вот та черта, которую не переступить шекспировскому злодею, но злодей с идеологией переходит ее — и глаза его остаются ясны».

Не случайно Арендт и Солженицын ссылаются на Шекспира. Его герои действуют в напряжении реальной человеческой ситуации, ощущают гнет чужой воли, ненавидят, боятся, завидуют, убивают. Жестокость поступков здесь не банальна, потому что тот, кто их совершает, еще доступен голосу совести. Мы можем понять их, потому что всем нам знакома ненависть или зависть и внятен смысл преступления, совершенного в интересах любви или ненависти. Бубер сказал об Эйхмане: «Я не испытываю сочувствия к нему, потому что могу сочувствовать только тем, чьим поступкам я нахожу место в собственном сердце». Именно в этом смысле мы можем понять шекспировских героев. Идеологическое зло находится за пределами такого понимания. Оно банально, потому что в человеческом смысле недействительно.

Смысл моих рассуждений о банальности сводится к попытке теоретически определить понятие «общественная критика». Что значит быть писателем, то есть писателем, работающим в обществе, которое прежде всего защищает свою банальность и хочет запретить своим членам размышлять о реальном содержании их собственных поступков? Быть писателем в таком об-

ществе — это бунт, это конфликт. Ибо здесь в законном обращении лишь язык выхолощенных понятий. Слово, не признающее власти выхолощенного языка, — это факт литературного творчества.

Необходимо, однако, построить модель системы, которая управляет посредством банальности, такой системы, для которой банальность является необходимой предпосылкой самого ее существования. Эту систему я называю «харизматической бюрократией» и утверждаю, что она имеет специфические отличия от бюрократии рационально-правовой. Поэтому ошибочно утверждение, что социализм в социалистических странах «обюрократился». Бюрократия, которая там существует, имеет специфические отличия от бюрократии в классическом веберовском значении слова.

Банальность и власть

Банальность — это рассадник определенного сорта учреждений. Чтобы понять их структуру и внутреннюю логику, я хочу проделать сравнительный анализ бюрократии рационально-правовой, функционирующей в не-тоталитарном обществе, и бюрократии харизматической, являющейся инструментом того, что Арендт назвала банальным злом.

В теоретической модели, которой я пользуюсь в настоящей работе, «анализом на уровне учреждений» я называю любое описание способа, которым некоторая группа людей организована так, чтобы в ее действиях учитывались следующие пять моментов:

- 1) общий язык, или способность описывать внешнюю ситуацию в терминах особого внутреннего кода;
- 2) аккумуляция общественного влияния, или способность учреждения реагировать на контроль, постоянно осуществляемый в виде давления общества, в котором действует учреждение, и вынуждающий учреждение сообразовываться с общими интересами;

3) власть, или способность определенных членов учреждения руководить поведением других его членов;

4) внутренняя иерархия, или способность установить критерии неравенства внутри учреждения, принятые и уважаемые большинством его членов;

5) отбор, или способность поддерживать равновесие между должностью и компетентностью занимающего ее лица, следовательно — способность поддерживать определенный уровень рациональности учреждения созданием барьеров, препятствующих как приему новых лиц, так и передвижению по должностной лестнице внутри учреждения.

Приведенная ниже схема показывает различие рационально-правовой и харизматической бюрократии в отношении всех пяти моментов.

Бюрократия рационально-правовая		Бюрократия харизматическая
Доказательная аргументация на основе обязательного нормативного текста	язык	Игнорирование действительности
Цитирование нормативного текста	аккумуляция общественного влияния	Идентификация с учреждением
Ограниченная компетенция	власть	Комиссар
Формальные параметры	внутренняя иерархия	Политическая преданность
Конкурс	отбор	Номенклатура

В нашей схеме язык рационально-правовой бюрократии определяется тем, что любое в его рамках составленное предложение или бюрократическое предписание должно исходить из нормативного текста, в котором сама бюрократия ничего изменить не может. Бюрократическое решение каждого частного вопроса состоит в том, что профессиональный чиновник формулирует его в соответствии с кодом и определяет, как соотносится данный частный случай с нормативным текстом. Последующие действия являются простым следствием установленного отношения.

Общество, внутри которого действует рационально-правовая бюрократия, может влиять на нее, цитируя нормативный текст или доказав, как данный конкретный случай выводится из этого текста; все члены общества, знающие основной текст, имеют или могут иметь влияние на бюрократию. Знание текста — это власть над бюрократией. В обществе существуют специалисты по осуществлению этой власти — правоведы.

Власть чиновников ограничивается формальными правилами, которые, к тому же, уполномачивают определенное должностное лицо руководить поведением других чиновников того же ведомства. Эта власть лимитирована рамками данного ведомства и очевидна в том смысле, что ее содержание и объем четко определены и находятся в зависимости от установленных норм и критериев.

Внутренняя иерархия рационально-правовой бюрократии основана на общей классификации членов (условия продвижения) как исполнителей определенных функций, которые соответствуют известным требованиям; продвижение по служебной лестнице регулируется формальными критериями, как, например, служебный опыт. Личная инициатива, таким образом, ограничена.

Отбор происходит путем конкурсов, в которых может принять участие всякий, кто отвечает определенным формальным требованиям (возраст, образование, государственная принадлежность и т. п.).

Термин «бюрократизация» означает развитие всех или большинства учреждений определенного общества в направлении приведенной модели. Но преимущественно этим термином обозначается подчинение производительных организаций государственным органам власти взамен рыночной зависимости.

Однако бюрократия, управляющая в социалистических странах, не имеет характеристик, приведенных в нашей модели. Нет никакого смысла в утверждении, что советский социализм — это социализм бюрократический; более того, бюрократизация советского социализма была бы революционным актом, поскольку это означает ограничение произвола власти.

Бюрократия коммунистического или фашистского типа имеет совершенно иные признаки, нежели бюрократия рационально-правовая. Я называю ее «харизматической», чтобы избежать таких понятий, как фашизм, правые-левые, тоталитаризм и т. п., ибо они давно утратили свой смысл.

Язык харизматической бюрократии — это система игнорирования действительности. Иначе говоря, всякая попытка установить реальное соотношение между языком и действительностью объявляется «фальсификацией» или «субъективизмом». Достаточно вспомнить еще совсем недавно бывшую в ходу присказку — «не занимайтесь демагогией, товарищ!» Эта формула клеймила любой анализ положения, исходящий из конкретного опыта. Демагогией было, конечно, и любое литературное произведение. Языку игнорирования действительности известны три типа носителей:

1) прозелит, или тот, кто идентифицирует себя с учреждением и признает его единственной реальностью;

2) пропагандист, или тот, кто профессионально занимается разработкой последовательно-связного языка, в котором должно отсутствовать опытно проверяемое отношение к действительности; тот, кто озабочен единством языка и выработкой иммунитета к колебаниям и сомнениям. Пропагандист занят также сочинением аргументации, пригодной для разных типов слушателей, и т. д.;

3) враг, или тот, кто не признает новую действительность, отвергает ее, призывает проверить соответствие языка опыту и здравому смыслу.

В соответствии с тремя типами носителей в языке существуют три типа высказываний:

1) лозунг (жаргон), или словесная декларация, выражающая отождествление себя с учреждением;

2) учебник (пропись), или сборник авторитетных высказываний, а также сводов аргументации;

3) апология, или ритуальное обращение к врагу, с превознесением собственных достоинств.

Такова внутренняя структура всех банальных коммуникаций. В этих условиях не только открыто оппозиционная литература, но и любое литературное выступление звучит провокацией.

Ссылки на нормативный текст не могут быть способом воздействия на харизматическую бюрократию, этот способ состоит исключительно в доказательстве личного тождества с учреждением. В митингах, субботниках и демонстрациях ничего иррационального нет. Они — необходимое условие успеха в контактах с бюрократией, которая признает права только за теми, кто к ней принадлежит. Быть ее частью — вот единственная возможность быть услышанным бюрократией. Игнорирующий действительность язык не допускает никакого контроля над правом бюрократии действовать тем или иным способом, ибо трансформации доктрины в соотносящийся с ней нормативный текст, в соответствии с которым можно интерпрети-

ровать частный случай, то есть пользоваться терминологией формального права, не произошло. Ссылки на Маркса и Ленина — это просто ритуальное действие в обычном смысле, здесь нет никакой формально-логической обусловленности.

Власть харизматической бюрократии оправдывается особыми историческими условиями и постоянной ссылкой на чрезвычайные обстоятельства; эти особые условия и чрезвычайные обстоятельства оправдывают непрекращающееся насилие. Идея чрезвычайных обстоятельств стала перманентной характеристикой правления харизматической бюрократии. Все препятствия должны быть преодолены любой ценой. Бесконечная мобилизация сил для преодоления «чрезвычайной ситуации», бесконечная демонстрация готовности победить особые обстоятельства накладывают типический отпечаток на жизнь общества, управляемого харизматической бюрократией; это некая всепроникающая экзальтация, парализующая индивидуальное мышление граждан и всё завлакивающая какой-то потусторонней патетикой. Тем самым руки у бюрократии развязаны, никакой нормы нет, и важно одно — «оправдать доверие народа».

Реально же это значит, что харизматическая бюрократия действует в соответствии с обстоятельствами, а не в соответствии с законом, даже если этот закон ею же и установлен. Отсюда классовое правосознание, то есть — «по обстоятельствам». Носитель не ограниченной законом власти — это политический комиссар. Он действует исходя из обстоятельств и может обойти любой закон, если обстоятельства этого требуют и если таким способом возможно ускорить торжество дела, которому он служит.

Фигуру комиссара выдвинула Французская революция в качестве орудия подавления народного сопротивления и для революционизации социальных

образований на местах. Власть харизматической бюрократии — всегда власть комиссаров.

Внутренняя иерархия харизматической бюрократии основана на учете политической активности, то есть на степени участия члена в проведении и защите ее внутренних интересов — на преданности. Следствие этого — постоянное несоответствие между интересами дела и партийными интересами, что часто ведет к открытым конфликтам, как, например, во время китайской культурной революции.

Система отбора тоже имеет некоторые особые черты. Не развиваясь в сторону универсализма и формализма, как в бюрократии рационально-правовой, она скорее индивидуализируется, то есть беззаветную преданность предпочитает профессиональным качествам.

Бюрократия считает себя высшей формой рационального, новым воплощением исторического разума, и поэтому никакому профессионализму, или внепартийному мышлению, просто нет места; если же таковой обнаруживается, то его появление следует считать чем-то случайным и небезопасным. Профессионализм или вообще интеллектуальная зрелость — не личное достижение, а результат того, что индивид стал частью бюрократической иерархии; бюрократия — это и есть носитель разума. Понятие «партийность», например, очень точно характеризует именно этот пункт. Быть партийным — значит быть умным, потому что партия — это историческая форма разума. Если принять в качестве основного тезиса, что партийность является исторической формой разума, то вполне логично считать отвращение к партии симптомом сумасшествия, которое подлежит психиатрическому лечению.

Неформальность критериев отбора ведет к тому, что харизматическая бюрократия стремится выработать общую технологию воспитания в специальных

учебных заведениях, где принцип партийности проводится как основное содержание социализации детей и молодежи. Бюрократия обнаруживает тенденцию не отбирать своих членов из всего населения страны, а воспитывать их в специальных учреждениях. Таким образом, бюрократия отрывается от общества и возникает феномен «номенклатуры». Различие между номенклатурой и элитой состоит в том, что возникновение элиты — это результат конкуренции и отбора, в процессе которых были обнаружены определенные способности, тогда как номенклатура — это элита без заслуг, которая возникает не в результате конкуренции, а формируется внутри себя самой, не нуждаясь в выявлении каких бы то ни было личных достоинств.

Анализ общества, управляемого харизматической бюрократией, обнаруживает следующие особенности его жизни:

1) крайняя стесненность внепартийного мышления и невозможность обмена идеями;

2) промахи в руководстве и любые недостатки оцениваются с точки зрения партийности, политически;

3) бюрократия стремится прибрать к рукам любую инициативу и монополизировать право на всякую общественную активность;

4) представители бюрократии разбросаны по всем общественным организациям для осуществления партийного контроля;

5) любая апелляция к законности парализуется постоянными ссылками на исключительные в историческом смысле обстоятельства.

В начале статьи было сказано, что основой жизни современного общества является постоянное диалектическое взаимодействие между свободой волеизъявления и официальной законностью. Свобода волеизъявления без соблюдения законности ведет к произволу

так же, как законность без свободы волеизъявления. Только постоянное взаимопроникновение этих двух факторов реально обеспечивает такой общественный строй, при котором индивид действительно может предвидеть реакцию на свои действия со стороны общества и действовать, опираясь на знание закона.

Харизматическая бюрократия уничтожает диалектическую связь между свободой волеизъявления и официальной законностью, тем самым создавая новую форму общественного устройства. Ее непереносимое и основное качество — банальность: отчуждение человеческих поступков от их реального содержания, невосприимчивость к значениям, возникающим при конкретном общении с другим человеком или в результате конфликта с ним, ибо конкретное общение — это одновременно конфликт с альтернативной точкой зрения, носителем которой является другой человек.

Литература и банальность

В перспективе приведенных теоретических размышлений литературная жизнь Чехословакии начала 60-х годов приобретает значение «борьбы за язык». Нужно было вернуть языку способность выражать небанальные суждения. Небанальные суждения продолжали иметь хождение вне официальной жизни общества, значит, надо было эту подпольную речь и подпольную жизнь сделать содержанием языка. Необыкновенный успех Б. Грабала объясним прежде всего с точки зрения борьбы за язык, борьбы с банальностью. Необыденный анализ обыденной жизни в фильмах М. Формана, комические истории М. Кундеры, десятки крошечных театриков, которые по примеру театра Семфор возникали в Праге и во всех больших городах, — всё это сравнительно быстро уничтожило влияние банального официального языка; путь к обновлению

общественной жизни был открыт, потому что действительность вновь обрела язык.

Трудно переоценить роль, которую сыграл в этом процессе мудрый юмор Я. Вериха. Его глубокие и меткие суждения о действительности сделались настоящим оружием против банального языка. Его определение разницы между реализмом и социалистическим реализмом (реалист изображает, что видит, социалистический реалист — что слышит) было едва ли не более значительным, чем любое официальное определение соцреализма. Необыкновенно важна по этим же причинам и пьеса В. Гавела «Праздник под открытым небом». Мне довелось убедиться в недоступности его юмора итальянской, например, публике, ибо у нее нет столь обширного опыта банальности языка, хотя и здесь она существует.

Писатели — это единственная социальная группа, которая при социализме может существовать исключительно в качестве субъекта сопротивления. Быть писателем — значит выражаться не банально, а это и есть бунт. Здесь же лежит основное различие между революцией и бунтом вообще.

Содержание революции — экспансия государственной власти; в современном мире не было ни одной революции (кроме американских), которая была бы не экспансией государства и бюрократии, а чем-то иным. Таким образом, с определенной точки зрения революцию можно рассматривать как способ существования современного государства. В условиях прочного общества, где социальная жизнь имеет опору в традиционном плюрализме, революционный рост государства контролируется обществом (хотя и в явно уменьшающейся степени). Бунт — это способ существования человека в момент революции, в тот момент, когда экспансия государственных интересов взваливает на человека нечеловеческие в прямом смысле задачи.

В то время как адепт революции подавляет в себе

чувства, субъективизм, бунтарь ведет себя противоположным образом. Он отвергает поставленную перед ним цель во имя конкретной человечности, просто потому, что испытывает совершенно субъективное сочувствие к другому человеку, как к себе самому.

Исторически бунт обыкновенно оканчивается неудачей и таким запечатлевается в человеческой памяти; история полна победоносных революций и — обреченных бунтов. Но человечество хранит память о героях-мятежниках, потому что их жизнь — это напоминание о небанальной действительности, сопротивление экспансии банального зла. В русле подобного рассуждения чешская литература 60-х годов была бунтом против банального языка, за которым пряталось банальное зло. Исторический провал политической акции, частью которой в конце концов стала и литература, не уменьшает ее значения.

Бунтари никогда не одерживают победы, но оставляют след в человеческой памяти, а это дает обществу иммунитет к банальности, к банальному злу — тем, что сохраняет язык.

Чешская литература 60-х годов была глубоко не политической, и если она стала объектом политического преследования, то лишь потому, что существуют учреждения, которые могут управлять только при помощи банальности. Любая брешь в банальном языке необходимо вела к возрождению свободной общественной жизни, а это — конец власти банальности.

Распространение банальности — всеобщая проблема современного мира. В этом смысле чешская литература — как, пожалуй, наиболее радикально антибанальная — становится литературой мировой.

Сформулированные в настоящей работе категории позволяют провести принципиальную границу между всеми формами революционности и гуманизмом. Часто разницу между прогрессом и консерватизмом определяют исключительно количественно: и прогрессист,

и консерватор движутся в одном направлении, один быстро, другой медленно, с оглядкой. Нужно, однако, двигаться к единой цели побыстрее. Гуманизм отвергает революцию потому, что это экспансия «интересов государства», то есть банальности, выхолащивание конкретных форм человеческого общежития. Поэтому гуманизму чуждо принципиальное доктринерство. Сущность гуманизма состоит в устранении из языка и общественных учреждений всего, что извращает смысл связей между людьми и знания о другом человеке как носителя иных альтернатив.

И можно сказать, заканчивая рассуждение, что чешская литература 60-х годов возрождала традицию гуманизма в историческом самосознании народа.

БЕЛОГРАДСКИ Вацлав — родился в 1944 году, в Праге. Окончил философский факультет Карлова университета. В настоящее время профессор социологии университета в Генуе (Италия). Автор ряда социологических исследований.

НАЦИЯ — РЕЛИГИЯ — МИССИЯ — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Публикуемую ниже статью, написанную по-русски, получил из Польши ежеквартальный журнал «Анекс», одним из редакторов которого я являюсь, — с просьбой передать в «Континент». Статья обращена к русскому читателю и полемически развивает некоторые концепции национальной проблематики, воспринятые по статьям сборника «Из-под глыб».

Независимая мысль, которая приходит из стран нашего общего лагеря, обычно встречается с двойственной реакцией. Одни восхваляют ее и тем ограничиваются, считая чудом сам факт, что люди «там» тоже думают. Другие громко или исподтишка издеваются, предают анафеме и тоже на этом останавливаются, не понимая, сколь тесно эта мысль связана с нашим повседневным многолетним опытом, который может оказаться опытом других. Самая редкая реакция — достойная, полная уважения, деловая полемика, позволяющая обогатить эту независимую мысль.

Статья Польского Анонима (так он сам ее подписал) несомненно принадлежит к этой категории. Искренне и без уверток он формулирует возражения, которые могут возникнуть у польского читателя «Из-под глыб». Поставленные автором вопросы: что такое нация, какова ее специфика по сравнению с сообществом, объединенным одной верой, в каком смысле можно говорить о национальном предназначении, как должна обращаться нация к своему прошлому — постоянно возвращаются и в русских, и в польских дискуссиях. В этом ничего удивительного: советизация угрожает национальному самосохранению наших народов, и эта угроза заставляет неустанно возвращаться всё к тем же элементарным вопросам.

Пусть же эта статья послужит нашим общим размышлениям, чтобы возрождение наших народов не углубляло пропасти, что вырыта давней и наиновойшей историей, а наоборот, перебрасывало через нее мосты.

Александр СМОЛЯР

Эти заметки относятся к некоторым взглядам соавторов сборника «Из-под глыб». Тема нации занимает в нем, по сути дела, первое место: из 276 страниц книги ей посвящены 101; из 7 авторов — 4 посвятили этой теме отдельные статьи, подчеркивая, что считают ее одной из самых насущных. Я вполне согласен с этим утверждением.

Разговор, который я тут предлагаю, труден, и не потому, что трудна его тема. Она в самом деле трудна, но когда я говорю о трудности разговора, то я имею в виду другое.

Он труден, во-первых, потому, что труден всякий серьезный разговор между поляками и русскими. Так говоря, я никого не собираюсь винить, я просто констатирую факт. Все утверждения, исходящие из принципа, что русско-польская «междуусобица» есть только дело правящих классов и что так называемый обыкновенный русский или обыкновенный поляк (не говоря уже о диссидентах) во всем согласны, — я считаю опасной наивностью. Наоборот: если мы хотим, чтоб в будущем поляки и русские, живя в одной и той же части Европы, не принуждаемые, относились друг к другу по-человечески, то надо себе сказать, что эта цель не только достойна усилий, но и требует многих усилий. Я приведу один пример; он, как говорят англичане, *sophisticated*, но зато относится непосредственно к тому, о чем я намереваюсь писать. Для не отравленного советской идеологией русского интеллигента Достоевский, «натуральным образом», не только великий писатель, но и несомненный авторитет по вопросу, «что такое нация». Для польского интеллигента Достоевский, «натуральным образом», хотя и великий писатель, но авторитет по вопросу «что такое нация?» весьма сомнительный. Так вот, давайте отбросим польское и русское «натуральным образом» и поговорим о Достоевском-мыслителе и его взглядах на нацию как таковую и на русских, поляков, евреев. Думаете, легко и безобидно будет?

Как будто бы этой первой трудности было мало, есть у нашего разговора еще две другие. Это наша общая тоталитарная наследственность (мы все, или почти все, зачумленные), а ведь тоталитарный строй учит презирать и уничтожать каждого, кто с «нами» не согласен, т. е. отучивает вести серьезные споры, уничтожает в корне всякую культуру дискуссии. И нам всем надо ей учиться с азав. Наконец, вопрос личный. Дело в том, что мои заметки относятся к текстам верующих православных, а я, во-первых, неверующий, а во-вторых, будь я верующим, всё равно не был бы православным. Так что я «дважды чужой». Не знаю, как в современной

русской культуре, но мы, в нашей польской (так говоря, я, конечно, не имею в виду социалистическую культуру насилия, лжи, ненависти), стараемся наладить настоящий диалог между верующими и неверующими. Иногда это нам удается, иногда нет. В данном случае надеюсь, конечно, на удачу.

И еще одно. Не знаю, ни когда, ни каким образом эти заметки попадут в редакцию «Континента», но ежели она их получит и решит печатать, то усердно прошу не исправлять неизбежных «полонизмов»*. Это голос из Польши (один из многих возможных), и я не хочу притворяться русским литератором; я, впрочем, вообще не хочу корчить из себя литератора — их и без меня хватит, только им леса руби на бумагу.

Так вот три заметки польского читателя сборника «Из-под глыб» по вопросам нации.

Заметка первая

О НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ СВЯЗЯХ

Разговор о нации можно поместить в таком «дискуссионном пространстве», у которого два полюса: утверждение, что нации есть порождение капиталистического рынка, и утверждение, что существование наций есть результат Божьего промысла и что вследствие этого есть в нации частица Божьей тайны, непостижимая уму и невыразимая на языке.

Мне кажется, что по разным причинам в обоих случаях дискуссия невозможна. Утверждение первое — явным образом ложное, глупое, противоречит элементарному историческому знанию. Утверждение второе делает дискуссию невозможной, ибо о том, что невыразимо на словах, говорить довольно трудно. Но сторонникам другого из намеченных здесь взглядов (а к ним из соавторов «Из-под глыб» принадлежит, наверно, Борисов и, как мне кажется, Солженицын и Шафаревич) я хочу предложить иную постановку вопроса, которая, надеюсь, совместима с их религиозным мировоззрением и мироощущением, а во всяком случае — не направлена против него.

* Полонизмы исправлены только в тех случаях, где они существенно мешали бы пониманию авторской мысли. Кроме того, статья немного сокращена (но не за счет полемических моментов). — Прим. ред.

Предположим — а это предположение вовсе не новое, — что коллективы, в которых живут люди, делятся на такие, в которых соучастники принимают свою принадлежность как «естественную», и такие, принадлежность к которым есть непосредственное или посредственное следствие выбора. Мы можем их назвать «первичными» и «вторичными», или «Gemeinschaft» и «Gesellschaft», с тем только условием, чтобы не приписывать этим терминам буквально того же смысла, который им придавали Cooley или Toennies.

Первичные группы, как правило, сравнительно небольшие: семья, село, племя, со значительными оговорками — группа сверстников. Можно сказать — но это только наполовину серьезно, — что как в Gemeinschaft, так и в Gesellschaft отношения пространственные обратно пропорциональны временным, т. е. что у первичной группы история переживается членами группы как очень длинная, но пространство она занимает сравнительно небольшое. У вторичных групп дело происходит наоборот — их история, как правило, короткая.

От этой схемы мы знаем в Европе два существенных исключения: религиозные объединения и нации. Это исключения, ибо пространственно-временные отношения как в рамках данного вероисповедания, так и в рамках нации переживаются членами группы по другому образцу. Свою историю они переживают как очень длинную, но в то же время они занимают пространство настолько великое и их так много, что не могут лично знать друг друга хотя бы понаслышке.

До сих пор читатель может подумать, что я не говорю ничего противоречащего взглядам соавторов сборника «Из-под глыб», хотя изъясняюсь на языке, который им, по крайней мере, неприятен и чужд. Но, несмотря на язык, можно понять мною сказанное так: религия (понимаемая не как система верований, но как сообщество людей) и нация есть явления похожие, сродные и параллельные. Это не точно так. По-моему, религия и нация есть явления похожие, сродные, но не параллельные.

В чем же религия — как сообщество людей — и нация похожи друг на друга? Например, в том, что принадлежность и к той, и к другой отвечает свойственной подавляющему большинству людей потребности трансценденции и «закрепления» (по-польски я бы сказал «zakorzenienia»*), т. е. потребности принадлежать к чему-то, что далеко превосходит *hic et nunc* каждого из нас. Религия и нация

* «Укоренения». — Прим. ред.

похожи друг на друга и в том смысле, что нашу принадлежность и к той, и к другой мы не переживаем как связь функциональную, но глубоко эмоциональную, относящуюся к самым для нас важным ценностям.

Я сказал, что нация и религия — явления не только похожие, но и сродные. Это понятие неясное. Я просто имею в виду ситуацию, когда идея нации тесно связана с идеей религии. В точном смысле в европейской культуре мы знаем только один такой случай, но он сыграл существенную роль по отношению не только к другим вероисповеданиям, но и к идее нации. Я имею в виду евреев и идею Божьего народа. Из нее европейцы брали «по надобности»: нерасторжимую связь нации с религией, идею миссии, национальный мессианиззм, идею маккавейскую, т. е. идею национально-религиозной освободительной войны. Несмотря на все эти связи и влияния, надо заметить, что в том, что мы называем европейской культурой, связь религии с этносом никогда не была так сильна, как у евреев. (Да будет мне, неверующему, позволено здесь заметить в скобках, что, по-моему, статья Борисова «Национальное возрождение и нация-личность» отмечена чем-то, что я в шутку назвал бы «жидовствующей ересью» — существовала ведь таковая в московском государстве в XVII столетии: у читателя этой статьи остается впечатление, будто бы автор отождествляет русскую нацию с православием, что, так сказать, в обе стороны неверно.)

Отметив некоторые сходности религии (как сообщества людей) и нации, следует мне сказать несколько слов об отличиях, и я скажу о трех, которые не самые очевидные.

Во-первых, у нации нет *sacrum*, что имеет многие последствия. Они настолько очевидны, что я не буду ими заниматься, скажу только, что когда люди начинают относиться к нации как к трансценденции, равной Богу, то это ведет к самым кровавым последствиям.

Во-вторых, в символическом плане в иудео-христианской культуре религия связана с небом, тогда как нация есть «божество» хтоническое. Нация связана с землей, и тот факт, что большинство национальных идеологий в крестьянстве усматривает материальный субстрат нации, объясняется не статистикой, а символикой.

В-третьих, понятие «истины» (одно из самых существенных для нашей культуры) связано с религией, но не связано с нацией. Как известно, для верующих понятие «истины» вполне относится к религии. Верующий отличает одну религию, в которой содержится истина, от остальных, которые или вовсе не содержат никакой

истины, или содержат ее, но частично искаженную. Отсюда для него существует одна религия, которая есть источник истины, а не только, скажем, силы, или любви, или правильных житейских указаний. И это имеет для него фундаментальное значение. (Будь это иначе, известное изречение Достоевского о Христе и истине не было бы шокирующим.) А вот кажется, что для самого пламенного патриота, даже для самого заклятого шовиниста ни его нация, ни, тем более, нация как таковая не есть источник истины. Нации не делятся на истинные и ложные.

Как так — скажут мне — а все народнические (в широком смысле) доктрины и верования, в которых народ есть единственный источник истины? Да, но мы тут имеем дело с тремя «составными». Во-первых, обожествление народа, главным образом — хтоническое обожествление крестьянства. Во-вторых, отождествление народа и нации. В-третьих, во всех утверждениях этого типа понятием «истина» люди пользуются в таком особом смысле, в котором он, по всей вероятности, означает «что-то невыразимое» и во всяком случае не поддается описанию как *adequatio rei et intellectui*. Все эти три элемента утверждения типа «нация есть источник истины» кажутся мне, по крайней мере, подозрительными.

Выше я сказал, что, по-моему, религия и нация — явления сходные, но не параллельные. Я имею в виду, между прочим, тот факт, что между историей нации и историей религии трудно установить какую-то параллель. В Европе в течение последних двух столетий развитие того, что мы можем назвать современным национальным сознанием, довольно часто одновременно (чтоб не сказать сильнее: связано) с ослаблением религиозных связей. Иначе говоря, современное национальное сознание во многих случаях есть совокупность эмоций, мыслей и действий светских, а не религиозных.

Эта своего рода противоположность религиозных и национальных связей не есть никакой «закон», хотя бы потому, что в течение этого же периода и в той же Европе мы наблюдаем случаи очень сильных связей религии и национального возрождения или сопротивления. Достаточно назвать Ирландию, «пруссские» и «русские» области Польши, Болгарию (это для XIX века) и многие национальные движения в социалистических странах: как в самом Советском Союзе, так и в его европейских полуколониях.

Эта связь национального сопротивления с религией не есть явление однородное, хотя бы потому, что оно обусловлено историей данной нации и отличительными качествами данной религии. Эту неоднородность хорошо можно проследить на современных при-

мерах Польши, Литвы, греко-католиков украинцев, советских евреев и религиозного крыла русских диссидентов. Но при всей неоднородности этих явлений, у них, по крайней мере, две общих черты. Во-первых, сильная связь религии с нацией появляется там, где национальный угнетатель или иного вероисповедания, или воинствующий атеист. И в том и в другом случае источники тесной связи религии с нацией находятся — по крайней мере, частично — вне той и другой. Причем надо тут добавить, что это соотношение не симметрично. Люди, например, говорят: я католик, ибо я поляк. Но никто не скажет: я поляк, ибо я католик. Это свидетельствует о том, что для людей национальная принадлежность не есть функция их вероисповедания.

Мне могут возразить, что верующий — в силу того, что он верующий, — переживает свою связь с нацией иначе, чем неверующий. Это очень вероятно — во всяком случае, по отношению к некоторым аспектам этой связи. Например, верующий будет соблюдать некоторые обычаи, потому что для него они религиозные и национальные, тогда как неверующий будет их соблюдать, потому что они для него только национальные. Но мне кажется, что нет возможности сказать, что у того или другого национальная связь «лучше» или «сильнее».

Впрочем, поскольку я затронул проблему социальных связей религиозного и национального типа, то мне следует отметить одну разницу. Дело в том, что религиозная принадлежность даже в повседневной жизни проявляется, хотя бы отчасти, посредством сознательных поступков религиозного характера: верующий молится, посещает храм, активно соблюдает то или другое количество религиозных предписаний. Даже в стране, где нет и тени религиозных преследований, нельзя быть верующим, так сказать, бессознательно, тогда как большинство сегодняшних итальянцев или голландцев осуществляет свою национальную принадлежность, ни минуты не думая о том, что они ведут себя именно таким, а не другим образом, потому что они итальянцы или голландцы. Иначе говоря, национальная связь за исключением ситуации конфликта (а национальный конфликт есть нормальная ситуация в условиях социализма) осуществляется «бессознательно», тогда как религиозная принадлежность ежедневно требует сознательного поведения.

Противоречит ли это известному изречению Ренана, что существование нации есть ежедневный плебисцит? По-моему, ничуть. Я понимаю эту метафору таким образом. Известная часть наших ежедневных поведений (хороших и дурных, мудрых и глупых) носит

национальный характер. Совершая эти поступки, мы «голосуем» за существование нации. Мы «голосуем», ибо теоретически каждый из нас может от этих поступков отказаться. Теоретически, добровольное существование нации возможно только тогда, когда мы допускаем возможность добровольного отказа от ее существования. Этически эта добровольность есть часть общей предпосылки о свободной воле, без которой просто немислимо то, что мы называем иудео-христианской этикой и что является сегодня, по крайней мере — в Европе, общим достоянием подавляющего большинства верующих и неверующих.

Я сказал выше, что нет такого «закона», согласно которому развитие современного национального сознания «должно» быть связано с ослаблением религиозных связей. Я должен добавить: отношения религии и нации, т. е. религиозных и национальных общественных связей могут складываться согласно трем формулировкам: противоположность, содействие, индифферентизм; но ежели мы хотим, чтобы понятие «закон» имело какой-либо смысл, то ни о каком законе здесь речи быть не может.

Имеет ли всё это отношение к идее «нации-личности»? Надеюсь, что имеет. В моем понятии, когда мы говорим о «нации-личности», то мы имеем в виду очень специфический тип социальных отношений. Отношения эти очень сложные и, конечно, не все они «рациональны». Поэтому они чаще всего кажутся невыразимыми. Но это неверно. Эти связи можно описать; больше того, их можно описать на нескольких «языках»: разных — хотя не всех — философий, разных — хотя не всех — социологий, разных — хотя не всех — психологий. Можно ли описать современную нацию на языке религии? Лично мне кажется, что это невозможно, но я не богослов и могу ошибаться.

Конечно, для верующего или, точнее, для такого верующего, который задумывается над этим вопросом, самое существование нации есть результат Божьего плана. Но это касается не только нации и даже не прежде всего нации, ибо для верующего вселенная, жизнь, общество «как таковое» носят на себе отпечаток Бога. С другой стороны, можно себе представить нацию, состоящую исключительно из атеистов. Эта картина довольно грустна, но вполне вероятна.

О МИССИИ

Это будет очень короткая заметка. Я читал довольно много текстов, в которых говорится о том, что у данной нации есть миссия. Точнее говоря, я читал много текстов, относящихся к разным миссиям американцев, англичан, евреев, немцев, поляков, русских и французов. В большинстве случаев эти миссии, т. е. цели, о которых говорили авторы этих текстов, мне кажутся или умозрительными, или не ахти уж благородными, а иногда просто преступными. Это не всегда так, но все-таки довольно часто. Поэтому, откровенно говоря, отношение к понятию миссии у меня недоверчивое, а уж крайне недоверчивое, когда речь идет о том, что другая нация имеет миссию по отношению ко мне.

Каждый имеет (должен иметь) право высказать свое мнение по поводу тех задач и целей, которые, по его мнению, должна осуществлять его нация. В некоторых случаях это не только право, но и обязанность. Часть этих целей и задач должна быть утопической, потому что общество без утопических идеалов, без мечты есть большое общество. Но в основном все эти задачи и цели можно сформулировать четким языком.

Задачи и цели нация имеет прежде всего по отношению к самой себе. Среди них есть изменяемые и неизменяемые. К тем вторым должен принадлежать постулат: жить в хороших отношениях с другими нациями, в особенности с соседями. Эта задача не только очень важная, но и очень интересная, потому что она показывает, насколько обществу необходима смесь постулатов утопических и реальных. Жить всегда в мире (да еще в дружбе) со всеми соседями есть постулат утопический и в то же время абсолютным образом необходимый. Он утопический, потому что вся история показывает, что между соседями очень часто возникают конфликты и нет оснований думать, что в будущем будет иначе. И, тем не менее, без этого постулата, без этой этической нормы вся политика сводится к мелким «выигрышам», к кровавым «окончательным» разрешениям, которые есть не что иное, как только очаги новых конфликтов. Утопия нереальна в смысле полного осуществления; утопия есть реальная сила как регулятор нашего поведения.

Если мы согласны, что у каждой нации есть свои цели и задачи, то почему протестовать против понятия «миссия» — ведь это не больше чем стилистический прием? Не думаю, чтоб это был только

вопрос стиля. Читая внимательно тексты, в которых говорится о миссии той или другой нации, я пришел к заключению, что в подавляющем большинстве случаев люди пользуются понятием «национальной миссии»:

1) когда хотят более или менее откровенным образом сказать, что данная миссия предназначена им Историей или Богом (дело в том, что задачи и цели мы можем формулировать сами и они подвержимы дискуссии и критике, тогда как миссия нам дана извне и неоспорима);

2) когда дело касается наших отношений с другими народами (когда данная нация защищает свою территорию — это цель, когда она «отправляется в поход», то это миссия, то ли «культурная», то ли «религиозная», то ли «освободительная» и, конечно, всегда «историческая»).

Вот почему я предпочитаю говорить, спорить, осуществлять задачи, стремиться к целям; вот почему я недоверчиво отношусь к миссиям.

Это всё о «национальных миссиях». Или почти всё, ибо я хотел бы закончить эту часть одной чисто практической заметкой.

В своей статье «Обособление или сближение» Игорь Шафаревич пишет: «Мы сейчас способны увидеть и сказать миру то, что никто другой не в состоянии. В этом я вижу историческую миссию тех народов, которые населяли Россию (я бы, впрочем, сказал — Российскую империю. — П. А.), а сейчас — Советский Союз. Они могут указать выход из лабиринта, в котором сейчас заблудилось человечество».

Мне думается, что у наций, населяющих Советский Союз (а тем паче советскую империю) опыт отчасти одинаковый, а отчасти весьма разный. И, впрочем, не только потому, что они «оперируют» разными фактами, но потому что к одному и тому же факту у них может быть разный подход. Пример Гоголя здесь очень показателен. Упоминает его Шафаревич с громадным пафосом и принимая — подозреваю, бессознательно — чисто русскую точку зрения. Но ведь с таким же пафосом можно бы воскликнуть: как развернулась бы украинская культура и украинское национальное сознание, если бы в первой половине XIX столетия ее путеводной звездой стал Гоголь.

Из этого огромного разнообразия опытов авторы сборника «Из-под глыб» говорят от имени русского опыта, что и вполне понятно. Русского и в небольшой части (см. «Две пресс-конферен-

ции», Париж, 1975) еврейского. Так да будет мне позволено сказать здесь следующее.

Советские евреи могут (да и, пожалуй, должны) миру сказать две очень важные истины:

— что надо остерегаться, как чумы, тех, которые к тебе приходят и говорят, что хотят тебя освободить, в то же время провозглашают, что два краеугольных камня национального существования (в данном случае религия и иврит) есть реакционный хлам, который надо уничтожить под корень;

— что когда тебе предлагают работу в политической полиции или в полиции умственной, т. е. в так называемом аппарате пропаганды, а ты принадлежишь к национальному меньшинству, то ты должен отказаться дважды сильнее, чем те, которые принадлежат к так называемому коренному населению.

Что касается русских, то я не думаю, чтоб они могли указать миру выход из лабиринта. Ведь если бы они его знали, то не торчали бы в нем по уши. Русские могут миру сказать, почему не надо лезть в лабиринт и какие пути-дорожки туда ведут. Это очень серьезная и благородная задача или — чтоб Шафаревичу сердце медом помазать — миссия. Впрочем, я не думаю, чтоб мир горел жаждой слушать то, что ему могли бы сказать русские, поляки, венгры и многие другие обитатели «социалистического содружества наций». Миру очень уж хочется построить социализм то «европейский», то «африканский», то Бог весть еще какой, и ему свидетели с востока Европы просто помеха. Но это другое дело.

Заметка третья

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАЦИИ ЗА СВОЮ ИСТОРИЮ

Это, пожалуй, самая серьезная тема, но я ее начну с чего-то, что может показаться шуткой, хотя вовсе не шутка. Я начну именно с цитаты по Марксу. Вовсе не потому, что я марксист (если бы это слово что-нибудь да и значило, то я бы себя скорее назвал анти-марксистом), а потому что эта цитата касается нашей темы.

Народу, как и женщине, — писал отец социализма, да еще научного, — не прощают, когда какой-то авантюрист изнасилует их на улице.

Ежели хорошенько над этой цитатой подумать, то становится смешно и жутко. Но давайте подумаем.

Начнем с женщины. Отказать в прощении за то, что ее изнасиловали, мог только самый твердолобый девятнадцативечный буржуа, которым Маркс во многих отношениях и был (абсолютная глорификация «прогресса», производственности, слепая вера в «науку» как ответ на все вопросы, антисемитизм).

Мы бы простили, а чаще всего и пожалели. Пишу «чаще всего», потому что ежели женщину предостерегали, чтобы на эту именно улицу одна не ходила, потому что там насилуют, а она, никем и ничем не принуждена, слуду туда полезла, то жалеть ее, может, и не надо.

О народе Маркс говорит, что ему, как и женщине, «не прощают». Впрочем, неизвестно, кто не прощает, но это для нас не так уж важно, ибо мы хотели поставить вопрос другим образом: а должен ли народ простить сам себе, ежели с ним в прошлом случилось неладное? Ну, скажем, если он вел себя таким образом, что могла его «изнасиловать» небольшая кучка «авантюристов»?

Мне думается так: простить самому себе может только тот, кто знает (или хотя бы подозревает), что он виновен, а виновен только тот, кто совершает свои поступки сознательно, зная, что такое добро и что такое зло. Это сказав, мы подошли к тому, что кажется действительно очень важным, т. е. к вопросу об ответственности нации за свое прошлое.

Мне кажется, что в самом начале надо тут сделать две оговорки, которые по сути дела очень просты, но вслух произносятся — особенно вторая — очень редко.

Когда мы говорим, что «нация отвечает за свою историю», то мы это можем понимать в двух совершенно разных планах: материальном и этическом. В первом случае это утверждение значит просто то, что нынешнее состояние нации есть во многом (но не во всем) результат ее истории. В этом смысле нации отвечают за свою историю, хотя ли этого или нет, сознают или не сознают свою ответственность. Когда Солженицын в своей статье говорит о раскаянии, то он, конечно, имеет в виду моральную, т. е. осознанную ответственность нации за свое прошлое. И эта сторона вопроса есть предмет моих заметок.

А вот другая оговорка. Если мы утверждаем, что нация должна отвечать за свое прошлое, то, хотим ли этого или нет, мы неизбежно апробируем принцип коллективной ответственности (хотя бы только в этическом плане). А надо ли мне широко расписывать о том, что принцип коллективной ответственности — самый бесчеловечный, преступный и убийственный и что его совершенное вопло-

шение есть большевизм и гитлеризм? Ежели мы ценим и тот, и другой постулат, т. е. если отвергаем коллективную ответственность и в то же время считаем, что нация должна отвечать за свое прошлое, то нам не избежать конфликта этических принципов. То есть мы обязаны сказать: мы отбрасываем принцип коллективной ответственности с одним и только одним исключением — мы признаём морально ценным требование, согласно которому нации, т. е. коллективы, должны быть ответственными за свое прошлое (и, конечно, за настоящее). Мы признаём, что это противоречие. Точка.

Сказав всё это, мы можем теперь подойти к главному. То есть мы можем попробовать найти ответ на два вопроса.

Какой смысл имеет постулат, касающийся моральной ответственности нации за свое прошлое, или, иначе, на какой тип конкретных поведений мы бы хотели перевести смысл этого требования?

Перед кем, собственно, говоря, нация должна отвечать?

Начну со второго вопроса потому, что он мне кажется более простым. Нация может за свое прошлое отвечать сама перед собой, перед другими нациями, перед Богом. Я перечислил эти возможности в такой именно последовательности, которая мне кажется единственно правильной. Ведь если нация сама не осознает своей виновности, то она не способна отвечать за нее перед кем-либо другим, будь это даже Бог. А ежели нация признает за собой какую-то вину, то она тем самым признает свою ответственность перед собой. Теперь, ответственность перед другими нациями будут признавать равным образом как верующие, так и неверующие, тогда как ответственность перед Богом будут признавать только первые.

Как нация может узнать, что ее предки делали что-то дурное? В нашем столетии — посредством историков, писателей и вообще художников, священников, философов, т. е. в основном посредством интеллектуалов или тех, кто мысли этих интеллектуалов будет распространять, неизбежно их, впрочем, измельчая, что и делает (если делает) школа, газета, телевидение и пр. Лично я не думаю, чтобы интеллектуалы были самым лучшим источником коллективной совести, о каком можно мечтать. Даже наоборот — это источник очень сомнительный, ибо среди них исключительно много дураков и подлецов. (Когда интеллектуал не очень, по-видимому, умен, когда он проповедует безнравственную чушь, а еще владеет искусством рекламы — лучший пример Сартр, — то он весьма опасен.) Но дело тут не в мечте, а в практике. А практически

именно в этой весьма сомнительной среде находятся такие бесценные для национальной совести люди, как Томас Манн, Чеслав Милош, Солженицын или Александр Зиновьев.

Мне могут тут возразить, что ничто такое, как коллективная совесть, не существует. Я с этим вполне согласен. «Коллективная совесть», понимаемая как какое-то бытие, есть, по-моему, чушь и, к тому же, мне кажется, с религиозной точки зрения — ересь. Существуют люди, которые думают, чувствуют, действуют, влияют друг на друга. Коллективной совестью мы называем образцы моральных суждений и связанных с ними чувств, образцы, которые приняты, по крайней мере, частью данного коллектива, будь он даже такой большой, как нация. Да еще мало, чтоб эти суждения были приняты, — они должны задевать за живое. Вот, например, большинство поляков без сопротивления согласится с тем, что Польшу погубила анархия. Это отчасти правда, но она теперь правда мертвая. Ее, к тому же, умерщвляют коммунисты, которые каждое сопротивление против их варварского и глупого управления называют анархией. Это глупо и смешно, но это вполне отвечает тому, что мы называем процессом советизации, который, между прочим, построен на деструкции языка.

Когда Солженицын говорит о покаянии, то, считая его воззвание исключительно важным, я его понимаю так.

Каждой нации исключительно необходимы такие люди, которые будут ей говорить: вот наши-то предки делали такие-то дурные поступки, они оскорбляли своих соотечественников или другие народы. Нам, во-первых, надо об этом знать, нам нельзя об этом забывать, мы должны за них стыдиться. Это последнее очень важно. Чтобы понять всё моральное, т. е. общественное значение этого стыда, лучше всего вспомнить, как коммунисты решают эту проблему.

Во-первых, у них, конечно, другое понятие добра и зла. Ведь французские коммунисты по сей день гордятся эпохой Террора. Но даже в тех случаях, в которых будто бы мы с ними согласны, — это согласие мнимое. Ведь они говорят: то да то было в истории этой страны плохим, но это всё делали правящие классы, и нам до этого дела нет; мы, во-первых, не виновны, и, во-вторых, мы должны ненавидеть эти правящие классы. Эта смесь ненависти с постоянной невинностью есть одна из самых разрушительных черт коммунизма, потому что она обращается к опасным чертам человеческого характера, к его потребности быть во что бы то ни стало оправданным и к его агрессивным инстинктам. И когда мы говорим,

что нация должна себя чувствовать ответственной за свою историю, то мы говорим что-то как раз противоположное тому, что утверждают коммунисты. Мы обращаемся к чувству ответственности, привязанности, любви (стыдно ведь за тех, которых любишь, — за тех, что ненавидишь, нечего и стыдиться).

Но не может же так быть, — скажут мне, — чтобы вся нация, да еще постоянно, жила с чувством вины. Это невозможно, да и будь это возможно, это было бы вредно.

Чтоб изъяснить, как я понимаю эту проблему, я обращаюсь к конкретному примеру. Он сравнительно прост, ибо говорить я буду о немцах. Если мы согласны с тем, что нация должна себя чувствовать ответственной за свое прошлое, то, конечно, немцам есть за что отвечать. Тем более, что, спора нет, по крайней мере двенадцать из пятнадцати лет существования гитлеровского режима он пользовался поддержкой подавляющего большинства взрослого населения. Так что ж — будем требовать, чтобы все немцы только и раскаивались всякому встречному-поперечному в злодеяниях своих родителей или дедов? Это было бы невозможно, несносно и, прошу прощения, безвкусно.

Требуя с немцев моральной ответственности, мы, кажется, понимаем это так: они это свое прошлое должны знать, не забывать, учить о нем своих детей, говоря при этом именно об ответственности; да еще, может быть, не всегда и не на всякие темы немцы должны высказываться. Но в этом последнем я не уверен, ибо, во-первых, я за свободу слова и мнений, во-вторых, дело это вообще очень тонкое, и пусть его немцы решают сами.

Как будто бы не так уж много, а если хорошо приглядеться к истории одной только Европы, то становится ясным, как это трудно. И как редко. А ведь мы говорим только об одной половине вопроса, а есть еще другая. Возвращаясь к нашему примеру, это не только отношение немцев к полякам или русским. Это ведь тоже отношение поляков или русских к немцам. Именно поэтому письмо польских епископов немецким епископам 1965 года есть документ неизмеримой ценности. Ибо оно, высказав слова о взаимном (а не одностороннем) прощении, показало, что проблема ответственности в отношениях между нациями есть (даже в случае поляков и немцев) проблема двусторонняя. Ответственность не имеет никакого смысла, если ответственные всегда и только «они», а никогда «мы».

Вернемся, наконец, к возражению, согласно которому нация, т. е. живые люди, из которых она состоит, да хотя бы их половина, жила с постоянным чувством вины или, как, мне кажется, сказал бы

Солженицын, — в состоянии постоянного раскаяния. Я уже сказал, что это невозможно, да и будь это реально, это всё равно было бы нежелательно. Тогда — могут спросить — зачем же говорить об ответственности, для чего же одобрять воззвание Солженицына к раскаянию?

Дело в том, что нации да и вообще человеческие коллективы очень неохотно признают за собой ошибки или дурные поступки. Не только потому, что отдельные люди очень не склонны к признанию себя виновными, но и потому, что эта позиция укрепляется позицией других членов данной группы. А в случае нации эти взаимовлияния особенно сильны. Так что, за редкими исключениями, нации не угрожает нездоровое изобилие чувства вины, но как раз что-то противоположное — скрытая язва вины невысказанной.

ПОЛЬСКО-РУССКИЙ ПОСТСКРИПТУМ

Я очень долго думал: касаться мне этого больного места или нет. Противопоказания есть три. Во-первых, мои заметки — общего характера, примеры все, за исключением одного, у меня абстрактны. И это не случайно, ибо мне кажется, что не надо в одной статье затрагивать слишком много трудных вопросов. Во-вторых, вопрос польско-русских взаимоотношений настолько наболевший и сложный, что ему скорее книгу, чем часть статьи, надо бы посвятить. В-третьих, нет у меня никакого мандата, чтобы сказать «мы, поляки, думаем то-то да то-то», — всё, что я мог бы сказать, было бы только от моего имени. Авторитета за мной никакого нет — только одна надежда на то, что я прав.

Но, даже всё это взяв во внимание, я пришел к убеждению, что исключить русско-польский вопрос из этой статьи было бы нечестно.

Так вот, мне кажется, что поляки и русские есть соседи, так сказать, исторические, но не географические. Географически у нас одни и те же соседи: литовцы, белорусы и украинцы. Это имеет громаднейшее значение для нашей истории, по крайней мере — для XIX и XX века, и, конечно, для всего будущего этой части Европы.

Ежели я прав — то из этого следует, что, говоря об ответственности, не надо смешивать польско-русских грехов с польско-украинскими или русско-украинскими. Скажем, царский указ 1876 г., воспреещающий печатать книги на украинском языке, есть вопрос украинско-русский, а не польско-русский. Аналогически — правильно

или неправильно сделал Пилсудский, установив договор с Петлюрой, есть вопрос украинско-польский, но не русско-польский.

Из этого не следует, что русским нельзя высказываться по поводу польско-украинских отношений или полякам по поводу русско-украинских. Это доброе право одних и других, но только не надо всё смешивать, т. е. выступать за Россию, когда дело об Украине, или за Польшу, когда дело идет о Белоруссии. Тут и без того трудностей хватает по горло.

Исходя из этой точки зрения, я не могу согласиться с Солженицыным, что в 1920 г. поляки взяли «грабить и кромсать Россию». Насколько мне известно, даже нога польского солдата не постояла на русской земле. Если были грехи, так по отношению к литовцам, белорусам и украинцам, но не по отношению к русским.

Кстати сказать, вопрос разрушения православного собора на Саской площади в Варшаве мне кажется довольно сложным. Я принципиально против разрушения храмов. Но дело в том, что для населения Варшавы это был не столько храм, сколько символ царского властвования. Я бы, по всей вероятности, даже это взяв во внимание, голосовал против — но не будем обманываться: я был бы в меньшинстве.

Читателю может показаться, что в сравнении с длинным списком взаимных польских и русских грехов в статье Солженицына я слишком легко отнесся к истории наших взаимоотношений. Нет, я не пренебрегаю этой историей и вполне согласен, что она тяжелым бременем лежит на нашем настоящем и градовой тучей висит над будущим. Она, эта история, тем тяжелее, что на нее наложились тридцать четыре года коммунистической лже-дружбы, которая до того тошнотворна, что от нее одной можно возненавидеть друг друга — так, как ненавидят люди, принудительно живущие в одной коммунальной квартире.

Но если бы меня спросили, какой, по-моему, самый тяжелый грех поляков перед русскими, я бы не говорил ни о Сигизмунде III, ни тем более о Батории — я бы сказал что-то совсем другое: самый тяжелый грех поляков по отношению к русским есть презрение. Глупое, постыдное презрение, и вовсе не, как думают некоторые русские, «панское», а как раз наоборот — холопское.

Повторяю, это, по-моему, самая главная, самая отравительная вина. Что касается польской стороны, то это она больше всего угрожает будущим польско-русским отношениям — эта вина, тошнотворно глупая и постыдная (а мне думается, что человек верующий добавил бы еще — глубоко не христианская).

Я знаю, что на этот фрагмент моей статьи накинется с криком — это клевета, где доказательства! Это хитрость и самообман. Конечно, доказать презрение труднее, чем доказать, что польские войска 370 лет тому назад взяли Кремль. Но о чем важнее говорить — о том, что давно и легко доказуемо, или о том, что живуче и может быть покрыто обманом?

Но если я прав, считая в отношении поляков чувства важнее фактов, то как тогда дело обстоит с русскими?

О них думая, я тоже считаю чувства важнее фактов. И поэтому, простите, но я думаю, что самая большая вина русских перед поляками есть смесь подозрительности с ненавистью.

Я не буду спорить с теми, которые скажут, что я «обижаю» или «клевету на» (всё равно — поляков или русских), ибо народ — в силу того, что он народ, — не может быть плохим, не может презирать или ненавидеть, и что «сам, мол, знаю трех Янов или трех Иванов, которые любят» — тут по надобности вставить «поляков» или «русских».

Ежели мне скажут, что по отношению к настоящему и будущему польско-русских взаимоотношений я пессимист, — я отвечу: тем, которым дорог идеал фактически хороших отношений между русскими и поляками (а я себя к ним позволяю причислить), во-первых, нельзя себя обманывать и, во-вторых, надо много трудиться.

СВОБОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АХБЕРГЕ

Ежегодный Ахбергский конгресс в третий раз ставит в центр своего внимания проблему прав человека и одновременно, отмечая 10-летнюю годовщину чехословацких событий, продолжает исследование темы «Пражская весна». Анализу тоталитаризма и авторитаризма и поискам путей их преодоления будут посвящены занятия летнего университета. В обоих мероприятиях примет широкое участие политическая эмиграция из тоталитарных и авторитарных стран.

Конгресс проводится с 29 июля по 5 августа, летний университет — с 27 августа по 9 сентября. Желающие принять участие могут получить справки по адресу: Institut für Sozialforschung und Entwicklungslehre, D-8991 Achberg, West Germany (по-немецки) или у доктора Германа Андреева: Dr. Hermann Andreew, Emmerstgrundpassage 25, 69 Heidelberg, West Germany (по-русски).

Свободный международный университет и Ахбергский институт социальных исследований оказали практическую поддержку призыву журнала «Континент» об организации русского университета за границей. Первый цикл занятий Летнего университета русской культуры намечен на август-сентябрь 1979 г. Все справки и предложения — по адресу д-ра Г. Андреева. Более подробные сведения о Летнем университете русской культуры будут опубликованы в «Континенте» в начале 1979 года.

Запад — Восток

Андрей Сахаров

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И СВОБОДА ЗАПАДА

Часто приходится слышать по радио и читать о бурных многотысячных демонстрациях, о выступлениях известных и неизвестных общественных деятелей, о всевозможных кампаниях в странах Запада, направленных против развития ядерной энергетики, против строительства ядерных электростанций, реакторов-«бриддеров» и т. п. Долгое время я про себя удивлялся этому и слегка возмущался, но воздерживался от каких-либо публичных выступлений, тем более, что в СССР, естественно, ничего подобного не происходит. Но постепенно я пришел к мысли, что тема заслуживает внимания и что есть мне что по этому поводу сказать.

Основой, почвой для антиядерных настроений людей является, вероятно, их недостаточная информированность в сложных специальных вопросах, направляющая по ложному пути естественную и законную озабоченность современного человека вопросами сохранения окружающей среды. Очень трудно объяснить неспециалистам (хотя это именно так), что ядерный реактор электростанции — вовсе не атомная бомба, что реальная опасность и ущерб среде обитания, биологический ущерб людям от электростанции, работающей на угле или нефти, во много раз больше, чем от ядерной электростанции той же мощности или от бриддерного реактора.

Сейчас многие ответственные государственные деятели Запада, руководящие работники промышленности, ученые-атомщики осознали (правда, с некоторым опозданием) необходимость довести до широкой общественности основные технические факты в этой области, осознали необходимость широкой научно-технической пропаганды. Это, действительно, очень важно. Прекрасную, глубоко аргументированную статью под заглавием «Необходимость ядерной энергетики» написал Ганс Бете, лауреат Нобелевской премии по физике, автор вошедших в историю физики теоретических работ по термоядерным реакциям в звездах, по квантовой электродинамике и ядерной физике. Статья Бете опубликована в 1976 г. в журнале «Сайентифик Америкен». Европейскому читателю должно быть известно имя работающего в Швеции физика Ф. Яноуха, неоднократно выступавшего на ту же тему.

Я совершенно согласен с аргументацией этих и многих других авторитетных авторов.

Развитие ядерной энергетики шло с гораздо большим вниманием к вопросам техники безопасности и охраны среды, чем развитие таких отраслей техники, как металлургия и коксохимия, горное дело, химическая промышленность, угольные электростанции, современный транспорт, химизация сельского хозяйства. Поэтому сейчас положение в ядерной энергетике в смысле безопасности и возможного влияния на среду обитания относительно благополучное и ясны пути его дальнейшего улучшения. Принципиальная особенность, отличающая ядерную энергетику от использующей химическое топливо, — высокая концентрированность, малая объемность опасных отходов и всего процесса в целом. Это облегчает и удешевляет решение задач безопасности и охраны окружающей среды по сравнению с такими же задачами для энергетики, использующей уголь, нефть и т. п.

Вместе с тем очевидна жизненная необходимость в форсированном развитии ядерной энергетики как единственной экономически равноценной и реальной в ближайшие десятилетия замены нефти (которая, по большинству оценок, уже к концу столетия станет мало доступной из-за истощения удобных месторождений и удорожания).

При этом чрезвычайно важно не только строительство «обычных» ядерных электростанций на обогащенном уране, в которых используется редкий изотоп урана U^{235} , но и решение проблемы производства делящихся материалов из основного изотопа урана и, в перспективе, тория. Это даст возможность экономически целесообразного использования бедных урановых руд, которых очень много в земной коре, а в дальнейшем — ториевых руд, которых еще больше. Как известно, реакторы на быстрых нейтронах («бриддеры», т. е. размножители) представляют собой одно из возможных решений этой проблемы. Они далеко продвинуты в техническом отношении и в отношении техники безопасности. По-видимому, в ближайшие годы необходимо будет приступить к строительству промышленных реакторов на быстрых нейтронах — конечно, с максимальным вниманием к их безопасности.

Об одной альтернативной возможности решения проблемы размножения делящихся материалов я уже в свое время писал, уместно упомянуть об этом и здесь (я подчеркивал также, что не являюсь автором идеи). Речь идет о проекте, предусматривающем устройство большой подземной камеры (вероятно, герметизированной посредством жаропрочной гофрированной оболочки), в которой периодически производятся взрывы специально сконструированных термоядерных зарядов максимальной малой мощности, с последующим извлечением и переработкой продуктов взрыва. В таких зарядах можно достичь большого коэффициента размножения делящихся материалов, образующихся при

захвате в уране или в тории нейтронов термоядерной реакции. Конечно, в осуществлении этой идеи, при всей ее привлекательности, много серьезных трудностей.

Еще один технический вопрос, много обсуждаемый в литературе, — возможность похищения делящихся материалов с ядерных электростанций или химико-металлургических заводов и использования их для производства примитивных атомных бомб. Что касается возможности похищения, то я думаю, что при помощи соответствующих организационных и технических мер ее вероятность будет сведена к минимуму. Кроме всего прочего, не позавидуешь грабителю, который решится похитить облученный стержень с ядерного реактора: сам он, скорей всего, погибнет, но содержащегося в одном стержне плутония ни в каком случае не хватит для изготовления атомного заряда. Что же касается возможности изготовления «самодельной» атомной бомбы, то в этом вопросе я, так же, как, очевидно, Бете, связан ограничениями секретности. Так же, как он, могу, однако, заверить читателя, что это дело чрезвычайно трудное, не более легкое, чем, скажем, постройка самодельной космической ракеты. Изготовление работоспособного заряда будет, как можно предполагать, дополнительно затруднено при «денатурировании» плутония и других делящихся материалов нейтронно-активными добавками.

Проблема ядерной энергетики не исчерпывается техническими и экономическими аспектами. В оставшейся части статьи я хочу остановиться на связи этой проблемы с международной политикой. Когда я уже начал работу над статьей, я услышал по радио передачу о книге английского астрофизика Фреда Хойла. Я не читал этой книги, но, судя по радиопередаче, точка зрения и опасения Хойла близки к моим.

Политические деятели всегда, и не без оснований, исходят из той предпосылки, что уровень экономического развития страны — ее экономическая независимость — один из главных факторов, определяющих политическую независимость, военную и дипломатическую ее силу, международное влияние. Такое мнение должно быть вдвойне основательным, когда речь идет о двух противостоящих друг другу мировых системах. Но уровень экономики в свою очередь определяется энергетикой, т. е. использованием нефти, газа и угля сейчас, урана и тория в сравнительно недалеком будущем (и, быть может, также дейтерия и лития в более отдаленном будущем, когда будут решены очень сложные научно-технические проблемы управляемого термоядерного синтеза). Поэтому я утверждаю: развитие ядерной энергетики — одно из необходимых условий сохранения экономической и политической независимости каждой страны, как уже достигшей высокого уровня развития, так и развивающейся. Особенно велико значение ядерной энергетики для стран Западной Европы и Японии. Если экономика этих стран будет и дальше в сколько-нибудь существенной степени зависеть от поставок химического топлива из СССР и находящихся под его влиянием стран, Запад будет находиться под постоянной угрозой перекрытия этих каналов, и это будет иметь следствием унижительную политическую зависимость. Одна уступка в политике всегда влечет за собой другую, и к чему это приведет в конце концов, трудно предсказать.

Я уже имел возможность рассказать (в книге «О стране и мире») о высказывании одного из крупных советских чиновников, услышанном мною в 1955 г., когда меня еще можно было считать «своим». Речь шла о переориентации советской политики на Ближнем Востоке, о поддержке Насера — с целью создания нефтяного голода в Западной Европе и тем самым эффективных рычагов давления на нее. Сейчас ситуа-

ция гораздо сложнее и богаче оттенками. Но какие-то параллели несомненно существуют. Существует политическая заинтересованность СССР в использовании энергетических трудностей Запада.

Инспирирует ли СССР (или другие страны Восточной Европы) нынешние кампании против развития ядерной энергетики? Мне неизвестны какие-либо достоверные факты этого рода. Если да, то при широко распространенных антиядерных предубеждениях и непонимании неизбежности ядерной эры достаточно незначительных и незаметных усилий, чтобы существенно повлиять на размах этих кампаний.

Я должен закончить эту статью тем же, чем начал. Люди должны иметь возможность — знания и права — трезво и ответственно взвесить взаимосвязанные экономические, политические и экологические проблемы, относящиеся к развитию ядерной энергетики и альтернативных путей развития экономики, без необоснованных эмоций и предрассудков. Речь идет не только о комфорте, не только о сохранении так называемого «качества жизни». Речь идет о более кардинальном вопросе — об экономической и политической независимости, о сохранении свободы для ваших детей и внуков. Я уверен, что правильное решение будет достигнуто.

Ноябрь 1977

ЕВРОКОММУНИЗМ И ГРАМШИ

Когда феномен западноевропейского коммунизма, «отличного» от коммунизма восточного, т. е. иного по своей политической стратегии и идеологическому облику, привлек внимание общественного мнения по обе стороны Атлантики, первые комментаторы колебались в выборе между двумя определениями: «неокоммунизм» и «еврокоммунизм». После краткого периода неуверенности возобладал второй термин. Его успешное шествие было поддержано самими заинтересованными сторонами — итальянской, французской и испанской компартиями, хотя и не сразу: они выждали около года, прежде чем ассимилировать термин, притом осторожно и пропагандистски ловко.

В официальный язык Итальянской компартии неологизм вошел 3 июня 1976 г., в день массового митинга итальянских и французских коммунистов в Париже. В тексте тогдашней речи Берлингуэра мы впервые встречаем слово «еврокоммунизм», пока еще в кавычках. Впоследствии эта орфографически-идеологическая осторожность исчезла. Глава международного отдела Итальянской КП, наиболее рьяный пропагандист еврокоммунизма Серджио Сегре употребляет это слово с легкой непринужденностью, без кавычек и комплексов, в статьях и в беседах с западными журналистами, дипломатами, политическими деятелями, учеными, которые приезжают в Рим, почти уверенные, что здесь, после Москвы, Пекина и Белграда, они найдут четвертый независимый центр мирового коммунизма. Однако во время контактов с советскими коммунистами Сегре тщательно избегает этого двусмысленного слова.

Эта двусмысленность, постоянный упрек советских идеологов, проистекает еще и из того, что западные коммунисты лишь присвоили, но не изобрели этот неологизм. Изобретатель термина — известный «еретик», югославский политолог и журналист Фране Барбьери. Он первым употребил термин «еврокоммунизм» в «Джорнале нуово» 26 июня 1975 г., за год до того, как Берлингуэр осмелился официально произнести этот термин на митинге в Париже. Рамон Тамамес, профессор политэкономии Мадридского университета, член ЦК Испанской КП и вероятный наследник Карильо, считает, что Барбьери ввел термин такой же исторической и символической значимости, какую придали в свое время Черчилль и Липманн выражениям «железный занавес» и «холодная война».

Я начал с отступления, которое может показаться излишним, но исследование происхождения неологизма и его изначального значения кажется мне не менее важным, нежели анализ функционирования этого термина в языке принявших его компартий. Как сам Фране Барбьери, так и «Джорнале нуово», в котором он теперь сотрудничает после долгих лет работы в разных югославских газетах, не верят в демократичность еврокоммунизма. Скептицизм Барбьери объясняется его либерально-социалистическими взглядами, созревшими в те годы, когда в результате драматического столкновения между Москвой и Белградом родилась титовская идеология с ее двумя аспектами: внутренним («самоуправление») и внешним («неприсоединение»). Барбьери сравнивает явление, которое он первым определил как «еврокоммунизм», с югославским коммунизмом. Этот последний, при всех его недостатках, остается для Барбьери важнейшим эталоном при проверке и анализе любого нового опыта, вдохновляющегося социалистическими идеями, — и «еврокоммунизм» кажется ему слишком еще расплывчатым, двусмысленным. Вводя свой неологизм, он стремился

определить этим нечто новое, ограниченное и в то же время неопределенное, некий феномен, который пока поддается скорее географической, нежели идеологической локализации.

Мне кажется, полезно процитировать здесь самого Барбьери, который двумя годами позже так объясняет причины, побудившие его в тот исторический момент (XIV съезд Итальянской КП, сенсационное возвращение на европейскую сцену испанского коммунизма, ленинская агрессия Куньяла против португальских социалистов) изобрести этот знаменитый термин:

«Я склонился к термину «еврокоммунизм» еще и потому, что хотел противопоставить его другим распространенным двусмысленным формулам — таким, например, как «неокоммунизм». Я решил избрать первый термин, потому что явление, им обозначаемое, определёнno с географической точки зрения и, по-моему, неопределёнno — с идеологической. «Неокоммунизм» мне кажется понятнее более отчетливо идеологичным и, следовательно, слишком многозначительным. Еврокоммунизмом, термином гораздо более водянистым, я хотел охарактеризовать явление изменчивое, неуловимое, за которым я не отрицал идеологического содержания, но и не преувеличивал его. Поскольку не было и не стало ясно, что же это такое на самом деле, я спрашивал и спрашиваю себя: сможет ли Европейское сообщество в случае господства еврокоммунизма сохранить неизменными тот смысл и то международное соотношение сил, в соответствии с которыми оно было задумано. Сегодня Сообщество — выразитель западноевропейских традиций. Еврокоммунисты утверждают, что они за независимость Сообщества от Соединенных Штатов и Советского Союза. Если мы глянем в программный манифест, представленный Карильо Восьмому съезду Испанской КП еще в 1972 г., нам может даже показаться, что он рассчитывает влиять извне на постепенную европеизацию советской системы. Но это иллюзия. Скорее произойдет противоположное: еврокоммунистическая Европа означала бы, вне сомнений, советизацию Европы».

Таким образом, восходя к истокам неологизма, мы видим, что термину этому стремились придать значение описательное, почти этикеточное. И если впоследствии этот ограничительный термин приобрел

значение расширительное и идеологическое, затрагивающее, впрочем, больше форму, чем сущность, по-прежнему неизвестную, — то случилось это, в основном, по двум причинам. Во-первых, три западные, «еврокоммунистические» партии намеренно расширили эту не ими изобретенную формулу, выведя ее далеко за пределы первоначального значения. Во-вторых, тонким пропагандистским манипуляциям итальянцев, старавшихся придать термину положительную окраску, помогли и многие влиятельные французские, испанские, английские и американские газеты, с величайшей легкостью открыв идеологический кредит декларациям итальянской КП и не потрудившись проанализировать ни ее действия, ни действия ее французских и испанских собратьев. Профессиональные прогрессисты и случайные кредиторы — первые сознательно, вторые скорее бессознательно — сумели создать в большой западной прессе представление о «четвертом» (европейском) коммунизме, почти демократическом и, во всяком случае, реформистском, — о еврокоммунизме, уже порвавшим с «азиатским коммунизмом», царящим в СССР и советизированных странах Восточной Европы. И всё это — прежде, чем какие-либо факты подтвердили бы благие намерения; более того, вопреки некоторым серьезным актам Итальянской КП на поле цензуры и против свобод.

Многие из этих легковверных писак, привлеченные новостью, которая всё еще остается скорее газетной, чем всерьез политической, особенно настойчиво подчеркивали всякий признак отхода, будь то чисто формального или терминологического, трех еврокоммунистических партий от революционного мифа. Отказ французских коммунистов от «диктатуры пролетариата», публичные лобзания коммунистического мэра Рима с Папой Римским, признание испанскими коммунистами знамени монархии взамен старого республиканского — всё это заставило истратить море чернил

на рассуждения о чуть ли не буржуазной респектабельности трех партий. Но никому даже в голову не пришло вспомнить, что еще полвека назад Карл Каутский (персонаж весьма неудобный для итальянских еврокоммунистов, вынужденных в угоду Ленину официально покрывать его презрением, но — под водительством Берлингуэра — молча следовать его тактическим советам), определяя социал-демократию еще в марксистских терминах, указал тонкое различие между «революционной партией» и «партией, делающей революцию».

Ни одна из трех еврокоммунистических партий, продолжающих называть или молчаливо считать себя революционными, еще не отказалась четко в своей доктрине, а тем более в организационном строении аппарата, по-прежнему ленинском, от идеи революции, которую мы часто по привычке продолжаем отождествлять с большевистским переворотом 1917 года. Разумеется, по вполне понятным дипломатическим причинам эти три партии сегодня очень осторожны в своих высказываниях о русской революции и о революции вообще. Основываясь на их умолчаниях и некоторых беглых признаниях, мы можем попытаться дать первое определение.

Итальянская, французская и испанская компартии — это революционные партии, действующие в социально-исторических условиях, очень далеких и очень отличающихся от российских условий 1917 года, и в силу этого отказавшиеся от модели превентивной революции ленинского типа — т. е. от вооруженного восстания, проводимого в целях насильственного захвата власти и совершаемого почти неожиданно, по типу государственного переворота. Они, однако, никогда не отказывались от своей конечной революционной цели, которая вовсе не обязательно должна достигаться насильственным путем и будет достигнута, согласно их тонкой, опутывающей политической стра-

тегии, полной торможения, компромиссов и умолчаний, лишь в конце долгого пути, долгого завоевательного похода сквозь современное общество с его демократическими институтами. Похода, который должен завершиться мирным приходом к власти. В общем, если не произойдет ничего непредвиденного, власть не нужно будет штурмовать и завоевывать силой. Нужно только терпеливо и постепенно продвигаться вперед, и власть, всё больше разрушаемая изнутри, почти сама собой отворится перед коммунистами.

Таким образом, если мы хотим проанализировать еврокоммунизм глубже, мы вынуждены провести различие между гипотезой некоего нового западного коммунизма, которого еще не существует в действительности, и новым способом прихода коммунизма к власти на Западе, вполне реально существующим и уже всю действующим, например, в Италии. Различие между «агрессией» и «давлением», между «захватом власти» и «приходом к власти», между старым русским способом превентивной революции, провалившимся два года назад в Португалии, и новым евролатинским способом, нацеленным на конечную революцию. Только в Чехословакии в 1948 г. оба эти метода с успехом объединились, когда без присутствия и помощи советских войск и без откровенных нарушений законности компартия Готвальда, после трех лет ожидания и «позиционной войны» (по раннему Каутскому), стремительно перешла к военным действиям (по позднему Ленину). Подобное же переплетение конституционной законности и революционного произвола имело место в Чили в 1970-73 гг. Потому-то, в частности, и потерпел неудачу чилийский опыт, что Альенде, скорее дилетант, чем специалист-подрывник большевистского типа, пытался провести свои радикальные нелегальные операции с помощью демократических средств: пускать их в ход и злоупотреблять ими было

бы куда легче, если бы за Альенде было не правительство меньшинства, а 80-90% избирателей и народная поддержка.

Сейчас осторожные еврокоммунисты более, чем когда-либо, склонны к парламентарно-демократическому методу Каутского. В последние 30 лет этот метод оказался особенно плодотворным в Италии, где наряду с многочисленными социально-экономическими элементами, напоминающими скорей малоразвитые страны третьего мира, мы наблюдаем значительно более сложную и утонченную общественную структуру, чем в Восточной Европе. Италия намного более, чем Франция, по причинам, которые я попытаюсь дальше разъяснить, является теплицей еврокоммунизма. В прошлом — иезуитский сталинизм Тольятти был выгоднее ИКП, чем грубый якобинский сталинизм Тореза во Франции. Ныне — расплывчатый и благоразумный еврокоммунизм Берлингуэра выгоднее ей, нежели грубый и атакующий еврокоммунизм Марше. В 1946 г. самой сильной из левых итальянских партий оказались на выборах не коммунисты, а социалисты. Но поход на завоевание доверия — от мягкого сталинизма Тольятти до дисциплинированного еврокоммунизма Берлингуэра — не останавливался ни на день. По мнению потерпевшего теперь поражение лидера итальянских социалистов Пьетро Ненни, ИКП выигрывает, проникая не только на территорию социалистов («собирая урожай на чужом огороде», сказал бы Тольятти), но и в сектор явно буржуазных избирателей.

Думаю, именно тут одна из причин, почему еврокоммунистические партии, по всей вероятности, ни сегодня, ни в ближайшем будущем не оставят удобного пути Каутского ради того, чтобы пуститься, как Куньял, в великую ленинскую авантюру. После неудачной попытки революционного переворота в Португалии и ввиду растущих избирательных успехов французских социалистов, у Марше не остается выбора:

либо подсоединиться к упряжке Берлингуэра, в надежде вновь повисить свои шансы, либо порвать с «общей программой», вернуться в сталинистское гетто и ждать своего часа, то есть столкновения, возможно — самоубийственного, на двух фронтах: с умеренной буржуазией и с социал-радикальным объединением Миттерана. Карильо, с тридцатилетним опозданием и на позициях существенно более уязвимых повторяющий тот монархический поворот, который проделал Тольятти в 1944 г. в Салерно, заинтересован не только в том, чтобы следовать осторожной берлингуэровской линии, но даже в том, чтобы представлять ее правое, более конституционалистское крыло. На всех троих отрицательный пример Португалии и особенно память о Чили действует как катализатор, усиливающий тот «страх власти», который, как кажется, охватывает западные революционные левые партии всякий раз, когда власть близка и достижима. (Типичным было гамлетовское поведение французских коммунистов, в 1936 г., в эпоху Народного Фронта.)

Но тут-то и начинается разговор по существу. Что такое еврокоммунизм на самом деле, помимо его тактики, которая на вид противоречит всему революционному прошлому, даже опровергает его? Легальные и мирные средства, которыми пользуется еврокоммунизм, чтобы осторожно, почти на цыпочках, проскользнуть к власти, — соответствуют ли они на самом деле демократическим и «плюралистским» целям? Каковы возможные колебания между конечными социалистическими целями, которые еврокоммунизм ставит перед собой, и целями реальными, которые он конкретно сможет осуществить, занизив свои претензии, или же которые он будет вынужден осуществить, быть может, вопреки собственным намерениям? До какой степени, следуя своим целям, еврокоммунизм действительно сумеет освободиться от советской опеки и советского шантажа? На все эти важнейшие

вопросы естественный противник итальянского коммунизма, христианско-демократическая партия, до сих пор не нашла ответа или, что еще хуже, ответила ошибочно. Это привело к печальным последствиям в политике и самой природе крупнейшей итальянской партии. Не случайно католический мыслитель Аугусто Дель Ноче, один из самых острых критиков еврокоммунизма, повторил знаменитую максиму Карла Шмитта о том, что политическую партию характеризуют не абстрактные принципы, а то определение, которое она дает своему противнику.

Я бы сказал, что сегодня такое «определение противника» является насущной необходимостью, и не только для христианских демократов, но и для всего итальянского общества в целом. И для новой испанской демократической интеллигенции, которая пробуждается после долгой зимней спячки авторитаризма. И для социалистической партии Миттерана. И для всей французской левой интеллигенции, которая уже накопила в 30-60-е годы тяжкую моральную ответственность оправдания тягчайших сталинских преступлений. И для американских средств массовой информации, ибо они с наивной доверчивостью способствовали укреплению образа нового коммунизма, освободившегося от пут «пролетарского интернационализма». Нет ничего опаснее и самоубийственнее, чем дремать в привычном невежестве и тешиться иллюзиями, смешивая свои благие пожелания с двусмысленной и всё еще неясной природой еврокоммунизма. Мы не должны повторять ошибок американской и английской прессы, которая в 20-е годы открыла кредит фашизму Муссолини.

Если международное положение не претерпит резких перемен, серьезно грозящих европейскому равновесию, три крупнейшие западные компартии, как я уже сказал, вероятно, будут и дальше совершенствоваться

технику безболезненного проникновения в недра западных обществ. Они попытаются еще более тесно и последовательно увязать «социал-демократическую» тактику Карла Каутского с тотальной стратегией Антонио Грамши, подлинного теоретика той «конечной революции», к которой сегодня стремятся евромарксисты, медленно завоевывая общество, а не государство и почти открыто выступая против ленинской «превентивной революции». Согласно этой широкой и далеко идущей программе, обретающей почти философский смысл и выстроенной кропотливо, с практическим реализмом и оперативным оппортунизмом, позаимствованным не только у Ленина, но и у Макиавелли и иезуитов, — государство остается отдаленной и, я бы даже сказал, второстепенной целью. Проблема государственной власти, конечно, актуальнее для ИКП, чем для ФКП; для испанской же компартии эта проблема вообще еще не встала.

Но посмотрим, как Грамши, один из основателей итальянского коммунизма и почти общепризнанный предшественник и наставник еврокоммунистов, представлял себе развитие своих теорий об обществе. О Грамши-философе можно думать что угодно. Можно считать его крупной величиной — так думает католик Дель Ноче, так же думал неверующий демократ-антифашист Никола Кьярамонте; можно отрицать всякую оригинальность философии Грамши, помещая его среди эпигонов марксистской эклектики. Куда труднее отрицать влияние, оказанное его социально-историческими идеями, независимо от их абсолютной ценности, на выработку практической стратегии власти, которая с 1944 года — сначала Тольятти, а затем Берлингуэром — реализуется всё успешнее.

Если рассмотреть всё творчество Грамши (полное, правда, слишком туманных положений и слишком ясных противоречий) в свете тридцатилетней стратегии ИКП, то оно предстанет перед нами направлен-

ным на одну-единственную четкую цель: сделать компартию — с помощью долгого и сложного внедрения как в общество, так и в культурно-историческое развитие — наследником и единственным вершителем истории. Хотя Грамши не был ни великим философом в полном смысле этого слова, ни подлинным историком, а скорее лишь умелым «культурфилософом» (как говорят немцы), несомненно, однако, что он сумел придать значительную историко-философскую наполненность своим конкретным наблюдениям над итальянским обществом, как выглядело оно в его революционной оптике первых десятилетий нашего века. Он поставил тогда вопрос (и дал на него развернутый ответ): как сделать, чтобы существующее положение постепенно менялось в пользу коммунизма, а не других социально-политических сил в стране?

Главное в революционном предвидении Грамши — замена ленинской доктрины захвата государственной власти доктриной постепенного идеологического заражения общества. Согласно его анализу, молодое буржуазное государство, которое партии в неопределенном будущем предстоит подчинить изнутри, уходит своими корнями в старый итальянский католицизм, хотя жизнь и вместе с ней современную либерально-атеистическую идеологию дало ему Рисорджименто. Поэтому партия должна частично использовать либерально-буржуазную идеологию, но опираться на более глубокую, католическую подпочву итальянского общества. Не случайно в 1919 г. Грамши приветствовал создание народной партии, предшественницы нынешних христианских демократов. В этом вступлении католических масс на политическую сцену, в этом «превращении духа в брэнную плоть», в этом «католицизме, выходящем из закутка иерархии и становящемся толпой», он видел начало «самоубийства». Начало конца Церкви и самой католической демократической партии, которая, выйдя из церковного лона,

подвергла себя непредсказуемым «законам исторического развития и преобразования, присущим любому человеческому институту». За два года до создания компартии, говоря о самоубийственно роковом пути католицизма, Грамши уже наметил политические предпосылки и скрытую суть исторического компромисса: «Католицизм начинает конкурировать уже не с либерализмом и не с мирским государством — он обращается, как и социализм, к массам, и социализмом он будет побежден и окончательно выброшен из истории».

Мы видим, что вопрос о буржуазном государстве, о его завоевании и разрушении его аппарата, об исчезновении либеральной идеологии отступает у Грамши на второй план. На первый же выходит католицизм — как явление родственное, конкурентоспособное и как бы диалектическое по отношению к социализму. Позже, после создания компартии, культурная стратегия Грамши дополнительно проясняется. Его философия всё последовательнее ратует за постепенное религиозное и политическое опустошение католического мира изнутри, которое составит лучшую предпосылку «национального пути» к коммунизму — или, как говорит Дель Ноче, «перехода от старой Церкви к новой». Вопрос о государственной власти встанет гораздо позже. Она и так неизбежно рассыплется и без сопротивления сдастся новой церкви, которая разрушит и поглотит старую. Тогда-то итальянский коммунизм — конкурент и одновременно наследник католицизма — вступит в свою вторую и последнюю историческую стадию, стадию «конечной революции».

Стратегия конкуренции за гегемонию взамен военного захвата власти порождает два взаимосвязанных тезиса. Во-первых, культурная надстройка буржуазного государства: крочиевская идеалистическая философия и либеральная идеология — должна быть перевернута «с головы на ноги» (в марксистском смысле) и

доведена до крайних антирелигиозных выводов (силами радикально-прогрессивной интеллигенции под ненавязчивым руководством компартии), с тем чтобы разлагать веру и католическую психологию масс. Во-вторых, причем одновременно с первым, грамшистская партия должна стимулировать и противоположный процесс разложения: использовать католиков в борьбе против буржуазного государства, пока не погибнут на медленном огне и те, и другие. Вызывать внутри государства брожение всех глубочайших антигосударственных ферментов (антирисорджиментных, протестантских, христианско-народнических), манипулируя ими, ликвидируя их религиозный характер с помощью грамшистского неомарксизма, внедряемого в католическую партию и особенно в среду католической интеллигенции. В Италии стало уже общим местом утверждать, что у католиков нет чувства государства. Это отсутствие чувства государства, глубокий инстинкт недоверия, присущий многим католическим деятелям, коммунисты постоянно и очень ловко обостряли на протяжении всех тридцати послефашистских лет. И христианские демократы не столько «занимали» всё это время государственный аппарат, сколько разрушали его, как очевидно сегодня.

Сам Грамши, умерший в 1937 г., не предвидел, что в 1977-м его предсказание неизбежного самоубийственного конца католицизма после того, как тот рискнул выступить на большую политическую сцену, получит свое почти завершённое историческое подтверждение. Кризис буржуазного государства и кризис католицизма совпали почти точно. Стоит еще раз процитировать Аугусто Дель Ноче, который как никто другой постиг суть трагедии итальянского католицизма в ее двойной версии — религиозной и политической: «Никогда еще не было в Италии столь глубокого религиозного кризиса и столь радикальной смены ценностей — тех ценностей, что основаны на тысяче-

летней метафизической и религиозной традиции; и всё это несмотря на то, что политическая власть уже тридцать лет в руках католиков».

Из социологизированного грамшиевского неомакиавеллизма вытекает программный тезис общего порядка, годный сегодня для всех трех еврокоммунистических партий. Если медленное пожирание противника важнее его немедленного уничтожения и если государство — последний кусок, который легко будет проглотить после интенсивной идеологической обработки сознания в школах и в средствах массовой информации, есть смысл отказаться от утопического ожидания ленинской превентивной революции. Штабы трех партий уже понимают, что такая революция на Западе почти наверняка обречена на неуспех, — тем больше оснований, погрузившись в глубь национальной и социальной жизни, стимулировать изнутри сложного западного мира революционное развитие широкого стратегического размаха, не прибегая к большевистскому насилию или инквизиторским преследованиям противника.

Поле битвы — общество, а не государство. Здесь нужно навязать неприятелю долгую и изматывающую позиционную войну. В этом грамшизм из явления специфически итальянского перерастает в науку революционной тактики, пригодную для всех — не только латинских и католических — стран Западной Европы. Нужно постоянно иметь в виду этот двойной аспект социально-политических теорий грамшизма. Первый — собственно итальянский, с диалектическим соревнованием коммунизма и католицизма; второй — общеевропейский, с приматом общества над государством, культуры над экономикой, интеллигенции над рабочими, выражаясь марксистским языком — надстройки над базисом. Мы отметили, что Грамши исходил из идеалистической философии Кроче, которую он перевернул «с головы на ноги», чтобы на почве

итальянской культуры прийти к историческому материализму Маркса-Энгельса. Но в конце этого процесса, полного неожиданных отклонений и непредвиденных поворотов, мы находим уже не перевернутого Кроче, а перевернутого Ленина. В самом деле, что такое эти грамшиевские теории о завоевании общества, как не опрокидывание ленинской схемы революции? Можно ли еще говорить об ортодоксальном марксизме-ленинизме? Или же следует признать правоту Бордига, отца итальянского коммунизма, который в пику Грамши хвалился тем, что никогда не читал ни строчки Бенедетто Кроче, и обвинял Грамши в «идеалистическом» искажении марксизма?

До сих пор, в соответствии с работами и революционной практикой Ленина, принято было считать основным предварительным условием коренной экономической перестройки общества захват государственного аппарата. Хоть Ленин и подверг Маркса волюнтаристской обработке, всё же он был верен социально-экономической концепции Маркса. У Грамши, в отличие от Маркса и Ленина, принцип приоритета экономики был расшатан и существенно модифицирован. «Гражданское общество» Маркса — это комплекс экономических отношений, оно тождественно «базису». «Гражданское общество» Грамши — комплекс культурных, или, как говорят марксисты, «надстроечных» отношений. Эта переоценка одной из важнейших категорий классического марксизма, этот примат «надстройки», отождествляемой с обществом, дает ряд следствий политического характера, которые, как мы увидим, окажутся решающими в грамшиистской стратегии ИКП. Когда акцент в тактике и стратегии был перенесен с государства на общество, изменилось и понятие революционной зрелости. По Марксу и Ленину, революция назревает только в результате экономических конфликтов, раздирающих общество изнутри. По Грамши, революция сначала назреет как

результат конфликтов «идейных». Не случайно еще в молодости на него произвел особое впечатление знаменитый парадокс Энгельса о том, что «пролетариат — наследник классической немецкой философии».

Чтобы завоевать общество прежде, чем государство, вклад средних слоев интеллигенции становится столь же, если не более необходим, как и поддержка рабочего класса. Впрочем, «идеалистические» философские теории Грамши и приоритет, который он отдавал политике в области культуры, — всё это не могло не привлечь к компартии симпатий широких слоев итальянской интеллигенции. Применяя грамшиевскую политическую философию на практике, Тольятти и Берлингуэр превратили ИКП в массовую интеллигентскую партию, какой не было еще ни среди рабочих партий, ни среди буржуазных. Сегодня ИКП в социологическом отношении — смесь пролетариата и средней буржуазии. Она — ленинская в своих низах, состоящих из рабочих, и грамшистская в интеллектуальной надстройке. Эта последняя всё сильнее влияет на выработку партийной линии, уже открыто нацеленной на исторический компромисс, к которому ленинские низы относятся с глубоким недоверием. Во всяком случае, в нынешней фазе сближения и соглашения: политического с католиками, культурного со средними слоями, экономического с предпринимателями — грамшистская коммунистическая интеллигенция оказывается как никогда полезной партийному руководству, перед которым уже маячит скорое завершение и осуществление программы, которой партия следует более полувека. Если в 17-м году для штурма Зимнего дворца были необходимы рабочие, солдаты и матросы, то сейчас на Западе оказываются необходимыми интеллигенты — чтобы завершить разрушение двух традиционных направлений европейской культуры, религиозного и либерального, и чтобы завоевать школу, радио, телевидение, печать.

Штурм культурных надстроек длится уже 50 лет во Франции, стихийно и неосознанно, тридцать — в Италии, сознательно и преднамеренно, и совсем пока еще недолго и весьма наивно — в Испании. И труды Грамши, по-настоящему прочтенные лишь после его смерти, дают коммунистическим партиям трех латинских стран органичную общую идеологию и осознание специфики того революционного процесса, в который они вовлечены. Так совершилось (особенно во Франции и Италии) то, что итальянский Нобелевский лауреат Эудженио Монтале назвал «своеобразным подземным ядерным взрывом» в общественном сознании, обрабатываемом средствами массовой информации и левой католической, радикальной и социалистической интеллигенцией, действующей под сенью коммунистической культурной гегемонии. Это типично грамшиевское явление — существование широких и точно не определимых левых сил, часто буржуазного толка, которые поддаются психо-идеологическому коммунистическому порабощению и в массовой субкультуре приводят в исполнение план установления господства компартии, — очень удачно определено Жаном-Франсуа Ревелем в книге «Тоталитарный соблазн» двумя выразительными терминами: «*stalinisme élargi*» и «*pidgin-marxisme*»*.

Достаточно взглянуть на некоторые статьи, публикуемые в парижской «Монд» или миланской «Коррьера делла сера», двух крупнейших буржуазных газетах Франции и Италии, и увидеть, что практические результаты политической теории, которая в моем описании могла показаться слишком хитроумной и академической, на самом деле уже налицо, что они

* Расширенный, распространяющийся — быть может, точнее «расползающийся» (как тесто) сталинизм. Второй термин образован по модели «пиджин-инглиш» — разговорная речь многоязычных гаваней и торговых путей, примитивно использующая английский язык. — Прим. ред.

огромны и разрушительны. «Pidgin-marxisme», в соответствии с предсказаниями и желаниями Грамши, уже глубоко проник в сознание рядового европейца, уже стал «здравым смыслом», общепринятым мнением, метром, которым меряют ценности и оценивают сложные социально-политические ситуации современного мира.

Конечно, в общеисторическом и культурном плане против Грамши можно выдвинуть очень серьезные упреки. Возьмем хотя бы одну из самых типичных и популярных его идей: «организация поддержки и согласия» вокруг «современного Государя», т. е. компартии. Сколько чернил истрачено, чтобы объяснить и восхвалить то, что давно уже было задумано и «организовано» накануне французской революции — энциклопедистами, накануне русской — радикальной интеллигенцией. К тому же, по другую сторону тюремных стен, за которыми Грамши размышлял над соотношением поддержки-признания и революции, фашизм осуществлял его же теорию, только более наивно и грубо, т. е. менее утонченно, иезуитски и тотально. Ничуть не умаляя личной нравственной честности Грамши, его боевой закалки, его стоического и страшного одиночества перед лицом фашизма и перед лицом товарищей по Коминтерну, я думаю, что более точно и ясно определить его место в истории — в конечном счете значит лучше понять и его революционное значение.

Сегодня грамшиевское учение о культурной гегемонии компартии и о расширении народного согласия вокруг нее становится особенно опасным, поскольку осуществляется в эпоху, совершенно иную, чем эпохи французского Просвещения или русского народничества и раннего социалистического движения. Энциклопедисты и народники распространяли свои подрывные идеи с помощью тех жалких средств информации, которыми располагало их время. Тогда не имели еще и

понятия о революционной роли, которую сыграют кадры интеллигенции, проникшей в сложные аппараты средств массовой информации XX века. Почти всеобщая и возрастающая грамотность, общеобязательное школьное обучение, рост мощных средств массовой информации придали грамшиевской идее согласия, не новой и не оригинальной самой по себе, небывалый размах и взрывчатую силу.

Сегодня во Франции и Италии связь между современной организацией средств массовой информации и грамшиевской теорией гегемонии стала как никогда тесной и осознанной. Прочитую одного миланского социалистического издателя:

«Теории Грамши кажутся специально рассчитанными на те громадные возможности, которые созданы средствами массовой информации. В современном мире то, что не распространено прессы или телевидением, как бы и не существует, поэтому контроль над ними равнозначен творению истории, т. е. равнозначен настоящей революции».

И в этом Грамши был человеком своего времени. В самом деле, своими рассуждениями философского, мировоззренческого и, я бы даже сказал, томистского, т. е. тотализирующего характера он дал систематическое обоснование той стратегии овладения средствами массовой информации, которую другие его современники более «журналистского» склада: фашист Муссолини, нацист Геббельс, коммунист Мюнценберг — уже применяли на практике, и с успехом.

Грамши в тюрьме Тури посвящает свое одиночество размышлениям над явлением, которое теперь уже существует в массовых обществах нашей эпохи, подверженных манипуляциям. Существовало оно и в фашистской Италии, но в форме дилетантской, неполной, фрагментарной. Я говорил о сложных отношениях Грамши с католическим миром и либералами. Рассмотрим бегло его отношения, тоже двусмысленные и поливалентные, с фашистской культурой. Знаме-

нательно, что Грамши никогда не упрекал фашизм в том, что он тоталитарен. Скорее наоборот: он обвинял фашизм в том, что он недостаточно тоталитарен. Как Грамши критиковал Кроче за то, что тот не довел своего идеалистического буржуазного историзма до крайних антирелигиозных выводов, так, хотя и не впрямую, он критиковал Муссолини за то, что тот не преобразовал в радикально-тоталитарном духе старый государственный аппарат. Компромиссы Муссолини с Церковью, с крупными промышленниками, с финансовым капиталом казались Грамши статичными соглашениями, направленными лишь на сохранение и укрепление режима и противоречащими изначальным революционным надеждам фашистского движения. Не случайно немецкий марксист-диссидент Христиан Рнхерс, автор интереснейшей работы о Грамши, считает, что грамшизм и тольяттизм — историческое воплощение союза между коммунизмом и левым, т. е. наиболее авторитарным, фашизмом. И очень точно замечает Георг Лихтгайм: «В тюремной камере, куда его запер Муссолини, Грамши выработал доктрину еще более тоталитарную, чем доктрина его тюремщиков».

С некоторых пор в кругах левой итальянской и европейской некоммунистической интеллигенции ведется дискуссия, которая мне кажется интересной своими критическими пассажами, хотя в целом праздной. Ставится вопрос: следует ли рассматривать идеологию Грамши как тоталитарную или как открытую для «плюрализма» и способную эволюционировать в его направлении? Подлинная суть этой идеологии, независимо от ее противоречивых возможностей, мне кажется, очевидна из тех намеков, что содержатся в грамшиевской критике несовершенства фашистского тоталитаризма. В традиционном католицизме скорее, чем в фашизме, Грамши видит реализованной ту тотальную гармонию, к которой он стремился. И завет его (успешно выполняемый) — работать на почве ка-

толицизма, бросать там семена критики и сомнения, вызывать внутреннее брожение, доводить до крайних логических последствий десаκραментализацию католицизма — и поставить католиков на службу коммунистической гегемонии. Просвещенная, не репрессивная диктатура партии не грубо противопоставит себя католической Церкви, но мягко поглотит ее, перехватив у нее господство, только в секуляризованном, а потому усложненном варианте. Историческая роль коммунизма — и революционное развитие, и реставрация. Партия, ставшая абсолютным повелителем душ благодаря идеологической инфильтрации надстроек «гражданского общества», повторит чудо единства, достигнутого Церковью в Средние века. Реализация почти церковной целостности и тотальности, консервативная революция — вот конечная цель Грамши.

Грамши, несомненно, был тоталитарен. Впрочем, он это слово употреблял всегда в положительном смысле (и итальянские правые ввели его тоже как положительное!). В 1924 г. Муссолини, видоизменив неологизм философа Джентиле, впервые заговорил о «тоталитарной воле» фашистского государства, которая отличает его от государства либерального. Грамши читал Джентиле внимательнее и понимал его глубже, чем Муссолини, и первым провел различие между «отрицательным правым» тоталитаризмом и «положительным левым». В «Тетрадах» он отстаивает «тотальный» характер марксизма с его единством теории и практики и в принципе исключает для марксизма возможность «вести диалог» с конкурирующими мировоззрениями: он от природы — средство завоевания чужих позиций, исполненный нетерпимости инструмент перехода от старой гегемонии к новой.

Но, говоря о современном тоталитаризме, не следует останавливаться лишь на двух известных и наиболее совершенных моделях тоталитарного деспотизма: гитлеровской и сталинской — и менее удачной

муссолиниевской. Возможна и иная модель, пока еще зародышевая, основанная скорее на согласии, чем на терроре, опирающаяся скорее на современную всемогущую технику массовой информации, чем на концлагеря, на моральную изоляцию оппозиционеров, чем на их физическое уничтожение. Если католический тоталитаризм, постепенно смягчаясь и не теряя единства, смог перейти от инквизиции к учительному господству, почему бы изощенный коммунизм не мог пойти по такому же пути, но еще более эффективно? Черты этого нового коммунизма уже отчетливо проступают в Италии и Франции. В этих двух странах мы видим назревание современного западного тоталитаризма.

Одна из его характернейших черт, которую я в моем анализе Грамши затронул лишь частично, — мысль о неизбежности «конечной революции». Этот тип революции, еще невиданной, может быть осуществлен в два приема. Первый мы наблюдаем сегодня — это марш еврокоммунистических партий к власти, а второй и последний этап еще впереди. Современная «конечная революция», к которой стремятся еврокоммунисты, может на вид отличаться не только от превентивной революции, но и от всякой революции вообще. Отказ от немедленной революции делает еврокоммунистические партии похожими на нормальные социал-реформистские партии, а тоска по всё отодвигаемой полноте тоталитаризма — на партии утопистские. На самом же деле — они не то и не другое.

Но сегодня важно уже не «тоталитарен ли Грамши?», а «тоталитарен или нет нынешний еврокоммунизм?». Следует искать ответ, который охватывал бы все стороны проблемы: понятие «плюрализма»; теорию власти; планы национализации промышленности; внутреннюю структуру партаппарата; наконец,

теорию и практику интернационализма — как в отношении западного мира, так и Советской империи.

Начнем с «плюрализма». Это самая неоднозначная часть запутанной доктрины, с помощью которой еврокоммунисты сегодня стремятся усыпить бдительность других партий внутри Италии и успокоить внешних союзников страны. «Плюрализм» — вообще понятие расплывчатое, и до сих пор не ясно, не разумеют ли под ним коммунисты одну формальную «многопартийность», которая может ведь терять всякое реальное содержание, как в Восточной Германии или Польше, где она лишь завеса «диктатуре пролетариата». Еврокоммунисты же вообще любят употреблять слово «плюрализм» даже там, где проще и точнее было бы сказать «свободная система», «многопартийная система», «соблюдение принципа демократической смены власти». Особенно у итальянских коммунистов этот термин исполнен духа скорее философского, чем политического: туманная теория будущего и ни одной гарантии демократии в настоящем.

Между тем, структура самих партий и внутрипартийная жизнь по-прежнему определяются принципом «демократического централизма», т. е. отнюдь не плюралистичны. «Идеологическое единство, — писал Грамши, — необходимо партии, чтобы она в любой момент была готова выполнить свою роль вождя рабочего класса. Идеологическое единство — источник силы партии и ее политической действенности. Оно необходимо, чтобы сделать партию большевистской». Сегодня еврокоммунистические идеологи говорят: «плюрализм — это форма, а не цель», «нельзя сводить плюрализм к абстрактной демократической игре как самоцели» (статьи Азора Розы и Акилле Оккетто в «Унита», ноябрь-декабрь 1976). А если от слов перейти к делам, мы увидим, как уже сегодня еврокоммунисты осуществляют свой долгий поход сквозь демократическое общество, в каких терминах идео-

логической и политической монополии они мыслят.

Я мог бы напомнить о том, как интеллектуалы, близкие к ИКП, провели цензурную правку некоторых неудобных высказываний А. Д. Синявского на итальянском телевидении; как пришлось уволиться из «Коррьере делла сера» нескольким журналистам в знак протеста против действий редакторов-коммунистов, искореживших статьи о ленинской агрессии Куньяла; как протестовали авторы книг, подвергшихся цензуре в издательствах, близких к коммунистической культурной политике; какое представление об истории и обществе дают учебники для начальных и средних школ, внушая, в частности, школьникам, что они «имели несчастье родиться на Западе, где капитализм пьет людскую кровь», и что «спасение только в коммунизме».

Как видите, когда я говорил о теориях Грамши в связи со средствами массовой информации или о его доктрине «организации согласия», речь шла вовсе не об абстрактных вещах. Приведенные примеры того, как на практике воплощается теория завоевания общества с помощью прогрессивной или криптокоммунистической интеллигенции, — это лишь несколько типичных проявлений широкой стратегии, направленной на моральную «финляндизацию» культуры. Конечная цель стратегии — полное поглощение средств массовой информации, издательств и школ.

Эта стратегия демонстрирует нам, каков этот будущий «плюрализм» в области культуры, а черты будущего государственного устройства вырисовываются в традиционной ленинской структуре партаппарата и парторганизаций. Жестко компактный, построенный по военному принципу аппарат (где нет места ни оппозиции, ни различным течениям, ни критическим голосам) может служить либо для подготовки революции, либо для создания тоталитарной

модели «контробщества», которая после завоевания власти распространится на всю страну.

Еврокоммунизму могла бы повредить столь одиозная структура партии, если б его конечной целью не было установление абсолютного и необратимого господства. «Либеральные уступки» коммунистов — всегда обещания, а не действия, всегда декларации, а не их реальное воплощение, всегда касаются будущего, а не настоящего. Мы получили бы конкретное доказательство их добрых намерений, их либеральной воли уже сегодня, если б они демонтировали или хотя бы модифицировали ленинско-сталинский механизм своего аппарата. Что же будет, когда столь эффективная коммунистическая организация, пока занятая лишь разложением и заражением общества, превратится в государственную власть?

Когда за границей говорят, например, о коммунистическом муниципальном управлении в некоторых областях Италии и восхищаются эффективностью, дисциплиной, быстротой и точностью работы — забывают простую вещь: огромное преимущество монолитных централизованных организаций в условиях демократического общества, полного контрастов, конфликтов, конкурирующих сил. Философ и бывший коммунист Лучо Колетти определяет «реальный механизм власти в компартиях» следующим образом: «...не съезд избирает ЦК, а ЦК назначает съезд, не ЦК избирает президиум, а президиум назначает ЦК, не президиум избирает политбюро, а политбюро назначает президиум». И преимущества подобной тоталитарной организации в открытом обществе сравнимы с преимуществами, которые получает гигантская экономическая монополия внутри либеральной системы, основанной на законах свободной конкуренции, — мощная монополия, способная нечестными средствами парализовать эту конкуренцию.

В моменты относительного спокойствия западные компартии, правда, обрастают своего рода «шизофреническими наростами»: вокруг милитаризованного ленинского ядра партии возникает буржуазный наплыв, не пролетарский, не революционный, склонный всерьез поверить в «либеральные» заявления коммунистических руководителей. Отсюда и трудности, которые претерпевает ИКП в своем медленном продвижении к власти: сталинистские низы и советские идеологи боятся, что каутскианская тактика может превысить критический уровень и перейти в стратегию. Вот почему, несмотря на огромную динамическую мощь, итальянская и французская компартии вынуждены продвигаться медленно, с остановками и зигзагами. Это напоминает искусственное замедление скорости нейтронов: чтобы разрушить атомное ядро, они должны проходить сквозь него не очень быстро. А иначе это воспринимается как проявление доброй воли и готовности сотрудничать с существующей системой.

Вспомним, что сам Берлингуэр, воплощение нового еврокоммунистического мифа, не упускает случая подчеркнуть, что его партия остается и останется ленинской партией. Многие порожденные еврокоммунизмом иллюзии потускнели, когда Берлингуэр, выступая 31 января 1978 г. перед низовыми партработниками, заявил (заявил то, что они и хотели услышать): коммунисты всегда останутся коммунистами; они никогда не откажутся от своего существа и своего прошлого; узы, связывающие их с Советским Союзом, неразрывны, несмотря на вынужденную критику некоторых деталей советской системы; «мы говорим «нет!» тем, кто хотел бы привести нас к разрыву с другими коммунистическими партиями».

Где, однако, водораздел между парламентской тактикой раннего Каутского, которой сегодня прилежно следуют еврокоммунисты, и подлинной социал-демократической стратегией позднего, порвавшего с

Лениным Каутского? Он, конечно, не в постоянно изменчивых программах, но в концепции власти. Главным в позднем Каутском, выступившем против партии ленинского типа, было:

«Партии и классы не должны непременно совпадать. Один и тот же класс может иметь несколько партий, может оставаться господствующим классом и, однако, сменять правящую партию, если большинство его считает, что партия правила неудовлетворительно, а методика, предлагаемая конкурирующей партией, более целесообразна. Таким образом, правление партий меняется быстрее, чем господство классов. В таких условиях ни одна партия не гарантирована в сохранении власти: каждая должна смириться с тем, что может оказаться в меньшинстве».

Резко отвечая «ренегату» Каутскому, Ленин отрицал совместимость социализма и демократии и настаивал на том, что, раз пришедши к власти, правящая социалистическая, то есть большевистская, партия навсегда останется правящей. По этому пути безуспешно пустился в 1975 г. Альваро Куньял. Развив со своей маленькой, но действенной партией политическую активность, далеко превосходившую ее «избирательный вес», заключив своего рода исторический компромисс с революционной армией, Куньял стремился к необратимой революции русского типа. Французские еврокоммунисты его прямо поддерживали, а итальянские — не осудили с должной ясностью и даже, наоборот, воспротивились действиям немецких социал-демократов, оказывавших поддержку Соарешу. Взять власть в Португалии не удалось, теория и практика превентивной революции потерпели на Западе поражение, и некоторое время спустя сам Куньял начал перенимать демократическую тактику еврокоммунистических партий. Но и это всё не заставило еврокоммунистов занять более определенное отношение к центральной проблеме власти: еврокоммунизм взял у Каутского теорию демократического прихода к власти, но не демократического отказа от нее в

случае, когда большинство становится меньшинством.

Не смог еврокоммунизм (или не захотел) и дать убедительной критики советской «социалистической» системы. Карильо говорит о Советском Союзе такое, чего раньше и вообразить нельзя было, но символическое присутствие Пассионарии, навязанной ему из Москвы, обесценивает все эти заявления. А Пассионария, на этой третьей фазе своей карьеры, сразу же принялась приветствовать толпы испанцев поднятым кулаком и клясться в неколебимой верности испанского коммунизма Советской России.

Отношения с Советским Союзом и суждения о нем — вовсе не такая второстепенная проблема, как хотят нас заставить верить еврокоммунисты. От их отношения к власти в Советском Союзе, в конечном счете, может зависеть, как они распорядятся властью в Западной Европе. А по их заявлениям пока выходит, что, несмотря на отказ от идеи насильственной революции, воплощением социализма для них остается советское общество и советская власть. На XIV съезде ИКП Берлингуэр ухитрился даже заявить, что, в отличие от мира капитализма, в социалистических странах нет экономических кризисов. Единственная допустимая (и то ограниченная) критика еврокоммунистов в адрес современного восточного деспотизма касается гражданских прав и свободы высказывания. Социализм как таковой, даже лишенный демократии, не подвергается сомнению. И, в конце концов, по-прежнему верным остается принцип: чем меньше демократии, тем надежнее социализм.

Проблема еврокоммунизма очень четко поставлена Лешекком Колаковским. По существу, говорит Колаковский, еврокоммунизм не создал еще ни ереси, ни раскола. Несмотря на разрозненные, случайные и ограниченные дискуссии с идеологами советского блока, он продолжает заявлять о своем твердом намерении

оставаться внутри «движения». Однако, декларируя свою лояльность к коммунистическому движению, он оставляет советской стороне возможность в будущем отлучить его. Вместо того, чтобы порвать связи с ленинской ортодоксией, еврокоммунизм продвигается зигзагами: подправляет старые догмы, не отказываясь от них; критикует некоторые второстепенные аспекты советской системы, не подвергая ее в целом критике, и тем самым лишь дает поводы для возможного советского шантажа.

Берлингуэр и Марше отлично знают, что компактность их партий, столь эффективная в позиционной войне, которую они ведут внутри капиталистического мира, окажется хрупкой перед лицом колосса, в тысячу раз более монолитного, каковым является советский режим в целом: они отлично знают, что, даже придя к власти с наилучшими намерениями и желая независимости, они не смогут сохранить ее, если Советский Союз решит расколоть своим отлучением их партии, отделив пролетарские низы от верхушки. Они знают также, что не смогут долго править без поддержки профсоюзов, в которых советский миф всё еще прочен.

Западные коммунисты пользовались помощью профсоюзов в их тридцатилетней борьбе, изматывавшей капиталистическую систему, и поэтому они больше всех ответственны за кризис, который переживают сегодня Италия и Франция. Теперь конституционно-демократическая тактика, которой они придерживаются на пути к власти, привела к деликатному повороту: компартии и профсоюзы принимают на себя часть ответственности в деле оздоровления и частичного восстановления той системы, расшатыванию которой они сами же и способствовали. Но в этот-то момент и могут возникнуть разногласия между партией и профсоюзами. Чтобы преодолеть кризис, компартия у власти должна будет ввести серьезные огра-

ничения и умерить требования профсоюзов, которые она же десятилетиями поощряла. Ясно, что и по этой причине, взяв однажды власть, коммунисты ходом вещей будут вынуждены не оставлять ее, иначе они лишатся многих голосов на выборах, так как профсоюзы будут разочарованы политикой реставрации, которая противоречит традиционной их стратегии забастовок и систематического изматывания капиталистического общества.

Что касается самой капиталистической системы, то она, особенно в Италии, пережила серьезное изменение форм собственности в крупной промышленности. Италия сегодня — это практически страна со смешанной экономикой, национализированная промышленность составляет 60% общего потенциала. Итальянская экономика частично уже социалистическая — если дела пойдут и дальше так, в частном секторе не останется ничего, кроме ФИАТа, уязвимо и легко поддающегося шантажу, да еще распыленных мелких фабричек. Мы знаем, что повсюду, где национализация выходила за некоторые пределы, в экономике усиливались власть и произвол некомпетентных государственных чиновников, порождая авторитарное планирование — предпосылку политического тоталитаризма.

В Италии и так уже избыток как государственно-экономической бюрократии, утвердившейся в секторе национализированной промышленности, так и бюрократической интеллигенции — в средствах массовой информации, особенно на радио и телевидении. Этот новый класс, выросший под сенью христианских демократов, сегодня готов сменить хозяина, лишь бы сохранить свою власть и кастовые привилегии. Коммунисты отлично знают, что в этом классе технократов и интеллигентов, выращенных католиками, найдут своих многочисленных и влиятельных союзников. И тут тоже Грамши многое предусмотрел.

Чего не достает многим легкомысленным западным исследователям еврокоммунизма — так это понимания культурного значения и глобального смысла этого феномена. Поражает глубокое расхождение между их поверхностными высказываниями и более строгими суждениями тех, кто исходит из своего глубоко личного опыта жизни при коммунистическом режиме. Остается непреодолимой пропасть между некоторыми западными комментаторами, готовыми немедленно выдать западным компартиям аттестат демократической зрелости, и такими людьми, как, например, Фране Барбьери, изобретший слово «еврокоммунизм» и придавший ему ограничительный смысл, или Амальрик, спрашивающий, почему Берлингуэр ездит в Москву только для того, чтобы обниматься с Брежневым, а не встретиться с Сахаровым, или Колаковский, которому ясно, что коммунизм — не предмет интеллектуальных дискуссий, а всего лишь вопрос о власти, или Жорес Медведев, по мнению которого еврокоммунизм несомненно будет не только терпим, но даже поддержан Советским Союзом, или Максимов, который предупреждает нас не повторять ошибок и не верить в коммунизм по-европейски, как в двадцатые годы мы верили в фашизм по-итальянски.

В заключение хочу сказать, что вопрос, можно или нельзя верить в демократизм еврокоммунистических партий, сегодня не разрешим окончательно. Поспешные и поверхностные суждения не помогут нам предвидеть дальнейшее развитие этого феномена и решить задачу квадратуры еврокоммунистического круга, ибо еврокоммунизм сейчас не хочет быть коммунизмом восточного типа, но и стать социал-демократией западного образца не готов. На многообещающий проект Берлингуэра, унаследованный от Грамши и воспринятый другими европейскими компартиями, бросает тень один очевидный факт: партия, претендующая на роль руководителя в деле нацио-

нального обновления, остается партией со спертым воздухом, закрытой для дискуссий, не терпящей внутри себя инакомыслящих и подавляющей их потенциально террористическими методами «демократического централизма». Это по-прежнему модель «контробщества», задуманная Лениным три четверти века назад в совершенно особых обстоятельствах и оставшаяся с тех пор образцом для всех компартий как на Востоке, так и на Западе.

Но вопрос, который следует ставить уже сегодня и на который от еврокоммунистов надо добиваться ясного ответа: каковы глубокие, не случайные причины их эволюции? Мы уже имеем право ожидать от западных компартий не жалобных сожалений по поводу «ошибок прошлого», а решительного расчета с этим прошлым. А это значит — и разрыва с той «католической мудростью», согласно которой в линии ведущей еврокоммунистической партии, т. е. ИКП, не было ни эволюции, ни перемен, а был только «учет обстоятельств». Я хочу закончить словами бывшего коммуниста Лучо Колетти, обращенными им к ИКП: «Если руководители хотят, чтобы их линия была действительно воспринята партийными массами и чтобы массы прониклись новой стратегией, если они хотят, чтобы им верили внутри партии и вне ее, они должны набраться решимости и объяснить, чем отличается сегодня от вчера, а новая стратегия — не только от ленинизма, но и от идей Грамши. Такова цена серьезных политических сдвигов. А без этого неизбежно будет царить — пусть даже диалектическая — путаница противоположностей».

БЕТТИЦА Энцо родился в 1927 г. в Далмации. Итальянский сенатор от либеральной партии, соредатор «Джорнале нуово», член Европейского парламента. В 60-64 годах был собственным корреспондентом газеты «Стампа» в Москве. Автор нескольких книг, наиболее известная из которых «Московский дневник» переведена на многие языки.

ИСТОКИ

Михаил Геллер

ПОЭТ И ВОЖДЬ

Интерес к жизни и деятельности Сталина не перестает расти. В последние годы на английском языке появились три монументальные биографии Сталина, причем одна из них (Роберта Таккера) рассчитана на три тома. Переиздана на французском языке — с дополнениями — книга Бориса Суварина, остающаяся лучшей историей большевизма и порожденного им вождя.

Это на Западе. Не менее усердно «сталиниана» пополняется и в Советском Союзе, с той лишь разницей, что о Вожде Народов пишут не историки, а литераторы. Он — центральный персонаж пятитомной эпопеи А. Чаковского «Блокада», многотомного эпоса И. Стаднюка «Война», тетралогии К. Симонова. Пристальное внимание уделяет ему Ю. Бондарев в романе «Горячий снег». Тепло — и с каждым новым изданием все теплее — пишут о нем советские маршалы, которым посчастливилось воевать под руководством Верховного Главнокомандующего*.

Не только военная деятельность Сталина привлекает внимание советских литераторов. В «документальной повести» В. Колотова «Устремленный в бу-

* Никто из маршалов не вспоминает ныне разговоров, подобных тому, свидетелем которого был Владимир Дедиер, присутствовавший при беседе Сталина с Тито. Беседу прервал телефонный звонок маршала Малиновского, просившего танков для своего фронта. «Говоришь, у тебя нет танков? — ответил Верховный. — Моя бабушка, когда дралась, обходилась без танков. Пошевеливайся. Понял?»

душее», рассказывающей о великих заслугах председателя Госплана СССР, члена Политбюро Николая Вознесенского, ни на минуту не оставляет героя тот, кто его поднял, — Хозяин. «Вознесенский снял трубку и услышал хорошо знакомый — спокойный, размеренный, с заметным акцентом — голос...» Голос Сталина, неизменно спокойный и размеренный, не перестает поучать, давать советы, редко-редко — хвалить, очень часто — по заслугам наказывать, разоблачать врагов. В повести «Устремленный в будущее» даже не упоминается, что Николай Вознесенский — креатура Сталина — по прихоти Вождя был в 1950 г. расстрелян. В. Колотов ограничивается словами: «Слишком молод был Николай Александрович и для смерти: скончался он, когда не было ему еще и пятидесяти, в расцвете сил и таланта».

Нет сомнения, что сталинский поток в советской литературе начнет набирать силу в дни подготовки к предстоящему столетию со дня рождения Отца и Учителя.

Советские писатели ищут в Сталине модель советского руководителя, выделяя как черты наиболее положительные железную волю и беспощадность. Западные историки стараются выделить в характере Сталина черты, присущие руководителю *русского* государства и черты, свойственные *революционеру*. В поисках ключа они обращаются сегодня к психоанализу. Но поскольку личная жизнь Сталина остается тайной (не опубликован роман Владимира Горного «Палач и его мастер», рассказывающий, в частности, о сексуальной стороне жизни Вождя), историкам остается анализ деятельности политической.

Есть, однако, возможность заглянуть в душу Генерального секретаря, которой западные историки, не говоря уже о советских литераторах, пренебрегают. Сегодня можно собрать немалый материал, касающийся литературных интересов Сталина, его вкусов,

его отношения к литературе. Среди этих материалов письма, опубликованные в «Собрании сочинений», документы, ставшие известными после 1953 г., некоторые воспоминания.

«Сталин, — пишет Рой Медведев, — оставил очень большой «след» в нашей литературе». Советский историк имеет в виду след кровавый, истребление писателей и книг. Но Сталин не только уничтожал писателей и литературу. Он «строил» новую литературу, хотелось бы сказать — по своему образу и подобию. Отношение Сталина к литературе заслуживает пристального внимания. Изучение его вкусов позволяет историку обогатить новыми красками портрет Вождя.

Как и во многих других областях, учителем Сталина в области руководства литературой был Ленин. Мемуаристы оставили немало свидетельств о литературных вкусах основателя советского государства, которому даже Чехов казался «модернистом».

Посмотрев «Дядю Ваню» во МХАТе, Ленин говорит: «Какие прекрасные артисты, и театр какой прекрасный, но зачем они такие пьесы играют? Разве такие чувства надо будить? Надо звать к бодрости, к работе, к радости». Луначарский утверждал в свое время, что «из своих эстетических симпатий Владимир Ильич никогда не делал руководящих идей». Оказывается, что это не совсем так. Делал. В 1958 г. были впервые опубликованы письма Ленина, из которых следует, что он, твердо зная, какие чувства надо будить и куда звать, не ограничивался платоническим выражением своих «эстетических симпатий и антипатий». Он закреплял их административным путем. Сказав о поэме Маяковского «150 миллионов»: «вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность», Ленин добавил в записке руководителю Госиздата М. Н. Покровскому: «Нельзя ли это пресечь? Надо пресечь!».

Но это еще только 1921 год. Ленин пока только учится руководить «не только политикой, но также экономикой и культурой»*. Хотя сразу же находит чрезвычайно удачное слово: пресечь! Не случайно, что именно в это время появляется первый после революции «Список запрещенных книг», одним из авторов которого была Н. К. Крупская.

Начиная с середины 20-х годов, лучший из учеников Ленина постепенно, но все более очевидно, берет на себя верховное руководство литературой. Личное руководство. Выражается оно в разных формах. Это может быть одобрительная директивная критика, облеченная в железную формулировку, в готовую цитату. Например, о бездарнейшем из произведений Горького — поэме «Девушка и смерть» — Сталин заявляет: «Эта штука посильнее, чем «Фауст» Гёте. Любовь побеждает смерть». И «эта штука» немедленно включается в школьные программы и изучается — вместо «Фауста». После смерти Маяковского Сталин пишет: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи. Пренебрежение его памятью — преступление». И Маяковский немедленно вводится в школьные программы, ибо — был, есть и будет — «остается» — лучшим, талантливейшим... Слово «преступление», использованное в литературной оценке, звучало в устах Сталина достаточно красноречиво, чтобы никто не вздумал усомниться в достоинствах поэзии бывшего «бунтаря», ставшего — рядом с Горьким — потолком советской литературы.

В «Сочинениях» были впервые — двадцать лет спустя — опубликованы некоторые письма, в которых Сталин выражал свои литературные вкусы. Оценки Сталина, разумеется, распространялись доверительным образом и служили — уже в конце 20-х годов — охранной грамотой. Так, например, поэмы А. Безы-

* А. Додонова. Из воспоминаний о Пролеткульте. М., 1967.

менского «День нашей жизни» и особенно «Выстрел» Сталин называет в письме к автору «образцами революционного, пролетарского искусства для настоящего времени». Легко себе представить, какую силу приобретал в те годы писатель, объявленный образцом для нашего времени.

Среди писем «на литературные темы» особый интерес представляет письмо Феликсу Кону, написанное в июле 1929 г. и опубликованное в 1949 году. Значение этого письма заключается в том, что в нем Сталин — единственный раз — упоминает Шолохова. Важно, однако, не само упоминание автора «Тихого Дона», но контекст, в котором он упоминается.

После публикации А. Солженицыным (с его предисловием) работы советского литературоведа Д. «Стремя «Тихого Дона» и исследования Роя Медведева «Кто написал «Тихий Дон»?» вопрос об авторстве «Тихого Дона» был поставлен открыто. Однако ни Д., не успевший закончить своего исследования, ни Р. Медведев не упоминают письма Сталина. Это письмо — конечно, косвенно — помогает искать ответ на два вопроса. Первый — кто написал «Тихий Дон»? Второй — почему странные обстоятельства, связанные с появлением первого тома романа: литературная неопытность 23-летнего Шолохова, отсутствие у него необходимых знаний, отсутствие рукописи — не были замечены властями, а если были замечены — почему сомнения в авторстве были запрещены?

Помочь в поисках ответа на вопрос об авторстве «Тихого Дона» может странная ассоциация, по которой Сталину приходит вдруг в голову имя Шолохова. Сталин адресует письмо Феликсу Кону, деятелю Коминтерна, редактору «Рабочей газеты». Обстоятельства, вынудившие Генерального секретаря написать письмо, были необычными. В мае 1929 г. Сталин пишет предисловие к брошюре никому неизвестной журналистки Елены Микулиной «Соревнование масс».

Предисловие заканчивается словами: «Достоинство этой брошюры состоит в том, что она представляет простой и правдивый рассказ о тех глубинных процессах великого трудового подъема, который составляет внутреннюю пружину социалистического соревнования». Однако, едва брошюра вышла, выяснилось, что «правдивый рассказ» — беззастенчивая выдумка журналистки, высосавшей из пальца не только героев соревнования, но даже и цех, в котором шли «глубинные процессы», составлявшие «пружину» и так понравившиеся автору предисловия. Ф. Кон немедленно выслал все материалы о фальшивке Сталину, спрашивая, что делать, и предлагая немедленно изъять брошюру.

Сталин отвечает через два месяца, 9 июля 1929 года. Отвечает неторопливо, спокойно. В первом пункте письма он готов признать, что «т. Микулина... допустила ряд грубых неточностей, и это, конечно, нехорошо и непростительно. Но разве в этом дело?» Дело, оказывается, вовсе не в «неточностях», даже грубых. Дело «в общем направлении». И в этом же первом пункте, не кончив еще разговора о Микулиной, Сталин вспоминает Шолохова. Следует помнить, что сравнительно недавно — 29 марта 1929 г. — «Правда» опубликовала письмо в защиту Шолохова, подписанное А. Серафимовичем, Л. Авербахом, В. Киршоновым, А. Фадеевым и В. Ставским. Письмо, однако, не успокоило литературную общественность, причем среди тех, кто нападал на Шолохова, были влиятельные пролетарские писатели. Письмо Сталина, написанное в разгар споров об авторстве «Тихого Дона» и о самом романе, который многим коммунистам казался книгой контрреволюционной, было бесспорно голосом в споре. Брошюра Микулиной — была предлогом. Почему, однако, вспоминает Сталин о Шолохове, когда пишет о фальшивке? Ассоциация очевидна даже для тех, кто не изучал психоанализа.

Генеральный секретарь отвечает противникам Шолохова (хотя речь всё время продолжает идти о брошюре Микулиной): «...Шолохов допустил в своем «Тихом Доне» ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений... но разве из этого следует, что «Тихий Дон» — никуда негодная вещь, заслуживающая изъятия из продажи?»... Сталин выступает против изъятия из продажи как брошюры Микулиной, так и романа Шолохова, ибо ценность обоих произведений определяется «общим направлением». «Общее направление» — и в том, и в другом случае — Сталина вполне устраивает. Тем же, кто полагал, что «Микулина ввела в заблуждение тов. Сталина» (и — легко предположить — в ответ тем, кто предполагал, что Шолохов «ввел в заблуждение тов. Сталина»), он с высокомерной уверенностью в себе отвечает: «Не так-то легко ввести в заблуждение тов. Сталина». Сталин несомненно собрал достаточный материал о Шолохове, прежде чем назвать его в письме «знаменитым писателем нашего времени». Кто знает, впрочем, не было ли здесь иронии, ибо летом 1929 г. Шолохов, автор двух томов «Тихого Дона», еще в 1931 г. называемый в «Литературной энциклопедии» одними — «пролетарским писателем», а другими — «выразителем зажиточных слоев крестьянства», был знаменит прежде всего спором об авторстве романа.

Сталин частично отвечает на вопрос, почему он покровительствует Шолохову: «Я думаю, — пишет он, — что нам пора отрешиться от этой барской привычки выдвигать и без того выдвинутых литературных «вельмож»... Одна из наших задач состоит в том, чтобы пробить... глухую стену и дать выход молодым силам...»

Генеральный секретарь приступает к созданию собственных литературных кадров, к выдвижению писателей, преданных лично ему, всем обязанных только ему. Сталин начинает заселять своими людьми

собственный литературный Олимп. Как известно, однако, на Олимпе с древнейших времен царит жилищный кризис. Для того, чтобы разместить своих людей, необходимо было прогнать «чужих», уже сидевших на Олимпе, и не допустить никого из «несвоих».

Отрицательные оценки Сталина приобретают — уже в конце 20-х годов — силу приговора. И следует отдать ему должное: с удивительной прозорливостью умеет он подмечать все талантливое, незаурядное, независимое. Одной из первых личных жертв Сталина был, видимо, Михаил Булгаков, к творчеству которого Вождь питал странное влечение. Пристальное внимание Сталина привлекает Андрей Платонов. Прочитав рассказ «Усомнившийся Макар» («Октябрь», №9, 1929), Сталин устраивает скандал Александру Фадееву, одному из новых «олимпийцев». «Я прозевал недавно идеологически двусмысленный рассказ А. Платонова «Усомнившийся Макар», за что мне поделом попало от Сталина», — с гордостью пишет Фадеев Р. С. Землячке. Через два года Фадеев, ставший ответственным редактором «Красной нови», второй раз печатает Платонова, на этот раз повесть «Впрок». И снова «допускает ошибку». Сталин, не спускавший с Платонова глаз, прочитав повесть, пишет на полях: «подонки». Прочтя начертанную сталинской рукой «оценку», Фадеев, спасая себя, организует неистовую кампанию против Платонова, обзывая его «кулацким агентом», «дыщащим звериной кулацкой злобой».

Сталин понимал, что К. С. Станиславский не обладает фадеевской понятливостью и готовностью немедленно выполнять приказы, поэтому свой отзыв о пьесе Николая Эрзмана «Самоубийца» он облачает в форму чрезвычайно двусмысленную. Блестящая сатира Н. Эрзмана вызвала восторг Горького, Луна-

чарского*, ее начали готовить к постановке сразу три московских театра. В 1931 г. цензура пьесу запрещает. Станиславский посылает текст Сталину с просьбой разрешить постановку. Руководитель советской литературы отвечает руководителю МХАТа: «Я не очень высокого мнения о пьесе. Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна... Тем не менее я не возражаю против того, чтобы дать театру сделать опыт и показать свое мастерство. Не исключено, что театру удастся добиться цели». Но, видимо, Сталин был «не очень высокого мнения» не только о пьесе Эрдмана, но и о театре Станиславского. Поэтому он закончил письмо словами: «Культпроп ЦК нашей партии (тов. Стецкий) поможет Вам в этом деле. Суперами будут товарищи, знающие художественное дело. Я в этом дилетант».

«Супером» (любопытно, откуда Сталин взял это слово?) был назначен известный знаток «художественного дела» первый секретарь МК Л. Каганович. Нет нужды добавлять, что с такой помощью «дело» быстро пошло на лад и пьеса Эрдмана была запрещена.

При знакомстве с литературно-критической деятельностью Сталина бросается в глаза настойчиво повторяемая — лишь в несколько изменяющейся форме — мысль. В письме Безыменскому Сталин пишет: «Я не знаток литературы и, конечно, не критик». В письме М. Горькому: «Просьбу Камегулова** удов-

* Н. Луначарская-Розенель рассказывает в своих воспоминаниях, что нарком просвещения, «выслушав сатирическую комедию Николая Эрдмана «Самоубийца», ...смеялся чуть не до слез и несколько раз принимался аплодировать». Просвещенный знаток литературы А. Луначарский, отсмеявшись, подвел итог: «остро, затратно... но ставить «Самоубийцу» нельзя».

** Горький поддержал литературоведа Анатолия Камегулова, просившего Сталина написать предисловие к своей книге. Сталин как бы чувствовал, что лучше отказать, — в 1937 г. Камегулов был расстрелян.

летворить не могу. Некогда! Кроме того, какой я критик, чёрт меня побери!» В цитированном выше письме Станиславскому Сталин говорит о себе: «Я в этом деле (т. е. художественном) дилетант».

Смысл очевиден: Сталин не хочет быть — критиком. Он хочет быть — творцом, писателем.

С творческими идеями Генерального секретаря мы знакомимся впервые в письме Билль-Белоцерковскому. Пролетарский драматург Билль-Белоцерковский доносил Сталину о чрезвычайном, совершенно ненужном и вредном успехе пьес Булгакова. Вождь успокаивал «своего человека», объясняя, что пойдет только одна пьеса — «Дни Турбиных», все другие будут запрещены. В том числе и «Бег». «Впрочем, — добавлял Сталин, — я бы не имел ничего против постановки «Бегга»*, если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР...»

Можно думать, что если бы Булгаков взял в соавторы Генерального секретаря, «Бег» был бы «улучшен» и украсил все сцены страны. Предположение это совершенно реально не только потому, что через три десятилетия после указаний Сталина «Бег», как он советовал, был «улучшен» за счет «изображения внутренних пружин» и экранизирован, но и потому, что другой драматург, Александр Афиногенов, угадавший страстное желание Сталина служить музам, предложил ему соавторство. И предложение было принято.

После бешеного успеха пьесы «Страх» А. Афиногенов пишет в 1933 г. новую пьесу — «Ложь». Ее начинают репетировать 300 театров. Понимая, однако, взрывчатость темы, драматург просит Сталина пройти по тексту «рукой мастера». Критик А. Карага-

* Пьеса Булгакова, написанная в 1928 г., была запрещена если не по инициативе Сталина, то, несомненно, с его ведома.

нов, готовя книгу «Драматургия Александра Афиногенова», получил возможность познакомиться с правкой, проделанной Сталиным. Караганов привел в своей книге лишь часть замечаний и собственноручных поправок Сталина, сделанных на полях афиногеновской рукописи. Но и этого достаточно для того, чтобы судить не только о направлении, которое он — собственноручно — хотел дать советской литературе, но и о литературных амбициях, пожиравших его душу. Сталин, пишет А. Караганов, часто вычеркивал не понравившиеся ему сцены, монологи, реплики, в ряде случаев на место вычеркнутых он вписывает новые реплики или просто делает вставки в афиногеновский текст. В первой же фразе «рецензии», написанной на полях рукописи, раскрывается мысль «соавтора», изложенная несравненным сталинским языком: «Тов. Афиногенов! Идея пьесы богатая, но оформление вышло небогатое». И Вождь, ставший Поэтом, «обогащает» идею, дает ей «оформление». Он хочет, чтобы всё было совершенно ясно: кто есть кто и кто — кого. Где можно и где нельзя, он дополняет текст словами: «подозрительно», «двурушничает». Он настаивает: каждый отрицательный персонаж должен иметь в противовес положительного, на каждую критическую реплику необходимо немедленно ответить положительной и жизнеутверждающей. Он настаивает: «Надо дать в пьесе собрание рабочих, где разоблачают Виктора, опрокидывают Горчакова и восстанавливают правду»*.

* Сталин имеет в виду *еще одно* собрание, несмотря на то, что вся пьеса только из них и состоит. Но августейшему соавтору не хватает — итогового, сводящего все счеты с врагами, не оставляющего сомнений в их судьбе. Так, например, как это сделал Горький в единственном своем произведении на «советскую тему» — пьесе «Сомов и другие». Реплика к финалу горьковской пьесы гласит: «На террасу входят четверо агентов ГПУ. Количество агентов постепенно увеличивается».

Замечания Сталина на полях, поправки, сделанные им в афиногеновском тексте, — это как бы лаборатория его мысли: примитивной, прямолинейной, подзрительной, безжалостной.

Афиногенову, несмотря на все его старания, не удалось исправить пьесу так, чтобы она удовлетворяла всем требованиям Сталина. Прочитав второй вариант «Лжи», Генеральный секретарь дал ему резко отрицательную оценку, но новых поправок уже не делал. Решил, видимо, что даже усерднейшие из советских драматургов понять его не могут, а самому писать пьесы — не было времени.

Отказ от продолжения работы над «Ложью» не означал, однако, отказа от творческой деятельности в области «художественного дела». Один из любимейших сталинских кинорежиссеров Григорий Александров рассказывает в своих воспоминаниях «Эпоха и кино» (выпущенных Госполитиздатом в 1976 г.) о благотворном воздействии сталинского вкуса на советскую кинематографию. И, в частности, приводит пример творческого вклада Сталина. Посмотрев очередной фильм Александрова, Генеральный секретарь сказал: «Картина хорошая». Однако покритиковал название. А поскольку Сталин всегда был за критику конструктивную, он прислал Александрову «листок с двенадцатью названиями, на выбор». К сожалению, Александров не указывает, были ли эти двенадцать названий написаны Сталиным лично, от руки, или продиктованы на машинку. Во всяком случае заслуживает особого подчеркивания факт предоставления автором названий художественной свободы режиссеру: он мог выбирать! Г. Александров выбрал название — «Светлый путь». И под этим выразительным заголовком фильм стал известен советским зрителям.

Впрочем, ирония в адрес заголовка не совсем уместна. Важно было не только, какой заголовок придумал

Сталин, важно, что он ощущал необходимость придумывать их.

Историки, анализирующие характер вождя, обращают недостаточное внимание на публикацию 21 декабря 1939 г., в 60-летие Величайшего Гения всех времен и народов, его стихов. Правда, подборка, опубликованная в тбилисской газете «Заря Востока», состояла всего из 6 стихотворений. Правда, что под ними стояли даты: 1895 и 1896. Правда, наконец, что подписаны стихи были псевдонимами: «И. Дж...швили» и «Сосело» и высказываются очень серьезные сомнения относительно принадлежности их перу «юного Сталина». Не имеет значения то, что Сталин не писал стихов. Имеет значение то, что он хотел писать стихи. И в 60-летнем возрасте велел опубликовать стихи «юного Сталина».

Эта неутолимая жажда «творческой» деятельности объясняет знаменитый и загадочный разговор Сталина с Пастернаком по поводу ареста Осипа Мандельштама в 1934 году. Надежда Мандельштам пишет: «Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и что с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный удар: почему Пастернак не обратился в писательские организации или «ко мне» и не хлопотал о Мандельштаме. И Сталин добавил: «Если бы я был поэтом, и мой друг-поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь»...»

«Если бы я был поэтом...» Мучительная просьба звучит в этих словах. Поэт хочет разговаривать с поэтом. Упорно настаивает Сталин на профессиональном характере разговора: «Но ведь он же мастер, мастер?» — допытывается он о Мандельштаме. Но поэт Борис Пастернак не понял поэта Иосифа Сталина.

Вождь достиг власти, какой не знал ни один тиран в истории. В его руках были тела и души жителей ве-

ликой страны. Он осуществил мечты о славе и убил всех своих врагов. И только одно ему не удалось: он не мог стать поэтом.

Издательство YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne Ste-Geneviève, 75005 Paris

НОВИНКИ

Юрий Домбровский — «Факультет ненужных вещей»

Более десяти лет назад Ю. Домбровский прославился своим романом «Хранитель древностей». Новая книга продолжает и углубляет первую. Место действия: Алма-Ата. Год: 1937.
480 стр. цена 75 фр./\$ 15,60

Г. М. Александров — «Я увожу к отверженным селениям...»

Дантовский стих дал название этому лагерному роману, который уводит нас в последние круги ГУЛаговского ада. Это не воспоминания, а народный эпос, почти что устный рассказ о жизни в ГУЛаге простых русских людей.
Т. 1 376 стр. цена: 48 фр./\$ 10,— Т. 2 400 стр. цена: 48 фр./\$ 10,—
оба тома на тонкой бумаге в одной книге цена: 100 фр./\$ 21,—

ПОЭЗИЯ

Лидия Чуковская — «По ту сторону смерти» (стихи)

136 стр. цена: 30 фр./\$ 7,—

Николай Бердяев — «Библиография»

Полная библиография произведений Н. А. Бердяева на русском языке и в переводах. Составлена Т. Ф. Клепининой. Введение П. Паскаля.
160 стр. цена: 80 фр./\$ 16,70

Заказы просим посылать по адресу:

LES EDITEURS REUNIS

11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève
75005 - PARIS — France

Факты и свидетельства

Алексей Лосев

ПИСЬМА

1. Отклики трудящихся...

Сразу же после окончания университета я работал в маленькой газетенке в маленьком городишке на севере Сахалина. Штатное расписание было устроено таким льстящим самолюбию образом, что почти все в редакции занимали руководящие должности. Штат был такой: главный редактор, зам. главного, он же — заведующий партийным отделом, заведующий отделом промышленности и транспорта (я), заведующая отделом культуры и писем (добродушная тетка, подбирающаяся к пенсии), старший бухгалтер (и единственный).

Редакционная машинистка Александра Михайловна не называлась ни «старшей», ни «заведующей», она просто была женой начальника стройтреста: социальная роль, значимость которой перевешивала все наши, вместе взятые.

Единственным подлинно нетитулованным сотрудником был Иван Михалыч З., вроде как мой подчиненный, провинциальный украинский газетчик, добрый седой дядька, которого судьба мотала, мотала да и вышвырнула на Сахалин.

По старшинству (да и как партийный) он бы должен был заведывать мною, а не я им, но Иван Михалыч наотрез отказался даже от такого условного начальствования. Объяснял он при этом свои мотивы

больше вздохами, разведениями рук, похлопыванием себя по сутулой спине: дескать, на мне — валяйте, пожалуйста, ездите, а я никак не могу.

Работа наша с ним в те бурные времена хрущевских набегавших одна на другую кампаний состояла преимущественно в «организации» откликов трудящихся.

Иван Михалыч входил в наш закуток, шаркая подшитыми валенками, кряхтя устраивался за своим столом, лицом ко мне, несколько времени смотрел на меня совершенно бессмысленным взглядом светло-серых непроснувшихся глаз, выпускал глубочайший вздох, заканчивавшийся тем вибрирующим губным звуком, что одинаково свойствен извозчикам и лошадям, кабинетик наполнялся воспоминанием о вчерашнем спиртяшке с лучком, Иван Михалыч говорил свое обычное приветствие «Охо-хо-хо, Алексей Владимирович...», и мы брались за телефонные трубки.

На что мы сегодня откликаемся, Иван Михалыч никогда не спрашивал, но я считал своим долгом поставить его в известность: на мартовский пленум... на выступление Никиты Сергеевича в ООН... на 7 ноября... на встречу с Эйзенхауэром...

Иван же Михалыч деликатно давал мне практические указания.

— Я, Алексей Владимирович, возьму рабочий класс — табуреточную мастерскую, могу также научно-техническую интеллигенцию — «Дальтехснаб». А вы, мабуть, в совхоз пробьетесь, чтобы у нас национальности были представлены. И, как вы человек молодой, можете женщину организовать.

— А где ее взять, Иван Михалыч?

— Да хоть в горбольницу позвоните или в библиотеку. Или можете на почту, Людмиле Васильевне. Она у нас всегда хорошо откликается.

И мы принимались за дело.

— Алё, «Дальтехснаб»? Дайте парторга, пожа-

луйста... Сергей Сергеевич? Здравия желаем. З. звонит, из редакции. Есть идея поставить в номер ваш отклик. На что?

Уже успевший забыть Иван Михалыч выразительно смотрел на меня. Я быстро подсказывал.

— Та на пленум, на пленум же. Есть. Лады. Позвонить зачитать, когда будет готово, или так доверяете? Ну, есть. Спасибочки за доверие.

Набрав рабочего класса, старых большевиков, женщин, научно-технической интеллигенции, национальностей, а иногда и пионеров и школьников для теплинки, мы принимались строчить.

«Я как мать, воспитавшая четырех детей... невольно вспоминаются незабываемые дни Октября... и только при советской власти наш маленький народ... обязуюсь еще лучше...»

По вечерам, дома, Иван Михалыч за небольшую плату, за угощение, а чаще всего просто по душевной склонности, чинил радиоприемники, электроутюги, двустволки, подшивал валенки.

Так что из нас двоих по крайней мере его существование было морально оправдано.

Позже, когда я недолго и нештатно сотрудничал в ленинградских газетах, мне тоже порой приходилось заниматься откликами. Там диапазон был пошире: попадались академики, артисты, художники. Только писатели гордо писали отклики сами. Поэты — в стихах. За отклики в стихах полагался гонорар, а за прозаические — где как: в одних редакциях — автору, как бы за подпись, в других (справедливо) — сотруднику за работу, в третьих — пополам, а во многих еще — никому ничего. В Ленинграде телефонным разговором ограничиваться не разрешалось, отпечатанный на машинке отклик надо было обязательно отвезти автору на подпись.

Поскольку отклики, наряду с выступлениями на собраниях, являются, собственно говоря, единственным материальным выражением несокрушимого един-

ства партии и народа, монолитного единства советского общества (в период между выборами, конечно), то я, можно считать, к этому монолиту руку приложил.

Правду сказать, особенных угрызений совести я по этому поводу не чувствую: я это дело делал механически, по примеру Ивана Михалыча; читать эту галиматью никто не читал, да и вообще я служил при газетах недолго, года два, а потом сделал попытку найти работу почище.

Другая память не дает мне покоя — письма.

Ведь были же, были темы, события, явления, на которые трудящиеся откликались охотно, без наших звонков.

Ну, конечно, в первую очередь откликались на нехватку продуктов и вообще товаров в магазинах, на скверные жилищные условия, на скуку, дурь, пьянство вокруг.

Некоторые из писем, так называемый «самотек», примерно раз в неделю попадали на страницы газеты, но, Боже, в каком причесанном, припомаженном, приглаженном до неузнаваемости виде!

Живое письмо, как оно есть, пробиться на газетную страницу никак не могло.

Эти письма, может быть, самые важные языковые и социальные документы эпохи. Когда-то это понял гениальный Зощенко и выпустил замечательную книгу «Письма к писателю». Он же указывал там на то, как следует читать такие письма. То есть нужно употребить несложную систему поправок, чтобы увидеть народную жизнь за страницей неграмотного письма. Сюда входит: специальная психология автора (не всякий, далеко не всякий вообще станет писать в редакцию), его неумение выразить свои мысли (которое само по себе может быть очень выразительно и характерно), влияние штампов официальной пропаганды, непереверенных или переосмысленных,

принятых всерьез или привешенных, потому что письменная речь без них не мыслится (и это тоже явление большого общественного значения)*.

И меня мучит мысль, что несметные сокровища письменного фольклора, выразительнейшие документы эпохи гибнут по редакционным архивам, а то и корзинам. (Надеюсь, кто-то прочтет эти слова как призыв.) Но еще существеннее для меня другое.

Право человека на опубликование его письма в прессе представляется мне неотъемлемым — как один из элементов свободы слова. Не печатая письмо или печатая его в искаженном виде, газеты это право у людей отъемлют.

Редакционный работник, я получал свою ежедневную порцию писем, на которые должен был дать стандартный ответ, а затем отправить их в краткосрочный, периодически уничтожаемый архив. Ответить по-человечески, нестандартно, я старался; напечатать письмо — было не в моей власти. Выбросить в архив на чердаке — рука не поднималась.

Так с годами у меня выработалась привычка сохранять обреченные на безгласие письма. Не самые серьезные, не самые забавные (чужие письма не могут быть предметом коллекционирования), а те, что мне казались самыми характерными, как бы представляющими за весь письмапишущий люд. Я всегда верил, что они должны быть напечатаны: люди их для того и писали — это раз, а во-вторых — они на свой лад очень живо и точно рассказывают о современной народной жизни. Только не впрямую, а как в настоящем живом разговоре, где интонация, недоговоренность, неправильность, жест, улыбка говорят больше, чем слова.

* На эту тему у Шукшина есть прекрасный рассказ «Раскас».

2. «Что нужно, чтобы петь голосом...?»

Больше всего в редакции поступает писем с вопросами. Даже больше, чем с жалобами.

При почти полном отсутствии информационных служб, разумной рекламы в стране, люди рассматривают редакции газет и журналов как своего рода справочное бюро. Диапазон вопросов необычайно широк.

«Что нужно, чтобы петь голосом например: тоненьким или как поют певичы, а то у нас в классе у Гранальской мужской голос».

«Дорогая редакция. Меня интересует растешь лучше или нет, когда делаешь каждое утро зарядку и днёси короче говоря лигулярно делать акробатические упражнения.»

Это пишет пятиклассница (12-13 лет). А вот просьба учеников 7-го класса.

«Просим ответить на наши вопросы!»

1. Правда-ли, что под стенами Кремля нашли кувшин в который нальешь воды, а выльешь вино?

2. Правда-ли, что где-то нашли трехглавого змея?..»

7-й класс, 14-15 лет, но не шестнадцатый ли век?

Не только вопросы, но и ответы на всевозможные воскресные задачи и викторины бывают довольно замечательными.

Например, в викторине были вопросы: что такое «квадратура круга», «агар-агар» (водоросли, ценное сырье), кто такие Феофилакт Косичкин и Иегудиил Хламида (фельетонные псевдонимы Пушкина и Горького), кто из европейцев первым посетил Сахалин (голландец Де Фриз в 1643 году) и т. п. Вот ответы.

«Квадратура круга, это земной шар» (видимо, как-то ассоциировалось со словечком «квадратура» в применении к жилплощади). «Агар-агар, это уголь дважды перегоревший...» «Феофилакт Косичкин и Иегудиил Хламида, это люди которые имеют косички не ухаживают за собой, а которые не ухаживают за собой те называются Хламидами» (эти два ответа —

очаровательные примеры народной этимологии). «Первый из европейцев посетил Сахалин, кто был на ссылке в 1924 г.».

Видимо, это как-то связано с семейными преданиями, разговорами: для этой девушки история родного края начинается с советской каторги.

3. «Письмо ваше получила но не очень обрадовалась»

«Здравствуйте.

Письмо ваше получила но не очень обрадовалась. Костюма у меня нет и вы не хотите выслать я спортом не буду заниматься. Как вы пишете Костюма мы не можем выслать а спортом занимайся. значить как по вашему я должна заниматься в плате что ли я спортом не буду заниматься вышлю вам спортивные карточки если вы так написали очень я вами не довольна. Другим ребятам высылают а мне нет я у вас не прошу самый дорогой хоть трико дешевое мне надо 38 размер трико если вы хорошие ребята то вы вышлите я на вас надеилась в 1 раз вы нехочите высылать я очен вас прошу. надеюсь что вы вышлите.

Поздравляю вас с Октябрем...»

На загнутых по-школьному полях листочка, на оставшемся месте под поздравлением, горизонтально, вертикально, наискосок — выведены заклинания: «Ну вышлите», «Хорошие друзья», «а у меня костюма нет», «и на коньках не будишь кататься в польто надо КОСТЮМ».

Дело в том, что нашей редакции для подарков читателям, отличившимся в спорте, удалось выцарапать штук тридцать спортивных костюмов из дешевого трикотажа пыльно-синего цвета. О награжденных счастливых было объявлено в журнале, и поток писем от мечтающих тоже сподобиться этого трикотажа захлестнул нас. Дети в нашей стране, как известно, привилегированный класс. Я, несмотря на все старания, так и не сумел раздобыть для этой девочки трико 38 размера. «Поздравляю вас с Октябрем.»

То было о нашей бедности, в следующем письме речь пойдет о богатстве и о морали. (Здесь, как и всюду, я оставляю орфографию неприкосновенной, но рассчитываю не на удивление или увеселение читателя; надеюсь, что письмо будет прочитано как точная транскрипция живой речи, каковой оно и является.)

«Дорогие редакторы.

Я обращаюсь к вам и прошу вас всей душой дать отпечаток моей прозбы... Хотя говорят и нет ненависти среди молодежи старого поколения но оно ище есть у таких людей которые имеют коров бычков курей и хорошия квартиры и кто имеет 3-4 огорода.

Как у нас имеются на Сахалине ище такие люди как например Чидяньчиха 3 чловека семьи муж работает рабочим в 1 мага. сичас поехал на курорт дочь Лида работает поликмахером всего 3 чловека семи имеют 3 огорода корову 20 курей свиню 8 поросят быка и что ище таким людям нада.

Почему они имеют зло на людей или уж их богатства мучит или ненависть к молодому поколению.

Дочего же люди обнаглели не имея нестыда не совести Здесь же живет и Комариха Елена Федырывна работает в дом нинармальных у этой Комарихи сын Гарик сошелся содной девушкой и зашли они в комнату отошли от матери теперь эта Гари мать Чиданчиха сошлис 2 судакушки две соседушки опозорили эту жену Гарика кого ты береш у ней мать дура отец ханыга у нее ничего нет береш голая жопа унее ее одеть нада тысячу толька израсходывать взял бы лучше вон дочь Лиду Чиданчихи по край мери все есть и одета как кукла и богатые они. А эта что голым голешенька и мать Гари пришла как самошетиива домой сбежала как начала эту сноху конфузить навсяки позоры дочего же эти люди жадные на богатства что этой бедной девушки нет покоя. А Гари этат лапух идет по материнский линии гонится за богатствам а не за чловекам видат не женится ему нада аон ище боится от маминай юпки отстать смотрит кабы ему рас мамину титю не пришлось сосать какой позор эта же что Чиданчиха ищит дочери Лиди мужа столстым карманам кто приедит свататся то и Гари мать ищит жену таким же духам так вы и клюйте стариныя об/ь/етки куркульские. Ну учтите, что сичас таких жон для своих сановей не найдете дорогие мамашы и папашы, чтобы передвами трясли за столом ночные рубахи и для своих богатых дочерей мужей ищите где не быть в таких местах чем и кем воспитаны вы жадностью ненавистю к молодым людям. Недаром что ваши сыновя и стреляются что выбираите выбираите жон сыновям, что эта плохая вторая бедная и они имеют по 2 детей а ихняя матеря и сходятся и все судачут не как не подберут своим

соновьям жон. Смотриши как Борис Лукьянов. Мать сосвоем мужем с Петром сусатым пока своему Бори выбирали невест. То Манька плохая то Люська нехорошая да бедная а уетай Люси вторая беременность от Бори

Дотех пор сватали своему сыночку что паринь эту Люсю любил до безумия осталась дочь и растет как цветок а отец и мать нинавидят эту девочку и Люсю. Борис не долга думал и приговорил сам себя до смерти.

Вот дочего эти матушки доводят своих сыновей и дочерей нажевут богатства и не знают, что с нем делать что разлучают своих сановой те бросают жон и детей все выбар доходит невест пока матеря и отцы сватают — да выбирают богатых мужей да сних асмотрят уже ихния сыновя улетели на свояси.

Так и вы товарищ Комарова Елена Федырывна ище своего сына Гари держите крепче возли своего подола привяжите иводите как Кирил слепова.

Может найдети для его невесту с коровой и с большим имением. Когда от этого уже соседушки своих сановой сводите сума и дочь Лида пошла по этому тоже. Так дорогие товариши мы смотрим навас и даже стыдна нам завас что вы бросте старинку из головы вы же сами по несколько рас выходили замуж и своих соновей ведети вразратную жизинь стыт позор доводите вы их до могилы разви вам жить и любить ихних жон если они нашли себе счастья и любов так же не мешайте им в нихний жизни вы ише до старости и тов се думайте вытти замужь хотите быть вдвоем а зачем же мешать в жизни своем сыновьям и дочерям всяк себе ишет пару

Женьшины.

Просим вас товарищи редакторы отпечатаат все наша написаное может есть ошыпки поправте мы люди та очинь молодотные.

Портнова Зелина Оскина.»

Пишут в редакцию люди как люди, не ангелы. Они и сплетничают, и хитрят, и назойливо попрошайничают и просто жаждут славы — пропечататься! Но у большинства из этих авторов есть замечательное невольное литературное свойство: они не умеют лгать литературно. То есть среди них могут быть и завзятые вруны, но лгать в литературной форме — искажать, лакировать, затушевывать действительность — для этого ведь сколько надо пройти литкружков, семинаров, творческих общений со старшими товарищами

по перу. Наши же простодушные авторы вольно или невольно дают картину настоящей жизни, хотя бы и автопортрет. Даже просто неумелое пользование советскими литературными шаблонами приводит и к разоблачению этих шаблонов, механизмов пропаганды, и к вскрытию тех пропастей безнравственности, которые за ними скрываются. Особенно это очевидно, когда наивный автор, усекши, что основная пружинка нашей пропаганды — гипербола, раскручивает свои гиперболы за дозволенный предел, в область пародийного.

Вот, например, стихотворение № 17 «Тому кто велик» из сборника, присланного одной графоманкой (написано еще то ли в сталинские, то ли в хрущевские времена, но стихи такого рода по сути своей мало изменяются со временем):

Вот настанет вечер
Встанет наш деспечер
Матушка луна
Уж услужлива заботлева она
Все уж в освещенности
Мовзолей и Кремль и Столица
Красная Москва
Но ее берет тоска
То она нахмурится
То улыбнется
Но в Кремль хоть глазом тайком проберется
И вся побледнеет и станет
Бледный ее лик
Но знает, что служит
Тому кто велик.

Вот передо мной рассказ, сочиненный техником Виктором Б. Сюжет древний-предревный — история блудного сына. Парню была не по душе домашняя опека, сбежал, пошел по плохой дорожке, погиб. Как часто бывает в сюжетах этого рода, Володе, герою рассказа, где-то в середине сюжета приоткрывается возможность праведной жизни, которой он пренебрежет: он устраивается на строительство учеником

слесаря-сантехника, где, как добросовестно перечисляет автор, ему приходится «устанавливать ванны, регулировать и привинчивать поплавки в бачках Эврика». Пытается наставить Володю на путь истины старший товарищ, комсомолец, демобилизованный солдат Анатолий. Делает он это так:

«...сварил картошку, поджарил колбасу, вскипятил чай... (на следующее утро) Анатолий поднялся на полтора часа раньше обычного и разбудил Володю, приказав ему готовить завтрак, а сам сел писать докладную в комитет ВЛКСМ о разговоре с Володей».

Автор, хорошо почуявший суть советского морального кодекса, напрямую выкладывает то, для чего профессиональная пропагандистская литература находит более увертливые словечки. Непрофессионал кроет напрямую: накормил голодного колбасой, теперь садись катать на него докладную.

У некоторых авторов вера в силу печатного, особенно ритмизованного слова напоминает веру в ворожбу и заклинания. Покинутые женщины обращаются к газете с той же суеверной надеждой, с какой их бабки обращались к ворожеям.

Вот № 26 из уже цитированного автора.

Коварный изменщик ты меня бросил
Ты мне изменил
Ты сердце поранил
И жизнь мне разбил
Ты бедную голову всю мне вскружил
Ты думаешь лучше нашел
Нет просто по скверной пути ты пошел
Себе ты горькую участь нашел
Нелучшель тебе с верной женой
На мягкой постеле поспать
Иль нет видно в холодной клуне
Лучше с паскудой лежать.

Опомнись мой верный супруга
Ведь я для тебя не плохая подруга
Хоть ты меня бил избивал
Но мне тебя всетаки жаль
Ведь дома большая семья
А ты ведь в семье голова
Ты вспомни тебе постераю
Приготовлю подам.
Всю жизнь для тебя я отдам.
Опомнись брось сам себе готовить варить
Да с подачками к этой паскуде ходить
Ведь 22 года с тобой мы прожили
И двое детей мы нажили
Дочь красавца и сын умен
И если дочь в защиту идет за мать
Ты ее наченаешь ругать
И беременную выгоняешь в полночь
И зять тебе не понраву
В доме ведешь безпокойную драму.

Автор следующего подобного заклинания несколько более изощрен литературно. Употреблена безотказная мелодраматическая маска: письмо, под диктовку матери, написано рукой первоклассника на листке в косую линейку. Пятистопный ямб выдержан почти аккуратно, кроме конца, где до сведения вышестоящих надо довести точные данные об отце-подлеце.

«Мне восемь лет рожден я не законно. Меня воспитывает родная мать моя. Да партия конечно помогает, она пособия мне дола. А где отец подлец его я знаю. Он в стороне законом отделен. Живет в дому, он пет гуляет. Забыл и совесть и честь отцовскую свою. А я учусь я с каждым днем взрослою, обиду я в груди своей тою, а подрасту я и встречу с ним на узенной дорожке, где не сойти и не свирнут ему. И где не смыть ему с себя позора, которым я и люди оклеймят. Отец подлец, живет на Сахалине, поселок порт Мокальво, работает контора Дальтехснаба Илюшин фамилия его...»

Обращение к редакции с просьбой напечатать письмо в назидание другим отцам-подлецам. Подпись. Дата. Адрес.

4. Др. виды почтовых получений

Наивная вера во всемогущество редакции порой очень велика.

«Здравствуйте т. Лосев.

Прочел в газете вашу заметку и вот теперь пишу вам. В этом письме я прошу вас помочь мне. Немного о себе.*

С 10 лет я послушав совета своего «товарища» начал заниматься ОНАНИЗМОМ. И так вот привык и очень тяжело отвыкаю. И как я заметил, сейчас мне 18 лет, но выгляжу я гораздо меньше лет так 15-16. И рост тоже не увеличивается никак: всего метр 10 сантиметров. А лицо стало желтым и НЕКРАСИВЫМ. Я прошу вас дайте мне совет упражнения с эспандером...

Я очень хочу быть здоровым, сильным и красивым.

А. Г.»

Велико и доверие.

Последним обстоятельством нередко пользуются проходимцы, коих немало трется при всякой редакции. Красное редакционное удостоверение имеет даже некоторые преимущества перед милицейским или кагэбистским: оно тоже открывает все двери, но при этом его не так боятся, часто относятся с услужливым дружелюбием.

Один мой знакомый мошенник (не фигуральный, а профессиональный, так сказать, мошенник, сидевший за мошенничество, двоеженство, вымогательство и даже за литературный плагиат) в пьяной тоске вздыхал о золотом времечке, когда ему удалось разжиться удостоверением газеты «Советская торговля» и совершать набеги на продмаги и рестораны. Мы с ним работали вместе в сахалинской газете, пока его прошлое не было разоблачено.

Другой бойкий господин, который, кажется, и поныне служит в «Костре», пользуясь тем же безграничным доверием к прессе, проделал то, что в «Оливере Твисте» у Диккенса называлось «облапошивание мла-

* Что-то о спортсменах.

денцев». На страницах журнала он объявил об открытии нового пионерского клуба — что-то такое вроде клуба юных любителей старины и вообще нумизматов. Говорилось о патриотическом значении. Объявлялся конкурс юных кладоискателей. Победителям сулились красиво разрисованные грамоты, гипсовая модель медного всадника и лукича на броневике и т. п.

С такой приманкой сеть, закинутая шестисоттысячным тиражом на всю страну, скоро стала улавливать добычу. Пошли в редакцию посылочки с позеленелыми николаевскими пятаками, стреляными гильзами Бог весть какой войны, но порой среди ерунды попадались и старинные часы-луковица. И вполне антикварная статуэтка. И действительно старинная и ценная монета. Серебришко. Золотишко мелькнуло.

Поскольку никакой системы регистрации поступающих материальных ценностей в редакции не существует, все это записывалось просто как «др. почтовые получения» пионерского отдела. Гильзы и пятаки 1913 года рождения выкладывались на специальную витринку в редакции, прочее уплывало.

Видимо, где-то какой-то юный алкатель грамоты и приза произвел чересчур усердные раскопки в семейной сокровищнице, и это было замечено, и следствие было учинено; в общем, в один прекрасный день в редакции появились два мрачноватых следователя ОБХСС.

Наш любитель старины выкрутился, но клуб пионеров-антикваров прекратил свое существование.

В газеты тоже по почте нередко приходят не письма, а всякие вещички, которые могут рассматриваться семиотиками как специальная знаковая система, вроде пресловутого «индейского письма».

Там, где наш корреспондент полагает возможности русского алфавита исчерпанными, неадекватными обуревающим его чувствам, он прибегает к знакам-предметам, и вправду очень выразительным (семантически насыщенным): гвозди, куски стекла, запе-

ченные в хлеб местного производства, коллекции насекомых, населяющих молодежное общежитие, разные отчаянно недоброкачественные товары, которые магазины отказываются принять обратно или обменять.

Однажды нашу сахалинскую редакцию потряс душераздирающий вопль. Вопил отдел культуры и быта (Александра Михайловна). И было отчего.

Как выяснилось, очередной посетитель-жалобщик вначале нес околесную, что-то маловразумительное — насчет своего огорода, и горкомхоза, который ни за чем не следит, как полагается, и могильщиков с заречного кладбища, которые халтурщики, с утра так налопаются, что лопату держать не могут... Постепенно стало Александре Михайловне понятно, что речь идет, в основном, об огороде. Участок жалобщика граничит с заречным кладбищем. Могилы там копаются халтурно, неглубоко. И вот во время полудня... И он торжествующе положил на стол Александре Михайловне то, что вынесло поводом на его огород: человеческую голову плохой сохранности, завернутую во вчерашний номер нашей газеты.

5. «...к отуплению, затем к идиотизму»

Самое печальное свидетельство, которое дает редакционная почта советских изданий — это разрушение, обесмысливание русского языка, по крайней мере письменного языка, превращение подчас письменной речи даже грамотного человека в бессвязное бормотание. Сами тексты указывают на причину своей болезни — пропаганда: они представляют собой мешанину обломков пропагандистских клише, стереотипов, блоков. Радио, которое зундит день-деньской, бессмысленные протокольные речи на собраниях делают

свое дело. Душа отравляется через ухо, как сказано в одной хорошей книге.

Вот подросток, девочка лет 13-14, хочет, чтобы статья с ее подписью появилась в журнале. Пишет довольно грамотно, почерк аккуратный, почти взрослый, видать, старательная, отличница. Не дура, наверное.

«Призвание человека это постоянное, требовательное сознание помогать массе, бездействие приводит человека к оуплению, затем к идиотизму. Но человек обязан работать в контакте с массой и графически согласно часовому графику и плану работы!»

В массе всегда есть спутник ибиологического брожения и нервничать, обижаться на массу не рекомендованно, т. к. в следствии труда — есть износ организма и, человек впадает в стадию недоразвитости, особенно тяжело работать среди детей т. к. у них много «Почему?». Это «Почему?» монтирует личный характер в последствии согласно индивидуального «почему?» можно определить полезный ли обществу этот человек, и даже состояние его здоровья, долголетие плодотворного труда.

Все нормальные ребята после уроков занимаются общественной работой, а недоразвитые не в состоянии этим вопросом заниматься — поэтому есть вожаки: вожак обязан составить план работы, чтобы мозг человека начал срабатывать согласно индивидуальных способностей, НО главное: «Режим суток!», «План работы!», «Почему?»

Лиза Ш.»

(Судя по адресу на конверте, Лиза хотела принять участие в журнальной дискуссии о роли пионервожатых в школе; видимо, серьезно подготовилась, почитала литературу.)

Интеллигенты знают различие между законами устной и письменной речи (по крайней мере, предполагается, что должны знать). Письмо неинтеллигента всегда прежде всего отражает его устную речь. Если преодолеть орфографические и синтаксические трудности, то мы увидим (услышим!), что речь страстной (видимо, заинтересованной лично) обвинительницы Чиданьчихи и Комарихи — образная, неплохо продуманная, безусловно целенаправленная, живая.

Как это ни прискорбно, устная русская речь далеко не всегда такова в наше время. Часто это жвачка, бессмысленная, расхристанная, ничего и никак не выражающая. Люди на разных общественных уровнях отвыкли думать, а следовательно, и говорить дельно, но потребность общаться — в застолье, на собрании ли — сохранилась. Речь заменяется непитательной эрзац-речью.

«И вот, бля, мы, бля, с Сашком взяли красного, бля, пошли к Малыге, не, вру! — мы сперва пошли, бля, к Малыге, а потом, бля, взяли красного...»

Или вот отрывок выступления на редакционном совещании, который я несколько лет назад записал стенографически. Ниже приводимый отрывок ничем не отличается от предшествовавшей ему речи, от последующей. Такие разговоры у нас шли и идут повсеместно часами.

«...но вот это мне кажется, о чем можно говорить отдельно, потому что сегодня оно особо остро проглядывает, это «но» о той большой свободе художника, которая у него на сегодня имеется. (пауза) Ну, что ж, в университете (с улыбкой, означающей кавычки) «долбали» там в прошлом году (чешет затылок), но есть какие-то вещи, которые... как Пушкин, как великая живопись... (интимным тоном) Меня сейчас увлекло соотношение объективного и субъективного. Это нам обеспечивает очень четкий подход к произведениям натуралистическим, фотографическим, попросту говоря, серым. Когда это не учитывается, мы сталкиваемся с псевдореалистическим пониманием. Вот что интересно!..»

Кто именно 23 января 1973 года чесал в затылке и произносил столь содержательную речь, я не помню, не записал. Да это и не важно. Я полагаю, что три четверти сотрудников редакции могли говорить таким манером, — вот что страшно.

(О чем шла речь, я установил по соседним записям: редакция должна была зарубить рукопись более или менее талантливой, реалистически написанной

школьной повести — с несправедливым учителем, с семейной драмой и т. д.)

По графомании наша страна прочно занимает первое место в мире. Это чудовище родилось от кошмарного брака суеверия (веры в исключительное значение прессы) и безъязычия. Очень простые приманки влекут молодых и старых честолюбцев на этот пагубный путь: быть писателем славно, выгодно и приятно, и притом кажется, что добиться этого проще, чем сделать, скажем, партийную карьеру. Шариковая ручка, даже пишмашинка, бумага, набор словесных шаблонов не хуже, чем печатаются, — доступны всем.

Среди графоманов есть довольно безобидные жалкие существа. Это по большей части ребусники-синицкие, старички, сочиняющие загадки, шарады и т. п.

...Если я не успевал спастись, он проскальзывал в кабинет, прижимая к груди дырчатую нейлоновую шляпу, душевно желал мне здоровья и со скромной гордостью произносил что-нибудь новенькое:

Я — как трактор!
Но... — мчусь побыстрее
И... пугающий хобот имею.

И, радуясь моему смятению, давал разгадку:
— Танк.

Был еще его коллега очень преклонных лет. Характерной особенностью его шарадного творчества было однообразие зачинов:

Слог первый — сосны составляют,
Чудесно он шумит.
Второй слог — лучших прославляет,
Творил его пиит.
А целое носил боярин
И не имел почти татарин.

Слог первый мой в питание входит,
Он у детей обычно в моде.
Второй мой слог глубины мерит...

Мой первый слог в Италии струится...

Мой первый слог с зверями дружен...

Мой первый слог имеет вес довольно небольшой...

(Борода — кашалот — По — рог — грамм...)

Как всегда, особенно печально, когда болезнь поражает детей. Юные графоманы — имя им легион! Иные по простодушию своему показывают, что именно сбило их с панталыку, растлило их творческие способности, фантазию, навсегда лишило радости живого слова. Это то убийство русской литературы, которое осуществляется в большинстве школ, в полном согласии с программами и учебниками Министерства просвещения.

«С приветом к Вам ваш читатель Л. Сергей.

Дорогая редакция! Я написал пейзаж «Весеннее утро» и Басня-быль «Две скалы». Это вернее сказать не басня а в виде рассказа, в этом рассказе, я показываю старую российскую царскую республику — это старая скала, а молодая скала — это молодая Советская республика. В виде ужей, я показываю ненасытных панов. Удав — это цар.

Здесь я показываю борьбу за хлеб и волю народов-революционеров-соколов.

Вот эти литературные образы: «Ужи начали уползать в чужие норы». Это значит паны, мещани начали убежать в другие капиталистические страны.

«Дети этих ужов начали уползать в леса и собирать разных насекомых». Это: банды Петлюровских войск, денкинских, врангельских, которые собирали силы, для уничтожения нашей молодой Советской Родины. И много других.

Дорогая редакция! Меня так тянет писать! Мне так хочется написать что-то лучшее. И я буду учиться и продолжать писать!.. Прошу Вас зачислить мою работу на страницы журнала...»

Прилагаемая Сергеем «Басня-быль» довольно длинна и написана под благотворным влиянием «Пес-

ни о Соколе» А. М. Горького и по рецептам учительницы литературы. Заканчивается она стихами:

И если кто с врагов захочет —
Скалу нашу разрушить!
То он здесь кровь свою промочет —
И с быстрым свистом улетит!

Бедняга Сергей! Ему хочется написать что-то лучшее, он полон готовности учиться, трудиться... Да какая учеба-то, если с этими стишками его посылают на городской слет, на областной конкурс, дают грамоту, значок, вымпел... С годами он, возможно, поступит в литобъединение, где член местного отделения СП научит его не нарушать метра, не рифмовать глаголов и тем самым доканает окончательно тягу паренька к поэзии.

Вот еще выдержки из поощряемого учителями, комсомолом пионерского стихотворчества.

Руководил страную Ленин
Глава моей страны — народ
Для Мира много в ней диковин
И держим в мире мы рекорд.

Рекорд мы держим не по бомбам,
Не по военным самолетам
По молоку, по мясу, маслу,
По нефти, золоту, алмазу.

.....
Поют пионерские горны
Зовут они нас в дальний путь:
Туда где шумит тайга,
Где лежат бесконечные степи,
Чтобы там возводить города
И пускать полноводные реки.

.....
Скрывался Ленин в шалашах
И наводил большой он страх
На полицейских и министров
На царей, капиталистов...

(От этого постоянно вдальбливаемого Ленина ребята совсем обалдевают. Однажды мы напечатали для малышей картинку — хорошенький теленок — и предложили им писать в редакцию, как бы они назвали теленка. Первое же письмо пришло такое:

«Уважаемая редакция!
Я думаю что бычка надо назвать
Заря
Уголек
Ленин

П-нко Володя».)

* * *

Чем бы завершить эту не столь уж веселую коллекцию?

Пожалуй, вот этим письмом, чтобы вам что-нибудь запомнилось на прощанье.

Предыстория такова. Как-то «среди потока самотека» попало ко мне письмо из Ташкента. Автор рекомендовался сочинителем (да, не собирателем, а сочинителем) пословиц и поговорок и предлагал кое-какие фрукты своего творчества, выписанные тщательными печатными буквами. Я ответил что-то вроде того, что сочинять пословицы нельзя, пусть-де он переклочится на другое хобби — собирание народной мудрости и т. п.

Через некоторое время пришло второе письмо из Ташкента, и, хотя в нем много для меня нелестного, предлагаю его вашему вниманию.

«Уважаемый товарищ Лосев!

Честный добросовестный человек выражает свои мысли конкретно, опирается на реальные факты. Рыбьей обтекаемостью пользуется только очковтиратель.

Талантливость это: во-первых, наличие душевности, человечность; во-вторых, обладание глубоким миропониманием; в-третьих, наличие богатого осознанного жизненного опыта; в-четвертых,

умение воплощать мысли в сжатые и прозрачные словесные оболочки. Например, вот:

«Книга не любит мига. Непрерывному чтению она отдает предпочтение».

Взятая мысль в этой пословице, как видите, воплощена в сжатую и прозрачную словесную оболочку. И на самом деле: книги только тогда приносят великую пользу, когда они непрерывно читаются. Чтение с большими перерывами, время от времени, приносит малую пользу.

А это:

«Сей горох и бобы и не будет у коров худобы.»

Животноводство, как Вам известно, зависит от достаточности кормов. Культура бобовых резко увеличивает число кормовых единиц. Ведь не даром же гороху и бобам уделено достаточно внимания на Пленуме мартовский Пленум ЦК КПСС. И повышению урожайности на Пленуме было уделено достаточно внимания. Удобрения, в том числе и органические, в этом отношении играют ведущую роль. Не соответствует ли этому и пословица:

«Вывезенный в поле навоз — это и пшеницы обоз?»

Пословицы и поговорки создавались народом на протяжении всех веков с той поры, когда человек вырвался из царства животного мира. Пословицы и поговорки это своеобразный литературный вид. Он обладает целым рядом достоинств. Во-первых, он доступен широкому кругу — взрослым и подросткам; во-вторых, он высокохудожественен. Создание пословиц и поговорок подильно только тому, кто обладает глубоким миропониманием и пристально следит за событиями своего времени. К творцам поговорок и пословиц надо относиться с глубоким уважением, так же как к поэтам и прозаикам. Создание пословиц и поговорок следует всячески поощрять: с их помощью можно выразить любые мысли. Например, вот:

«Скажите, как он относится к критике, и я скажу вам, кто он.»

«Нетерпимость к критическим замечаниям — первый признак тупости.»

«Злопамятна только глупость.»

К пословицам и поговоркам следует приобщать и подростков 9-14-летнего возраста. Можно ли утверждать, что пословицы им неподсильны и неинтересны, и бесполезны такие, как:

«Сей горох и бобы и не будет у коров худобы.»

Безусловно, эту пословицу можно и следует положить в основу обстоятельного доклада на тему: «Бобовые и их значение в кормовом балансе». Именно в том-то и сила и значимость пословиц, что они, обладая краткой словесной формой, несут в себе обширное и глубокое содержание.

Извините: я обязан показать на несостоятельность и обтекаемость Вашего довода:

«...они содержат много литературных погрешностей».

Этот Ваш довод, согласитесь, отличается рыбьей обтекаемостью, в нем нет конкретности, он не опирается на реальные факты. Очень прошу Вас: попытайтесь конкретно указать на «литературные погрешности» таких моих поговорок и пословиц, как:

«Скажите, как он относится к критике, и я скажу Вам, кто он.»

«Нетерпимость к критическим замечаниям — первый признак тупости.»

«Злопамятна только глупость.»

«Книга не любит мига. Непрерывному чтению она отдает предпочтение.»

«Сей горох и бобы и не будет у коров худобы. Польются молочные реки, каких не было вовеки.»

«Вывезенный в поле навоз — это и пшеницы обоз.»

Логически докажите их смысловую примитивность и убогую словесную отделку и то, что приведенные выше поговорки и пословицы «вряд ли представляют интерес для читателей...»

С глубоким уважением

Владимир Волгин

А вот новое:

«Плывешь против течения не поднимай весла. Жизнь это тоже непрерывное течение. Весла в ней — книги. Лодка — практика. Неустанно трудись и читай, если не хочешь двигаться вспять.»

«Народ за мир. За войну вампир.»

«КПСС — наш рулевой: мы с ним идем за коммунизм в бой. Партия, как и народ, за мир и изобилие, против колониального насилия.»

«Обводнение засушливых земель не даст постоянным урожаям сесть на мель.»

«Трудовой пот — коммунизма оплот. Праздность и лень заволакивают сажой светлый день.»

«Помогая уяснить урок товарищу, углубляешь свои познания.»

«Без внимания и прилежания не придут в голову знания.»

«Пятерками украшен дневник — ты настоящий большевик.»

«Походам и преодолению в пути преград организм рад: развивается сердце, крепнут мышцы.»

«От физзарядки не избегай, с нее каждый день начинай: она бодрость придает и к долголетию ведет.»

«К старшим питай уважение: они создают материально-техническое окружение.»

«Не будь злопамятным и несправедливым, если желаешь быть счастливым...»

Организаторам Сахаровских чтений 1977 года

Разрешите поделиться мыслями и впечатлениями по поводу Сахаровских чтений 1977 года. Должен предупредить, что я знаком с ними лишь в пределах передач западных радиостанций, но как раз в таком положении находятся, за считанным исключением, все жители Советского Союза.

В первых Сахаровских чтениях было слишком много элементов импровизации, а быть может, просто неудачного стечения обстоятельств. Это породило сомнения в их будущем.

Сахаровские чтения 1977 года развеяли все эти сомнения и опасения. В первой же радиопередаче стало очевидно их общечеловеческое значение. Сама структура и построение чтений, посвящение каждого дня одной из узловых тем движения за права человека в СССР, удачный выбор этих тем, показания свидетелей, работа жюри, экспертов, проведение пресс-конференций в конце каждого дня — всё это в целом создало впечатление, что международная общественная жизнь обогатилась новым важным институтом. Понятно, что этот успех явился результатом тщательной и умелой работы людей, отдавших свое время и талант подготовке чтений. Хочется надеяться, что в будущем не произойдет никаких инспирированных извне неожиданностей. Советской пропаганде удалось ввести во всеобщее употребление клише, приравнивающее неприятие тоталитарной власти к преступлению. Это клише состоит в словах «антисоветский» и «антикоммунизм». Никому, например, не приходит в голову наклеивать ярлыки на противников лейбористов или консерваторов в Англии.

Сахаровские чтения 1977 года в Риме дали убедительную и яркую картину нарушения прав человека в СССР и странах Восточной Европы. Люди, называющие их по этой причине «антисоветскими», не делают комплимента советским властям.

Москва, 4 марта 1978 г.

Проф. Н. Мейман, действующий
председатель Московской группы Хельсинки

ИСПАНСКИЙ БЛОКНОТ

Алексею Эйсеру

«Ровно сорок лет назад с группой добровольцев, спешивших в бой, чтобы преградить путь фашизму, я впервые ступил на землю Испании. Если я начинаю с такого личного момента, то лишь потому, что те годы нельзя забыть, и на сегодняшний день Испании я смотрю, сравнивая и вспоминая...»

Так я начал свою корреспонденцию из Мадрида, первую из серии передач для Радио Свобода с 9 по 22 июня 1977 года.

«Я нахожу разумным, — писал Марсель Пруст, — верование кельтов, что души усопших заключены в оболочку какого-нибудь низшего существа — зверя, растения, неодушевленного предмета — и потеряны для нас до того мгновения (для большинства оно никогда не наступит), когда мы невзначай приблизимся или прикоснемся к дереву или предмету, которые и являются темницей ушедшей от нас души. И тогда душа эта встрепенется, окликнет нас, и лишь только мы ее узнаем, чары рассеются. Освобожденная нами душа победит смерть и будет впредь жить рядом с нами.

То же и с нашим прошлым. Напрасно пытаться воскресить его, тщетны усилия разума; ему не подвластно наше прошлое, заключенное в какой-нибудь материальный предмет (или наше ощущение этого предмета), о котором мы и не подозреваем. И лишь случай решит, встретим мы его до нашей смерти или не встретим».

Я ехал в Испанию, зная, что там ожидают меня города, дороги, деревья и горы, ожидают заросшие

бурьяном или перепаханные под огороды братские могилы, прикосновение к которым возродит, не может не возродить путь, который мы прошли с тобой, спотыкаясь, ушибаясь и царапаясь, вместе с нашим, ныне уходящим, поколением.

— Вы едете в Испанию, — сказал мне знающий человек. — В Испании надо покупать замшу!

Въезд в Мадрид был сумбурным и нелепым. По ошибке меня высадили из автобуса у здания внутренних линий, и я долго плутал в поисках багажа, прорываясь с внешней стороны через кордон пограничной полиции. Полиция и гражданская гвардия стоят у всех дверей, но паспортного контроля и таможенного осмотра я так и не прошел.

Позже я обнаружил, что многие международные авиарейсы начинаются в Мадриде как внутренние. Паспортный контроль пассажиры проходят при промежуточной посадке в Барселоне, а при вылете из Мадрида нет ни проверки документов, ни принятой сейчас почти всюду даже для местных рейсов проверки багажа. В самолет можно пронести хоть пулемет, хоть базуку.

Такая беспечность, возможно, политически оправдана. У Испании особые отношения с арабами вообще и с палестинцами в частности.

За сорок лет диктатуры люди чуть поотвыкли откровенничать. Но таксисты, как везде, говорят свободнее. Первый водитель на вопрос, за кого он будет голосовать, отвечает: «За социалистов». Такие ответы я получал в четырех случаях из пяти. Пятый обычно сочувствовал коммунистам.

Шофер-коммунист принял политическую эстафету от отца, убитого в рядах республиканской армии в

1937 году. Ему сорок два года. Хлебнул горя. Зарабатывать на жизнь пришлось с восьмилетнего возраста. Работает по четырнадцать часов в сутки. Машина собственная. Налог за нее он платит такой же, как какой-нибудь богач, для которого автомобиль — забава. Но коммунисты со всем этим покончат. Социалисты тоже обещают, но коммунисты надежнее. Они заставят платить богатых, а бедным позволят учиться бесплатно. Сын-школьник пойдет в университет, станет адвокатом. Адвокаты много зарабатывают и становятся политическими деятелями. А машина? Нет, машину не отберут. Коммунисты ничего ни у кого отбирать не будут. Они не хотят гражданской войны. Ее никто не хочет.

— Вы потомственный коммунист. Вы когда-нибудь слыхали об Интернациональных бригадах?

— Еще бы, сеньор. Была такая во вторую мировую войну. Она называлась Голубая Дивизия, воевала против русских!

Когда идешь вдоль прилавков книжной ярмарки в парке Ретиро, видишь, как жадно испанцы навертывают пустоту в знании прошлого своей страны. Вышло двенадцать тысяч книг по истории гражданской войны. Среди них — толстенный двухтомник: «История республиканской армии». Огромное количество политической литературы. Еще двухтомник: Волин «История русского анархизма». Я помню Волина в довоенном Париже. Типичный, сказал бы, стандартный русский интеллигент (впрочем, еврей) — вплоть до бородки и очков. Что он делал у Махно? Кажется, был чуть ли не начальником штаба!

Потоком хлынула порнография. Псевдонаучные руководства по совокуплению, иллюстрированные журналы, трактаты о преимуществах и революционном значении однополрой любви. Сразу после выборов

гомосексуалисты Барселоны вышли на улицы, требуя немедленно удовлетворить все их требования.

Цензуры нет. Есть какой-то неотмененный закон о печати, дающий правительству в известных случаях во что-то вмешиваться. Никто не помнит, в каких именно и во что.

Внезапное отмирание учреждений и порядков, еще вчера бывших неотъемлемой частью режима, напоминает Чехословакию, где я был той незабываемой весной 1968 года. И еще сходство: свободы, которыми пользуются испанцы сегодня, как бы спущены им сверху. Государственный аппарат (как партия в Чехословакии) сам ограничивает свою власть. Но в Праге пришли советские старшие товарищи и вовремя напомнили, с каким лицом надлежит быть социализму. Здесь же нет соседей, которые силой оружия будут навязывать «реальную демократию» вместо обыкновенной.

Страна кипит. Но как-то мирно. Может быть, еще и поэтому я вспоминаю Чехословакию. Кроме экстремистов, никто не хочет насилия.

Плакаты. Ими покрыто всё. Места не хватает, и клеят плакат на плакат. Иногда между Адольфо Суаресом, устремившим взгляд в будущее Испании, «подходящим для нас» (как гласит текст афиши) Фрага и Фелипе Гонсалесом, тридцатипятилетним лидером социалистов, выглядывает знакомая физиономия: в огромной клетчатой кепке набекрень Олег Попов анонсирует гастроль Московского цирка.

О бурном развитии испано-советских культурных связей мне рассказывает Габриель Амиама. Его ребенком вывезли в СССР, а в 1957 году он вернулся на родину. Он журналист и переводчик. Переводил выступление Солженицына по испанскому телевидению,

часто сопровождает приезжающих советских деятелей культуры.

Всех, по их просьбе, Амиама водит (это великая привилегия) на мадридскую золотую биржу. Она в принципе предназначена для профессионалов, например, зубных врачей и техников, которым золото необходимо для работы. Золотые пластины продаются там по баснословно дешевой цене. Советские деятели культуры закупают это золото в невероятных количествах.

Отлично развиваются дипломатические испано-советские отношения. Испанцы собирались разрешить посольству СССР в Мадриде двенадцать должностей с дипломатическим статусом, но советская сторона смотрела шире. В испанскую столицу для начала назначили пятьдесят пять дипломатов. Ожидают еще. Штаты представительств ТАСС, АПН, Интуриста, Аэрофлота, не говоря уже о Морфлоте, пухнут на глазах. По линии Международного бюро туризма, организации ООН, приехал и обосновался в Мадриде Виктор Вячеславович Лесовский, бывший до 1973 года помощником Генерального секретаря ООН. О нем подробно сказано в книге Джона Баррона «КГБ».

Правда, это нашествие компенсируется, по мнению некоторых испанцев, радушным вниманием советских властей к испанцам в Москве. ТАСС, например, позаботился об испанском телеграфном агентстве, укомплектовав его московское бюро штатом своих переводчиков. Это серьезно снизило оперативные расходы.

Небольшие когда-то города возникают на горизонте как частокол современных небоскребов. Городской пейзаж американизировался. Больше, правда, издали, чем вблизи.

...После того как кончились, казалось, пригороды и бывшие дачные окрестности — их съел город, когда

автострада уже глубоко врезалась в бетон и сохнувшее на балконах белье, когда понимаешь, почему именно здесь, в Каталонии, выставили своих кандидатов защитники окружающей среды, взывающие: «Спасайте природу — завтра будет поздно!», когда понимаешь, что город, в который въезжаешь с севера, погиб, перед глазами возникает белая по голубому надпись: «До Барселоны — 10 километров».

Значит, еще не всё, значит, будет хуже!

Однако хуже не становится. В центре города и поближе к порту воздух даже как будто чище — продувает с моря.

Странно, в предвыборной Барселоне, которую я помню столицей испанского анархо-синдикализма, не видно анархистских лозунгов. Мне объясняют:

Анархистов осталось мало. По многим причинам. Во-первых, по ним сильно ударили репрессии первых лет диктатуры Франко. Правда, сторонники других партий оспаривают первое место по количеству и глубине перенесенных потерь. (Так, впрочем, бывает всегда после периодов тяжелых испытаний, когда политически важно быть пострадавшим. Стоит вспомнить, что после второй мировой войны французские коммунисты много лет называли себя «партия семидесяти пяти тысяч расстрелянных», не смущаясь тем, что по опубликованным официальным данным в оккупированной Франции погибла двадцать одна тысяча человек. Среди них были, разумеется, и коммунисты. Французские ученики величайшего политического Чичикова всех времен, изменив и дополнив придуманный им лозунг «если погибну, считайте меня коммунистом», присвоили себе не только всех погибших французских патриотов, а заодно и случайные жертвы, но еще и помножили их число на три с половиной.

Лозунг «партия 75-ти тысяч расстрелянных» держался долго. И никто не смел возразить. Ведь за героической французской компартией стоял героический

Советский Союз, тень Сталинграда и реальность танков. И вообще всякие сомнения на этот счет отдавали нехорошим душком антисоветизма, навечно заклеянного господином Жаном-Полем Сартром и другими прогрессивно мыслящими в то время людьми.)

Другая причина. Анархисты не были легализованы, как коммунисты и социалисты, и выступали под вывеской независимых группировок, не собравших, впрочем, на выборах заметного числа голосов.

Вопрос легализации компартии вызвал, как известно, споры в политических и правительственных кругах Испании. В связи с проведением в жизнь этой операции лишилась, по ходившим в Мадриде слухам, своей должности заведующая личным секретариатом премьер-министра Кармен Диез де Ривера. Ее как будто обвиняли в том, что именно через нее посол СССР Богомолов сумел шепнуть на ухо главе испанского правительства решающие слова, обеспечившие легализацию компартии.

Вопрос спорный. И предмет спора — между испанскими коммунистами и руководством КПСС. Спор идет не в открытую, а через формулировки. Советская печать настаивает на том, что испанское правительство легализовало компартию под воздействием международной солидарности трудящихся (то есть под советским дипломатическим нажимом), испанцы считают, что это результат их мудрой политики и лозунга «Национальное примирение». За этим спором — две концепции, два подхода и призрак еврокоммунизма. А заодно и целая цепь вопросов относительно его жизнеспособности, реальности и искренности. Надо заметить, что обе во многом противоречивые концепции выстраиваются одинаково стройно и доказательно. Одна — вокруг все более независимой от Москвы бунтарской компартии Испании. Во второй КПИ представляется как послушное орудие Москвы, а весь ее еврокоммунизм — как обман и политический маневр.

Сторонники истинности испанокоммунизма и советско-испанских партийных разногласий указывают на многочисленные объективные явления, давно развивающиеся центробежные тенденции в мировом коммунистическом движении, особенно, как стало принято говорить, среди компартий, стоящих на пороге власти. Говорят о специфике коммунистического движения в развитых странах. Кроме того, указывают на известную психологическую предрасположенность именно компартии Испании сопротивляться владычеству КПСС, ибо те, кто не полностью забыл прошлое, помнят, какой дорогой ценой заплатили испанские коммунисты за слепое подчинение линии Коминтерна, а вернее — Москвы, в годы гражданской войны. Следуя за зигзагами советской внешней политики, испанские коммунисты топили Народный Фронт, возносили до небес дорогостоящую и недостаточную помощь Советского Союза (помню купленные за золото республиканским правительством австрийские винтовки, захваченные русской армией в первую мировую войну во время Брусиловского прорыва, и пулеметы «ГОЧКИС» выпуска 1912 года с двухглавым орлом. Помню, как шесть советских истребителей коммунистическая пропаганда превращала в шестьдесят...), совершали подлости или непоправимые глупости. Непоправимые, но не забытые. Так что у испанских коммунистов есть много серьезных причин идти в авангарде еврокоммунизма.

В пользу этой концепции говорит также и то, что, будучи самыми радикальными в желании освободиться от московской опеки, они являются в Южной Европе партией, дальше остальных стоящей от власти. То есть их еврокоммунизм, который, по мнению «Нового времени», переходит в антисоветизм, может вроде и не диктоваться тактическими соображениями.

Что же выиграло или проиграло советское руководство от операции, которую можно бы назвать

«публичная порка Сантьяго Каррильо»? Что выиграли или проиграли испанские коммунисты?

«Я убежден, — заявлял в газете «Триумфо» писатель Хорхе Семпрун, — что в глубине души Каррильо этим нападкам рад, ведь они укрепили тот политический образ, который он хочет показать испанскому народу. Что за смешное или отвратительное — это уж дело вкуса — зрелище: ревнители бюрократического и репрессивного неосталинизма нападают на Каррильо слева! Словно они и суть наследники ленинизма, когда они всего лишь тусклые потомки могильщиков революции».

Нападки на Каррильо косвенно укрепили позиции тех, далеких от компартии, кругов в Испании, которые говорят: «Москва умеет разделять свою государственную политику и вопросы идеологии. Какая гибкость первой, при тупом догматизме второй!»

Существуют также два толкования поведения Долорес Ибаррури. По приезде она сказала, что «еврокоммунизм — ерунда». После нападок советской печати на Каррильо она солидаризовалась с ним. Одни видят в этом всепобеждающую, объективную силу еврокоммунизма. Другие говорят, что Пассионария не то что политического заявления не сделает, не выморкается без санкции Москвы. И то, и другое — верно. Как быть?

Я отвлекся от анархистов. Многие считают, что питательной средой их популярности в далекие годы была нищета. С исчезновением нищеты возросло влияние более умеренных партий, обещающих не сразу рай на земле со всем связанным с такой затеей риском, а легко объяснимые, доступные воображению, близкие цели: бесплатное образование, ликвидацию безработицы, дешевое жилье, повышенные пенсии.

Отчасти отсюда и еврокоммунизм Сантьяго Каррильо.

Из Барселоны в Валенсию бóльшую часть пути едешь не автострадой, еще не законченной, а старым, но улучшенным шоссе. Тем же, в основном, что и сорок лет назад. Дорога идет недалеко от моря, среди апельсиновых рощ и пасек. О ветровое стекло машины разбиваются пчелы.

Даже помни я хорошо город, я не узнал бы его силуэта. А центр?

Я задумал: как только выберем ночлег, проверю по телефонной книге, поброжу по городу, поищу гостиницу Метрополь. Почему бы ей не сохраниться? Я помнил: где-то рядом вокзал и арена боя быков.

С моим американским коллегой Джо Штекермайером мы доехали до центра и начали медленно кружить по улочкам с односторонним движением, ища подходящую гостиницу.

...Это было, как во сне. Делая очередной круг, мы выехали на площадь. Слева высилась громада арены, за ней — вокзал. Справа восьмизэтажное здание и, вертикально, огромными буквами: Отель Метрополь.

...Сорок лет назад, в эти дни, приехав из Барселоны в тамбуре переполненного вагона с выбитыми стеклами, пропитанный сажей, голодный и усталый, я оставил своих товарищей, вышел на привокзальную площадь и сразу обнаружил отель Метрополь.

В стоявших у подъезда машинах сидели загорелые блондины в военной форме, в вестибюле дежурили вооруженные охранники-сербы. За стойкой портье были, кроме служащих гостиницы, еще какие-то люди в штатском с колючими, одинаковыми во всем мире, глазами. Я точно помню, что стойка была слева от входа. Сегодня она справа от лифта, в глубине холла.

— Давно ли построен отель? — спросил Джо у портье, предъявляя наши паспорта — американский и израильский.

— В 35 году, сеньор, — ответил дежурный. — Это был тогда самый роскошный отель в городе. Я работаю здесь со дня открытия. Начинал мальчишской-посыльным.

— А во время войны?

— Во время войны, сеньор, тут было советское посольство. Я отлично помню. Всю гостиницу занимали русские.

— Вы никого не помните из тех, кто здесь жил?

— Одну минутку, сеньоры!

У дежурного вдруг объявились срочные дела. Он исчез, и мы больше его не увидели.

...Грязный, небритый и голодный, я пересек тогда площадь, вошел в гостиницу Метрополь и сказал дежурному, что мне нужно видеть товарища Орлова. После некоторого ожидания меня проводили. Если не ошибаюсь, на седьмой этаж...

Я взял ключ у дежурного и в сопровождении помощника швейцара, тащившего мой чемодан, поднялся на пятый этаж в комнату 514. Гостиница, бывшая сорок лет назад шикарной или казавшаяся мне такой, была, несмотря на свои три звезды, довольно убогая и обшарпанная.

Оставшись один, я поднялся двумя этажами выше.

Когда началась гражданская война в Испании, я жил в Париже, учился в Университете и считал себя коммунистом. Как многие другие, я рванулся ехать воевать против фашизма. На вербовочном пункте, устроенном французской компартией в доме Профсоюза металлистов на улице Матюрен Моро, 7, со мной не стали даже разговаривать, как только узнали, что я советский гражданин. Выехав из СССР в 1923 году и давно живя на эмигрантском положении, наша семья не сменила советские паспорта. И вот теперь я

из-за этого не мог попасть на фронт, мог оказаться «за бортом истории»!

Я заметался. Через знакомого русско-датского анархиста (о его сотрудничестве с советской разведкой я узнаю позже, в Барселоне) я связался с Волиным. Тот меня принял радушно, обещал переправить в Испанию через своих французских друзей, велел зайти через три дня.

Но уже на следующее утро к нам прибежал наш хороший друг Сергей Эфрон, муж поэтессы Марины Цветаевой.

— Кирилл сошел с ума! — закричал он с порога. — Зачем он связался с анархистами? Если он непременно хочет ехать, я, так и быть, ему это устрою.

И устроил. Когда я вернулся на улицу Матюрен Моро, те же люди без лишних разговоров включили меня в первую группу на отправку. Кроме того, Сергей Яковлевич сказал мне, что воевать в окопах может всякий, мне же предстоит делать что-то интересное. Только границу перейти следует со всеми. Что это будет за «интересная работа», он не сказал. Позже, в Испании, я узнаю гораздо больше и про Эфрона, и о его роли, и о том, как пронизана русская эмиграция советской агентурой. Я еще многое узнаю.

А уезжая из Парижа, я знал только, что по приезде в Валенсию мне надлежит явиться в гостиницу Метрополь и спросить товарища Орлова...

Позже мне приходилось читать, что Орлов, главный представитель НКВД в Испании, контролировавший и разведку, и контрразведку, и партизанские отряды, в которых я позже служил, и влиявший на все политические решения, был высокого роста. Возможно. Мне, кроме нашей первой встречи в Метрополе, пришлось видеть его всего один раз мельком в Барселоне. Но я главным образом запомнил, как вскочили и вытянулись тогда все в комнате. Это уже было незадолго до его бегства в Канаду, а оттуда в США. Уже

во время второй мировой войны, в Москве, я более подробно узнал об обстоятельствах этого бегства.

Орлова вызвали из Испании во Францию для встречи с высоким начальством на борту парохода «Свирь» в порту Гавр. Орлов, человек, который, приезжая в Москву, докладывал лично Сталину, пользовался редкой привилегией — он жил за границей с женой и дочерью. Взяв их с собой, он выехал на машине во Францию. После его отъезда обнаружили, что он по рассеянности взял с собой ключ от сейфа. В Париж, в советское посольство, была послана шифровка: как только приедет Орлов, пусть пришлет ключ с нарочным обратно! Орлов в посольстве не объявился и бесследно пропал. Сейф вскрыли. Там не хватало тридцати тысяч долларов, суммы по тем временам вполне солидной. Зато там было письмо. В нем Орлов (он же Никольский, он же Швед) писал, что не хочет возвращаться в СССР и обрекать себя на смерть, а семью на мученья. В том, что его вызывают не для встречи с наркомом Ежовым, а для ареста, он не сомневался. Однако он не станет врагом. В Москве оставалась его мать. Орлов ставил условие: пока его мать не тронут, он не выдаст ни одной тайны советской разведки. А тайн этих он знал много.

Когда мне рассказали эту историю, с момента бегства Орлова прошло лет пять. Его мать продолжала жить в Москве, и никто ее не трогал. Условия соглашения соблюдались.

Соблюдались они, очевидно, и после смерти матери. Когда я спросил моего друга Вилли Фишера, арестованного в 1957 году в Нью-Йорке и осужденного на тридцать лет за шпионаж в пользу СССР (Вилли был полковником Госбезопасности), почему он при аресте назвался Рудольфом Ивановичем Абелем, он ответил: «Во-первых, я знал биографию Рудольфа как свою, во-вторых, я проверял Шведа».

Орлов-Швед продолжал соблюдать условия соглашения.

...Войдя в комнату, Орлов сразу сел на довольно значительном от меня расстоянии. Меня поразила его ухоженность. Только что душ, только что бритые с одеколоном... Он был одет по-утреннему: в серых фланелевых брюках, в шелковой рубашке без галстука. На поясе — открытая замшевая кобура с пистолетом Вальтер калибра 7,35.

Мне повезло. Выслушав мои путаные объяснения: кто я, зачем и откуда приехал (его, разумеется никто ни о чем не предупредил) и почему пришел именно к нему, он не приказал охране меня пристрелить. Для порядка.

Мне повезло, что никто меня не ждал, и на «интересную работу» я попал позже, а до этого, пройдя через Альбасете — базу формирования интербригад — и службу в одной из них, я успел узнать, как воевали в Испании.

Но в то утро я обо всем этом не думал. Я был зачарован и парализован зрелищем завтрака, который у меня под носом вкушал Орлов.

Лакей в белой куртке вкатил столик с завтраком, снял салфетку и удалился. Орлов намазал маслом горячий тост, откусил уголок, принялся за яичницу с ветчиной, иногда отхлебывая кофе. К сливкам он не прикоснулся. Он не был особенно голоден. Слушал он рассеянно, иногда задавая вопросы, которые должны были меня запутать, сбить. Но в основном почти не прерывал.

Я же старался не втягиваться в еду, не показать, что я голоден, не потерять лицо. Я не ел больше суток.

Подтерев остаток желтка кусочком круасана и отпив последний глоток кофе, Орлов отодвинул столик, на котором оставалась еще булочка, масло, кувшинчик со сливками и полкувшинчика кофе, достал пачку «Лакки Страйк» (я навсегда запомнил эту зеленую

пачку с красно-белым кругом), вынул сигарету и закурил.

— Так где же, по-вашему, работает этот Эфрон?

— Вам лучше знать, — огрызнулся я.

Конца разговора я не помню.

Перейдя площадь, я вернулся на вокзал. Поезд на Альбасете уходил через полчаса.

Вместе с Джо мы пересекли площадь и вошли в здание вокзала. В суете туристов, чемоданов и орущих детей я бродил по перрону и залам ожидания, только теперь обнаружив, что вокзал этот — чудо стиля «модерн» начала века. Я заметил богатство мозаичного потолка, благородство резных дубовых дверей, изыск медных украшений.

Старик, продававший на перроне газеты, вызвался быть нашим гидом. Он ничего не знал, всё путал, не мог даже сказать, когда построен вокзал. Получив небольшую мзду, он, наконец, удалился...

— Смотрите! — воскликнул Джо.

Я обернулся. В простенке между массивными дубовыми дверьми я увидел выложенную золотом по синему фону надпись по-русски: «В добрый путь!» Эти слова повторялись на других языках.

На электронном панно, дань современности, светилась надпись. Андалузский экспресс с остановкой в Альбасете уходил в 19.45, через полчаса.

Конец избирательной кампании застал меня в большом — тысяч тридцать жителей — городе Уэска. Главная улица — центр всей жизни. Тут штаб-квартиры всех политических партий. Здесь и должны они, пока не пробил полночь, успеть всё сказать, всё расклеить, раздать все листовки. На следующий день я писал в очередной корреспонденции: «Если будущий успех на выборах можно предсказать по количеству печатного материала, заготовленного разными пар-

тиями, то Социалистическую рабочую партию Испании ожидает крупный успех».

В Уэске с балкона штаб-квартиры социалистов листовки летели фонтаном, низвергались водопадом, покрывали мостовую плотным слоем бумаги. Команды расклейщиков плакатов сновали туда и обратно, выходили с новыми свитками, клеили на еще не просохший плакат нового многокрасочного Фелипе Гонсалеса.

Во время избирательной кампании не было для социалистов слишком большого, слишком дорогого помещения; не было такого пространства, которое они не могли бы заклеить своими плакатами; на персональном реактивном самолете повсюду поспевал их тридцатипятилетний генеральный секретарь Фелипе Гонсалес. Такая избирательная кампания стоила, разумеется, баснословных денег. Печать много писала о том, что для помощи своим испанским единомышленникам скинулись социалисты Франции, Швеции и Западной Германии.

Персональный самолет Гонсалеса был не единственной чертой, напоминавшей об американском стиле избирательной кампании социалистов. Их тактика была построена в большой степени на личности главного кандидата: молодого, обаятельного, улыбающегося, с отличными зубами. Лозунги и пункты программы отходили на второй план, главным аргументом становилась личность: голосовали за Фелипе Гонсалеса. Его избирательный штаб не допускал тактических промахов. Например, такая деталь: на митингах социалистов присутствующие могли размахивать республиканским флагом. У коммунистов партийная охрана (не полиция) такие флаги отбирала. Допускался только государственный флаг Испании, королевский флаг. По мнению знающих людей, на одних этих флажках социалисты выиграли, а коммунисты потеряли много голосов.

Почти у самой Уэски дорога делает крутой поворот, и с высоты вдруг виден город. А чуть правее от этого поворота, под нависающими скалами, огрызок заброшенной, без начала и конца, старой дороги. И мне сдается, что именно здесь был убит пущенным из Уэски снарядом двенадцатого июня тридцать седьмого года Матэ Залка, генерал Лукач.

Возможно. А может быть, и нет. Я плохо помню эти места. Старую дорогу забросили потому, наверное, что не хотели возиться с восстановлением небольшого бетонного моста, взорванного в годы войны.

Именно в этих краях, но позже, зимой тридцать седьмого или ранней весной тридцать восьмого, я таких мостов взорвал четыре. Вряд ли этот мост — моя работа. Он был, судя по расположению, на республиканской территории, а те, что я рвал, были на ничейной земле. От наших позиций до них еще надо было идти и идти.

Мы ждали наступления, и меня послали с тремя испанцами, тащившими взрывчатку, уничтожить мосты.

Это было уже после того, как, прослужив в пехоте, я попал на обещанную мне Эфроном «интересную работу» в Четырнадцатый корпус, занимавшийся саботажем и диверсией на вражеской территории. Эта пустая, ненужная работа подробно и хорошо описана у Хэмингуэя в «По ком звонит колокол». Работа подрывника определила позже мою службу в Советской Армии во время второй мировой войны. Это, впрочем, уже другая история.

Я рвал эти мосты по науке, старательно — как меня учили и как я затем учил других. Взрывчатки заложил сколько нужно, заряды разместил там, где нужно. Я работал не спеша, хотя испанские товарищи меня торопили — земля была ничейной, и мог нагрянуть фашистский патруль. Взрыв получился эффектный, было много шума и дыма. Быки моста рухнули,

а почти целое полотно просто осело, упираясь в дно высохшей речушки. По нему мог пройти не то что танк, а грузовик — если с осторожным водителем. Я очень себя за это презирал.

Глядя через сорок лет на мост, над которым трудился кто-то другой и с точно таким же результатом, я утешился. Дело было, очевидно, не только в моей бездарности как подрывника. Просто эти маленькие бетонные мостики очень живучи.

А наступление началось. Не там, конечно, и не в то время, и не на этих дорогах. Но началось и закончилось, как известно из истории, нашим полным разгромом и победой армий генерала Франко.

Победой?.. Я вернулся от разрушенного моста к машине. С противоположной стороны дороги высился огромный рекламный щит: «Отель Педро Примеро. Уэска». Три звезды.

Там я и остановился.

На арагонском плато ночи холодные. Мы тащились по этим дорогам, чтобы с первыми лучами солнца 12 июля 37 года выйти на позиции и атаковать Уэску. Под тяжестью вещевого мешка, винтовки и ящика с пулеметными лентами я с непривычки еле передвигал ноги. Пот лил с меня градом. А когда нам давали несколько минут привала, я ощущал жгучий холод на лице и руках, но тут же валился на придорожные камни и засыпал.

...Свет фар бледнел. Начинали лиловеть горы. Дорога была пуста. Я свернул с шоссе и поехал проселком. Отъехав от города, остановился. Здесь? Как будто здесь мы тогда вышли на позиции. Но было уже утро, ведь мы опоздали. И начали углублять окопы. Вернее, не окопы, что-то вроде межи. Укреплений не было. Только в том месте, где под углом сходились эти убогие канавки, был один глубокий и просторный блиндаж. Там был полевой бардак испанской

части, которую мы сменили. Девоч убрали, и в блиндаже устроился штаб бригады. Именно отсюда вылез к началу атаки наш храбрый командир Янек Барвинский. Взмахнув свернутой в трубку газетой, он крикнул: «Хлопцы, напшуд!» И упал. Нет, не мертвый. Просто он был пьян до бесчувствия. Он свалился в блиндаж и проспал весь этот злополучный бой. А убили его уже во вторую мировую войну в Польше, где он партизанил. В каком-то доме культуры даже стоит его бюст.

С того места, где я остановил машину, видно было поле, а за ним в утреннем тумане — город и шпиль старинного собора.

Таким вот, только мрачным, смотрелся он нам тогда. Почти полностью окруженный нами, осажденный город. Я сверил по карте, которую срисовал с фотоальбома. Только одна дорога оставалась тогда открыта для осажденных. Та, по которой я сегодня ехал, была нами перерезана.

Там, правее, были наши итальянские части. Бригада имени Гарибальди. Помню, когда начался бой, на фоне ружейной и пулеметной трескотни их крики: «Аванти, Гарибальди!» и хлопушки ручных гранат.

Вон то строение — ферма как будто — кажется, на том самом месте, где был блиндаж, в котором Янек Барвинский провел бой в пьяном ступоре. Следов окопов как будто нет. Но там, где в начале боя была наша пулеметная команда, окоп переходил в высохшее русло реки. Там сейчас что-то блестит. Весна была дождливая.

По этому голому полю нас тогда погнали в атаку на выдвинутые вперед пулеметы фашистов. Без артиллерийской подготовки, без серьезной поддержки с воздуха, почти без танков.

Какие-то танки были. Они елозили по руслу этой речушки и не вступили в бой.

От одного из них я в ужасе бросился в какую-то яму, и мне было стыдно, когда понял, что это наша машина.

После ночного марша, рытья окопов, в состоянии страшной усталости и невыносимого страха я ждал смерти. А бой, как я понял потом, еще и не начинался. Мы еще не ходили в атаку. Мы всё равно уже запоздали часов на пять. Солнце палило, противник поливал нас из пулеметов и легкой артиллерии, стонали раненые... Люди лежали в неглубоких, наскоро вырытых окопчиках, вдавливаясь в землю, и ждали.

И тогда я отполз от моих товарищей. Никто, впрочем, не обратил на меня внимания, никто не поднимал головы. Через несколько минут, мы знали, надо будет подняться и бежать туда, навстречу свинцовому ветру.

Я отполз от товарищей, достал из кармана красный шейный платок, подаренный на память в Париже, повязал его себе на голову.

И вылез из окопа.

Пудовая тяжесть страха давила и прижимала к земле. Я сделал над собой огромное усилие и встал в рост. Я закрыл глаза и стал считать про себя. Так я стоял, пока не перестали дрожать колени, пока я не начал ровно дышать. Тогда я вернулся к товарищам, так и не заметившим моего отсутствия.

А вскоре, вместо того чтобы поддерживать наступление огнем, мы пошли в атаку со всеми и тащили наш пулемет, установивши его на какое-то время впереди. А потом мы бежали обратно. И я бежал и полз со всеми. Я долго хранил пояс с царапиной от пули.

Я думал, что страх побежден навсегда. Надо было дожждаться конца испанской, потом второй мировой войны, надо было дожждаться мирного времени и приглашения в гостиницу «Москва» на беседу, чтобы страх вернулся. Оцепеняющий, липкий, гнусный.

Побрившись, надев чистую рубашку и попросившись с матерью, я шел тогда на это свидание, уверенный, что не вернусь с него, но полный решимости не соглашаться на предложение, которое, я был уверен, будет мне сделано. Был 1949 год, и всякий «истинно советский человек» должен был стучать.

Отказаться оказалось не легче, но и не труднее, чем вылезти из окопа под Уэской.

Какая тупая скотина, какой партийный кустарь-самоучка, учившийся воевать по кинофильму «Чапаев», послал нас тогда умирать на эту тарелку перед Уэской? За это утро мы потеряли около шестисот человек. И ушли.

... Его партийная кличка была Миша. А на самом деле этого еврейского мальчика из Бухареста звали Вениамин Бург. Мы встретились на вокзале в Париже, оказавшись в одной группе отправлявшихся в Испанию добровольцев. Вместе мы перешли пешком Пиренеи, вместе приехали в Альбасете, вместе сбежали на следующее утро в бригаду Домбровского. Наше путешествие продлилось шесть недель, и мы успели сдружиться, пока скрывались во Франции от полиции.

А Миша ехал от Бухареста до Испании одиннадцать месяцев. Границы он переходил нелегально. Его ловили, сажали в тюрьму, выдворяли обратно. Потом он догадался говорить, что пришел из той страны, куда ему надо было попасть. Тогда полиция привозила его ночью на границу, и пинком в зад переправляла к соседям. Дело пошло живее.

Ночью мы приехали в Альбасете, утром нас отправили в одну из окрестных деревень для прохождения элементарной военной подготовки, в полдень прибежал Миша: «Скорее, уходит эшелон к Домбровскому, нас возьмут, я договорился, в дороге научимся!»

Научились. Перейдя границу 9 июня, мы пошли в первый бой 12-го.

Миша был убит пулей в лоб, как только выступил из окопа. Он лежал с другими, лицом вниз. В левой руке был зажат пук жухлой травы.

Я больше никогда не поеду в Уэску.

Старик с ослом, в берете, кепочкой надвинутым на лоб, шел мне навстречу.

Я не стал спрашивать его, что он помнит и что знает. Он бы мне ответил, что он моложе меня, что был тогда ребенком или жил в другом месте.

Я не верю тебе, старик. Ты из тех стариков и старух, что стоят у обочин дорог, прикрываясь от солнца ладонью, и равнодушно смотрят вслед тем, кто идет умирать...

Я больше никогда не поеду в Уэску.

Старый, больной Дон-Кихот.

Рекомендательное письмо, в котором объяснялось, кто я и с какой стороны воевал, опоздало, и мой хозяин не подозревает, что я был «у красных».

— Уже пять месяцев, дорогуша, не могу избавиться от воспаления легких... Да, это моя жена! Прелестное создание! Пусть вас не удивляет разница в возрасте. Наследие арабов!

Жест в сторону портрета красавицы жены. Это на одной стене. А на другой — русская императорская фамилия. В углу, на столике, портрет Франко.

— Я испанец, дорогуша! Да, Михайловское училище, мировая война, гражданская... Но я воевал за Испанию. Я стоял у колыбели национальной Испании. Я горд, что принял из рук Франко боевую награду. Только Франко был способен создать нацию. Не успел. Халдеи, бездельники!

О, армия не хочет гражданской войны, но если понадобится подавить уличные беспорядки огнем!..

Хозяин начинает честить испанцев.

Франко однажды сказал: «Война показала, что у нас есть армия и что у нас есть вождь. Нам остается создать народ. Но для этого необходимы порядок и дисциплина».

— Как это верно! Бездельники, халдеи! Впрочем, милые, добрые, благородные люди. Но разве они достойны такого вождя!

— Всё гибнет, всё рушится. Для чего я жил, для чего? Я воевал с восемнадцати лет. Здесь, в Испании, я был офицером рекетэ — частей особого назначения. Я мнил себя победителем. Я участвовал в параде победы, я принял боевую награду из рук Франко... А сегодня? Этот убийца Каррильо разъезжает по Мадриду в блиндированном автомобиле! Кто же победитель, кто побежденный?

«Кто же я — победитель или побежденный?»

Это уже я спросил себя, выйдя на улицу, так и не признавшись хозяину в том, что воевал против него.

Старый, больной Дон-Кихот в стеганом халате, с шелковым шарфом на шее. Как мне хотелось обнять его, прижать к себе вздрагивающие от рыданий плечи...

Я сказал ему, что он не всё проиграл, если не изменял себе и делал то, во что верил. Я не сказал, что он не совсем проиграл, если сумеет умереть без страха и рисовки. Этого я ему не сказал. И не в силах был сказать это тебе, когда звонил в Москву с центральной телефонной станции в Мадриде.

— Не купили? Напрасно! В Испании надо покупать замшу!

ХЕНКИН Кирилл Викторович — род. в 1916 г. в Петрограде, детство и юность провел во Франции, окончил Парижский университет. В 1937-38 гг. был бойцом Тринадцатой Интербригады республиканской армии в Испании. С 1939 г. преподавал французскую литературу в США. В 1941 г. вместе с родителями вернулся в СССР, во время войны служил в специальных (партизанских) частях. В 1945-47 гг. работал во французской редакции московского радио, затем занимался переводами на французский и с французского (в частности, Сенанкура, Мольера, Ануя, Ионеско). В 60-е годы работал в Праге переводчиком в журнале «Проблемы мира и социализма» и был свидетелем вторжения советских войск в Чехословакию. 26 авг. 1968 г. вместе с женой был выслан советскими властями из Праги в Москву. До отъезда в Израиль работал только внештатно. Эмигрировал в 1973 г. В настоящее время живет в Мюнхене, работает обозревателем Радио Свобода.

ПОПРАВКА

В статье А. Федосеева («Континент» №15) вторую фразу первого абзаца на стр. 178 следует читать:

«Нужна, конечно, основательная и детальная разработка конституции Новой России в качестве альтернативы социализму и нынешнему монополистическому капитализму.»

Текст в скобках после слов «Новая Россия» — *(Новой Украины, Литвы, Армении — любой страны, которая отделиться от существующего государства социализма)* — представляет собой редакционное примечание, что не было указано по досадному недоразумению.

Редакция приносит автору глубокое извинение.

ИСКУССТВО

Валерий В а л ю с

КАРТИНЫ ОТЦА

Он был художник. Петр Адамович Валюс. Родился 18 мая 1912 года. Умер 13 февраля 1971 года. Жил в Москве.

Его картины висели на стенах в мастерской. Два месяца при его жизни и четыре с половиной года после смерти, пока власти не отобрали мастерскую. Раз в неделю ее открывали для зрителей. Летом обычно бывало немного народу, человек 15-20 в день. Осенью и зимой — раз в 10 больше. А первые дни после открытия стояла плотная толпа. Впоследствии картины хранились дома у моей матери, в комнате, где были написаны. Поработать в мастерской отец не успел.

Раньше, до мастерской, казалось, что они совсем разные. Что на каждую тему отец писал по одной картине. Но когда они сразу все вместе оказались на стенах, стало ясно, что они объединены не только стилистически. Картины начали как бы переговариваться между собой, иногда дополняя друг друга, иногда споря. Пространство внутри мастерской стало напряженным — вещи у отца трагичные, почти все. Полные боли, отчаяния. Но через некоторое время вы вдруг замечали, что стены с полотнами не давят. Прямоугольники холстов как бы подавались вглубь, и оттуда тянуло молчанием и прохладой открытого пространства. По мастерской начинали ходить беспрепятственные сквозняки.

Я расскажу немного о картинах, о том, как они переговаривались между собой, и об отце.

Итак, «Начало». Описывать эту картину не буду. Потому что не могу описать так, чтобы было ясно главное, очевидное при первом взгляде на нее, — что это начало. Что художник сбился. В ней отец впервые полностью вошел в свой внутренний мир. В мир кошмаров, фантазий и жгучего опыта, не стертого памятью. В мир, где живет самое страшное и самое прекрасное, что он мог себе представить, потому что если не там, то где же им еще находиться. И еще неизвестно, что страшней — кошмары или соблазны. Потому что очень немногие не боятся красоты. Даже художники. В этом мире все переменчиво, как переменчивы мысли, и тем не менее именно здесь можно найти единственную опору. Здесь раскрываются неведанные глубины, а в неожиданных местах вдруг вырастают глухие стены. И здесь не законы эстетической гармонии действуют. Как может быть гармоничной, например, боль, тоска? А законы, по которым движется мысль?

Хотя на вопрос, какая у него живопись, сам он обычно твердо отвечал: «Я — реалист». Конечно, в этом ответе определенную и немалую роль играла осторожность. Картины-то все равно написаны. Иногда он добавлял: «Ведь реальны слезы, боль, радость». А реалистическую живопись он определял словами «иллюзорное искусство». Возможно, это определение полемично и излишне горячо. Ведь он любил многие произведения старых мастеров. И впоследствии он редко пользовался словом «иллюзорность». Возможно, также потому, что его понимание иллюзорности распространилось с картин на многие явления жизни, в которой вдруг проглянуло лицо другой реальности. Его живопись меняла его самого. Даже внешне. И отношение к нему окружающих.

«Ника». Эмоциональный конфликт, достигший своего предела и срыва. Она дана в полете, броске, падении. По диагонали холста из левого нижнего угла

в правый верхний. Растерзанная, беззащитно обнаженная грудь, рот, раскрытый в крике, золото волос, вставших дыбом. Весь торс, бедра, грудь подчеркнуты дополнительными контурами, передающими движение. И в каждом из намеченных положений она остается изящной.

Видимо, художник любил свою Нику кровью и умом. Ее крылья переливаются розовым, голубым. Но они слишком пушисты и заломлены назад, а действие картины слишком непосредственно, чтобы поверить в условность: «раз есть крылья, значит она летает».

Окружение — мир Ники — беспросветно и мрачно. По цвету оно напоминает более раннюю картину «Дудинка» — северный город, построенный заключенными и стоящий на их костях. Но в «Нике» пейзаж абстрактнее, и в нем преобладают вертикали. Ника — дитя большого города. А может быть, это и не пейзаж, а мироощущение Ники, возможно, глубинное, скрытое, но лишаящее любое стремление последнего доверия, позволяющее ему длиться лишь столько, сколько длится усилие. Из праха мы вышли и в прах уйдем.

В 1968 году у отца было две выставки в закрытых институтах. У химиков и у физиков. И на обеих этих выставках «Нике»-картине пришлось выступить в роли самой Ники. Дело в том, что в нашей стране есть темы, в искусстве официально разрешенные и даже поощряемые, и темы неразрешенные. И, разумеется, изображение страдания, если отсутствует указание на разрешенную его причину, недопустимо. Поэтому «Ника» экспонировалась под названием «Ника атомной войны» (бороться за мир разрешено) — под названием, несколько суживающим смысл и даже уводящим в сторону, чтобы спасти ее право и право других полотен висеть на стенах. Победа!

Впрочем, не у одной «Ники» название было не самым точным.

«Святая» называлась «Суздаль. Тишина.» («это не религиозная тематика. Ну и что ж, что церковь. Русский колорит. Вроде сувенира»).

«Суд идет» называлась «Инквизицией» («это не у нас и не в нашем веке»).

«Распятие» — «Поверженным» («не Христос! И не терновый венок, а колючая проволока»). И т. д.

А «Лета» называлась «Лета — река смерти». Просто, чтобы не подумали, будто это «Лето».

Многие его картины — о женщинах. Они разные: русалки-соблазнительницы, святые, матери, стервы, цветы, Ника. Когда я говорю слово «русалка», то имею в виду одну очень грустную мысль. Что не всякой женщине, которая нравится, даже если она очень нравится, следует доверять. Неожиданно для себя можно очутиться без воздуха, под водой. А словом «стерва» я обозначаю холодное, сосредоточенное, злое состояние, которое наступает при сильных или длительных напряжениях, истощающих запасы души и тела. В некоторых работах отца изображены беременные женщины — тоже матери. А «цветок» означает красоту и уязвимость — независимо от того, что изображено: цветок, женщина или мужчина, как, например, в картине «Суд идет». Эти определения — не описание картин, а скорее то, как я в них ориентируюсь. Так, женщина в картине «Ника» — это «Ника» плюс «соблазнительница». А в картине «Москва, 41 год» — «святая», «мать», «стерва» и «цветок» одновременно.

Так что мои определения не могут точно соответствовать работам. И я буду описывать вещи конкретно.

«Лета». Здесь изображен он сам, в своей тоске — обнаженный человек на фоне реки, замкнутой темными берегами и небом, среди огромного и в то же время

давящего пространства. Давящая необъятность — не только пространство («просторы Родины»), это и неопределенная длительность разлуки и реальная близость небытия. Вечности. Прошлой, чужой, вашей и будущей, чужой, вашей. А ласкова здесь лишь вода, и то у самых ног на мелководье.

Человек одинок, хил и стоек. Он обнажен до нервных токов, до чувств, которые видимы. Нежное голубоватое место на ноге около колена, красные горячие кисти рук, горделивая грудная клетка, голова, обращенная к горизонту и за горизонт. На небе то ли облако, то ли фигура покойника. А у человека горе, боль, вина, бессилие проступили на горле продольной раной. Белое пламя охватило человека, язычком поднялось у головы. Что-то это пламя прохладно. Можно, конечно, сказать — сублимация. А может быть, наоборот — возвращение, осознание своей изначальной сути. Удивительнее всего, что пламя здесь не символ, а непосредственное переживание.

Горячий взгляд человека «Леты» — красное на желтом — обращен прямо к зрителю. Буквально он в других работах не повторяется, но мне кажется, что он в них есть. Так, в картине «Распятие» вся Вселенная, над которой распят Христос, смотрит на зрителя взглядом Леты. Хотя тут совсем и не красное на желтом, а холодные, синие, фиолетовые тона. И в одной из последних работ темперой неожиданные красные цветы кактуса раскрываются зрителю тем же взглядом.

«Начало», «Ника», «Лета», когда вы их видите впервые, вызывают чувство, что вы являетесь свидетелем того, как выплескивается наружу что-то затаенное, наболевшее, пролежавшее долгие годы. Потом, в других работах, это впечатление сглаживается, и уже не разберешь, то ли это старое воспоминание, то ли свежее впечатление. Как будто художник освоился со своим новым знанием и просто стал думать своими

работами. В «Нике» и «Лете» впервые появилась линия, характерная для его картин. Это линия-разряд, указатель пути энергии, прорвавшейся в перенапряженном месте. Вот сила сдавлена, затаилась. Сколько времени? Секунды, годы... И вдруг неожиданно он снова прорывается до своего предела, раскалывая действительность.

В 1947 году отец бросил инженерию, чтобы заняться живописью. С работы тогда не отпускали, но в законодательстве нашлась щелочка. Старичок-юрист дал точный совет. Был тогда брошен лозунг — всегда ведь брошен какой-то лозунг — так вот, тогда лозунг был: «Специалисты — на периферию». И отец откликнулся. И его отпустили (может, точнее сказать — выпустили, упустили). И он никуда не поехал. Оказывается, специалисты, уехавшие на периферию, не обязаны были туда доехать. Моя мать тогда же бросила службу, чтобы профессионально заняться литературным творчеством. Деньги, прикопленные на переходный период — думали, ну, может, на год хватит, — погорели в реформе 1947 года.

Я не очень помню то время, но осталась старая фотография. Молодые, худые, грустные родители сидят, прислонившись друг к другу, на диване. На стене — репродукция «Обнаженной» Ренуара. Рыжая собака положила на колено отцу сочувствующую морду. И единственно счастливый — это я. Сажу на шею у отца и радостно смотрю в фотоаппарат.

Какое-то время отец был безработным. Биржа труда — тогда была такая. Одно время он работал декоратором в детском театре. Помню, водил меня на спектакли и за кулисы. Это было действительно сказочно. Потом он стал оформлять обложки. Сначала в Музгизе, а затем и в других издательствах. Стал книжным графиком. «Свободным художником». Научился зарабатывать деньги вне службы. Я хорошо помню — впечатывалось из вечера в вечер: темная

комната, свет только в секретере, и у секретера — отец. Сидит, пишет шрифты. Это была кропотливая работа. Не знаю, как другим художникам, а ему она давалась трудно. Кисточки у него были тонюсенькие...

Наступил период относительного материального благополучия. У мамы к тому времени начали выходить первые книги. Было тогда то, что пожилые люди обычно вспоминают словами: «Весело жили. Молодые были». Застолья, гости до рассвета. Я, тогда ребенок, воспринимал праздники как норму жизни. Наверное, поэтому запомнились случавшиеся иногда непонятные мне трещинки в веселье.

Художником-живописцем отец стал, когда ему было 50. Такая линия. Умер он в 58. От рака.

Благополучие нашей семьи не распространялось, естественно, на жилищную проблему. Жили в одной комнате папа, мама, бабушка и я. Только в 1962 году родители получили отдельную двухкомнатную квартиру. Конечно, жилплощадь мало что объясняет и далеко не всем помогает найти призвание. Но всё же хорошо, когда она есть.

Художником отец хотел быть всю свою жизнь. Занимался по разным студиям. Иногда скидывался с друзьями-художниками на натуру, и работали у кого-нибудь дома. Иногда писали портреты знакомых. Он часто ездил за город на этюды. Писал небольшие пейзажи маслом на грунтованном картоне. При разной погоде, в разное время года. Особенно любил вечер. Писать тогда, правда, трудно — освещение быстро меняется. Но зато там есть такой час — внимательного молчания. Называется, кажется, Шарагаджина. Иногда писал городские пейзажи. Обычно на задворках: меньше зрителей за спиной и реже попадал в милицию. Народ с подозрением относится к живописцам («Кто такой? Зачем срисовывает? Почему не на работе?»). Когда отец уезжал из Москвы, то, как правило, брал с собой этюдник.

Из студий, в которых занимался отец, опишу только последнюю. Ею руководил Элий Михайлович Белютин. Он знакомил студийцев с принципами и приемами современного искусства: динамическая композиция, деформация пространства, условный цвет... Показывал репродукции работ современных художников. Не Пикассо, Матисса, Ван-Гога, их работы после смерти Сталина снова можно было видеть в Пушкинском музее, а новые, совсем неизвестные у нас ранее имена: Поляков, Брак, Бюфе, Клее, Сутин, Бэкон... «Надо раскрепоститься. Писать от живота», — говорил учитель. Отец приносил тогда домой странные вещи. Например, зима в синем или оранжевом ключе. Летний лес — красными красками.

Занимался в студии Белютина отец недолго. Он всегда стремился к самостоятельности и, видимо, взял на занятиях то, что ему было нужно. Он с раздражением отзывался об учениках, бездумно следующих любому указанию мэтра.

Но были и другие причины разрыва. «Мы — официальная оппозиция», — объяснял Элий Михайлович своеобразие и защищенность своей студии.

«Официальная оппозиция» — что это? В нашей стране оппозиция если и возникает, то отнюдь не защищена и далеко не благополучна. Конечно, есть несколько талантливых стойких людей, писателей, поэтов, бардов, скульпторов — может быть, меньше всего художников, настолько известных, что их невозможно подмять или заглушить. Во всяком случае, без скандала на весь мир. Но ведь Элий Михайлович не такой. Может быть, у него «рука»? Сидит где-нибудь в аппарате высокопоставленный чиновник, друг детства, и говорит: «Этого не трогать. Пусть ведет занятия, как хочет». Или не одна «рука», а несколько. Обширные связи. И не только дружеские, но и вполне деловые. Коллекция у него дома потрясающая. Стены увешаны впритык, до потолка. Тут и подлинный Ру-

бенс, и иконы, и маленькие голландцы... Причем экспозиция меняется. Материальные возможности огромные.

Ну, а если не подменять слов «официальная оппозиция» собственными объяснениями, что, мол, руководитель талантливый, удачливый, ловкий, богатый? Тогда встают два вопроса: для чего она и какая организация ею руководит, хотя бы и незримо для ее участников. На второй вопрос ответ простой — КГБ. Не милиция же. И не Союз художников — там начальству и без официальной оппозиции горячо жить.

Для чего она? Ну, может, для иностранцев. Что-бы было что показать как образчик творческой свободы. Еще для управления общественным мнением. За границей и внутри страны. И для выявления подлинной оппозиции.

Что, если именно с этой точки зрения взглянуть на большую выставку в Манеже, которую показали Хрущеву и на которой он плевался и топал ногами? Никита Сергеевич в общем-то не виноват. Ему сказали, что такие-то картины плохие, он и возмутился. Сам он в живописи ничего не понимал. Особенно сердит был он в помещении буфета, которого в тот день не было, а на стенах были развешаны картины белютинцев. На следующий день в газетах появились разгромные статьи. Удар пришелся по многим художникам. Элий Михайлович выдержал его благополучно. Продолжал вести занятия и даже купил двухэтажную дачу в Абрамцеве.

Отец в Манеже не выставлялся, хотя Элий Михайлович и уговаривал. Он остерегся приобретать известность в качестве белютинца.

Последний раз он был у Белютина в 1964 году, когда тот пригласил его и нескольких других художников пожить и поработать у него на даче в Абрамцеве. Отец пробыл там четыре дня. Работали интенсивно. Перед отъездом устроили выставку под откры-

тым небом. Пригласили зрителей. Был там и я с друзьями. На снегу под яблонями, в огромности ландшафта, картины казались невыносимо обнаженными и уязвимыми. В доме мне показалось артистично и уютно. Белый пудель лежал на диване. Поэт Худяков читал стихи — синтез и переплетение искусств, — в которых я не понимал ни слова. Элий Михайлович показал несколько своих работ — светлых абстрактных композиций — и каталог недавней выставки в Польше.

Отец написал тогда три работы: «Москва, 41 год», «Лету» (первый вариант. Та, что я описывал, — второй, а первый так и остался в Абрамцеве. Впрочем, где сейчас — не знаю). И еще — «от живота, так от живота — смотрите, Элий Михайлович», — «Поцелуй Иуды». Картина несколько напоминает икону, хотя выполнена безусловно в современной манере. Может быть, приглашение на дачу — это тоже поцелуй Иуды?

Есть у отца работы и с прямым политическим содержанием. И отношение автора в них выражено тоже прямо.

«Суд идет». Фигуры судей-палачей объединены черной тенью гиганта, являются частями этого гиганта, его исполнителями. Один на всех огромный кулак — красное. Один рвякающий рот — зеленое. Одно недремлющее око. Сверху раздражающий желтый свет — их воздух. А посередине и немного внизу — как из другого мира — стрельчатое окно с крестовидным переплетом и на фоне окна подсудимый. Фигура дана только белым контуром. За окном прозрачная глубина — мир подсудимого, «вещественное» доказательство его вины и состав преступления.

Студию Белютина отец оставил. Оказалось, что не оставили его. Есть такой Салон по продаже картин за рубеж. Какое-то время он был закрыт — там сильно проворовались. Сейчас, кажется, снова работает. Отец одно время сдавал туда работы. Художествен-

ные советы (их два — один за другим) там снисходительнее, чем в других местах. Кое-что «проходило». Не основные вещи, конечно. Хотя однажды он привез туда и их. Просмотр шел под хохот. Отец сидел в коридоре и слышал — художники на худсоветы не допускаются. Отклонили все, даже не голосовали. Так вот, двое сотрудников Салона попросили однажды разрешения прийти в гости с иностранцами. Посмотреть картины.

Иностранцы оказались представителями фирмы Марлборо, имеющей галереи во многих крупных городах мира. Они приехали в Союз специально для покупки произведений современного искусства. Живопись отца им понравилась, и они захотели купить. Все. Так легко и просто. Продать им, конечно, не продали. Их запросы в Министерство культуры так и остались без ответа. А цену узнали — своим искусствоведам рискованно доверять. Видимо, игра стоила свеч. Потому что...

Сначала прижали почти незаметно. Перестали принимать картины в Салон. Пусть понервничает, покорпит над обложками, если сумеет получить заказы. Ведь связи с издательствами — дело живое. А отец, после того как стали принимать вещи в Салон, чуть ли не год там не показывался. Потом те же сотрудники Салона познакомили его с итальянцем — Энио Луконном.

Тот однажды пришел в гости один и попросил отца продать ему какие-то работы. Отец согласился. Энио Лукон выбрал две картины. Затем он очень подробно объяснил, что расплачиваться советскими рублями, как хотел отец, ему крайне неудобно и, кроме того, это глупо со стороны художника. Посоветовал подумать денек, сходить в валютный магазин и убедиться. Картины он увез на своей машине.

Мои родители ходили в «Березку» и убедились. Разницы в ценах были ошеломляющие. И в ассорти-

менте тоже. Но в тот же вечер отец узнал, что Энио Лукон — из КГБ. На следующий день Энио приехал с деньгами. Не с рублями. И когда отец отказался, то попытался их подсунуть под газеты на книжной полке в прихожей. Да-да. Как в детективе. Счастье, что отец заметил. Выгнал вместе с деньгами. Картины Энио Лукон вернул.

Конечно, отец боялся. Ведь дело он имел с профессионалами. Подловят не на «валютной операции», так на чем-нибудь другом. И посадят. То есть сначала предложат работать на них. Как именно работать, очень внятно объяснил однажды один знакомый: «Что вы, Петр Адамович, так боитесь КГБ. Это далеко не самая плохая организация. Далеко не самая косная. Вы показываете иногда свои работы дома. Прекрасно. И продолжайте. При наших людях. А предложат продать — продавайте. Тем, кому мы посоветуем. Ну, а если какого-нибудь бизнесмена поймают на таможне с вашей работой, то скорее всего ему ничего не сделают. Может быть, попросят о какой-нибудь услуге в обмен на вашу картину или на отсутствие скандала. Для пользы государства. У вас сложности с выставками, с реализацией. Мы сможем вам помочь». Рука потянулась к телефону. «Нет».

А для отца такая служба была бы концом всего, к чему он стремился. В частности, концом творчества. Потому что именно творческим бессилием расплачиваются люди за участие в системе, основанной на приказах-угрозах, явных или скрытых, системе, паразитической по своей сущности. Значит, он откажется сотрудничать, даже если будет у них на крючке. Тогда посадят.

Но он их обманул. Использовал имевшуюся возможность сосредоточиться и работать. Написал свое последнее слово заранее. Картину. Его не посадили. Но он написал то, что думал. И через что прошли многие.

«Распятие». Изможденное светящееся тело распростерто над миром, над Вселенной, на грани с небытием. Хрупкий собственный свет не защищает его от конфронтации с реальностью креста. Лишь кое-где свет как бы выступает из тела: у шеи, немного у руки. Человек повернут головой вниз. Почему? Ну, может, подвесили, чтобы удобнее было бить ногами в лицо или плевать. А скорее всего он уже там, где нет ни верха, ни низа. Разбитые глаза, рваный черный провал рта, в котором не видно зубов, изуродованные окровавленные кисти. Кто же не представлял себе, как срывают ногти, выламывают суставы, расплющивают кости?! Фигура воспринимается тройственно. Это и Христос, распятый на кресте: на голове терновый венок, на груди у сердца — кровь. Это и просто замученный человек. Это и положение, самоощущение человека в мире. Вселенная, над которой он распят, разнообразна по цвету, хотя преобладают холодные трагические тона, причем каждый цвет отчетлив, даже когда один проглядывает из-под другого. Почти все последующие картины художника по цвету в большей или меньшей мере тяготеют к «Распятию».

Когда отец был болен, но еще до открытия мастерской, он сказал: «На похоронах цветов не надо. Поставьте у гроба одну картину — «Распятие».» Он действительно считал ее своим последним словом. Но в последний месяц жизни он нашел силы работать. И написал свои последние картины. О жизни и смерти. И распоряжение о похоронах он тоже отменил. Открыли мастерскую и появилась возможность показать людям не одно «Распятие», но и другие работы.

История с Энио Луконом висела над ним до самой смерти. В последний день жизни он рассказал ее хирургу, который делал ему переливание крови. Мама заплакала: «Петя, о чем ты думаешь. Зачем ты себя мучаешь». — «Не мешай, Аня. Я хочу, чтобы об этом знали».

Последние работы отца маслом — января 1971 года.

«Портрет жены». Первое впечатление, что картина синяя, хотя написана она разными красками, иногда контрастными. Светлым пятном выделяется лицо женщины. Сомкнутые пальцы ее маленькой ладони касаются вазы с букетом осенних листьев — пламенем осени. Сплошным голубым дан прямоугольник окна. Почти в каждом месте картины взгляд не удерживается на изображении, а соскальзывает с него вглубь. Но не в глубину интерьера, а скорее в глубину ночи. Или времени. Предсмертное объяснение в любви и последний подарок.

«Художник». В мастерской эта работа висела на центральном месте. Не только из-за темы, но и из-за красоты и насыщенности цветом. На картине изображен вихрь, в центре которого, широко расставив ноги, стоит художник и работает. Теснота вихря его не затрагивает, и он свободен в своих движениях. Фигура художника почти бесплотна, растворена в светлом воздушном пятне и лишь с трудом просматривается по тонкому желтому контуру. Картина, которую он пишет, не очерчена прямоугольником холста — творчество не ограничено! — но она ярче и реальнее всего окружающего. В вихре видны фигуры, напоминающие персонажи его других полотен. Иногда это даже не фигуры, а обрывки, намеки на них. Вот — синее на пурпурном — напоминает женщину. Видимо, ей так и суждено проскользнуть, оставшись тенью.

Крылья фигуры, похожей на перевернутую Нику, в левой нижней части картины образуют как бы край площадки, на которой разворачивается действие. А вне вихря — провалы в глубину, в холодную пустую бесконечность, в которой горит маленькая желтая точка.

«Конец». Эта работа почти стенографична. Хотя многие ее не понимают. Видимо, потому, что от-

талкивают от себя мысль о смерти, не верят, что на этой грани происходит что-то важное для умирающего и для остающихся в живых, что-то кроме самого факта смерти.

Широкая белая полоса повисла в пустоте. Над полосой последним усилием поднята голова, мозг человека, смотрящего широко раскрытым взглядом на неожиданно опустевший мир. Боль подступила к мозгу со всех сторон. Красным углом захватила челюсть, черным провалом съела лицо, терновым венцом оплела сверху. Болевой порог смерти отец к тому времени переступал много раз. Знал, что боль снимают уколы — уколы, дающие забыть, из которого он мог не вернуться.

Прямо за головой в полосе — яма, которая ждет. Около ямы хлопочут, стараясь что-то сделать, энергичные тени. А вдоль полосы прямо посередине — шов с поперечными стежками-зарубками. Это может быть и шов савана, и шов от операции (от лопатки до пупа), развернутый в прямую, и масштаб времени. Застывшего времени. Потому что от него уже нечего было ждать, кроме того последнего мгновения, когда оно захлопнется. И поэтому время мерилось не днями и минутами, а его собственными поступками.

Последняя попытка определить судьбу картин — коллекционер Георгий Дионисович Костаки. Последний выход из дому — к нему, посмотреть коллекцию. Какое там застолье, добраться бы обратно. Написал в книгу отзыв: «Благодарю за показ». И устно — отказ продать «Распятие». На лестнице, уже дома, отцу стало плохо. Но он оттолкнул помощь. Сам взбежал оставшийся пролет и — ничком на кровать. Лопнувшая надежда. Прощайте, Георгий Дионисович. Отец очень хотел довериться. Но этого не сделал. Слишком неопределен оказался характер «фирмы». Знакомо неопределен, хотя и стиль другой — с гитарой и застольем, а не с белым пуделем и поэтом.

...С разных сторон от белой полосы — две планеты. И еще кое-где редкие разноцветные огоньки. Как-то теплее от того, что они есть. Одна планета голубоватая, пустая — видимо, Земля. Фиолетовым облачком слетает с нее последнее покрывало. Многое из того, что волновало, занимало жизнь, стало неважным навсегда. Другая — написана кобальтом фиолетовым светлым — цветом, редко встречающимся в повседневной жизни, цветом одновременно холодноватым и пламенеющим, ярким и сдержанным, насыщенным и прозрачным. Не Солнце и не Луна. Его планета. Состояние души, осветившее конец.

*
*
*

Тонкий желтый контур в середине картины погас. Исчез стержень, центр композиции. Осталось только светлое струящееся пустое место. Вы опускаете в него ладони, чтобы зачерпнуть немного этого легкого света себе на память — ведь не зря же всё это было, — чтобы посидеть, например, при нем вечером, как при свечах, в тепле своего жилья. И вдруг замечаете, что зачерпнули не пригоршню, а всё целиком, то, что охватил взгляд и ум. Вы со стыдом поднимаете глаза и видите, что всё осталось, как было. Картины и легкий свет пустоты на прежнем месте. Вы перестраиваетесь, осваиваете новую реальность в вашей жизни — умершего человека. Втягиваетесь в водовороты повседневных тревог, чтобы вновь вынырнуть из них со своим простым вопросом о себе: «Как же? Как же быть-то?» И медлите, медлите среди картин. Вы же знаете, что видели ответ. Может быть, в Начале, посмевшем быть, может быть, в осознанном Конце, может быть, где-то в середине, или не в середине, а в промежутке, в цветах, написанных после операции, но перед «Концом», в конце лета — начале осени 1970

года, наверное, даже не в цветах, а в самой осени, прозрачной, как после дождя, возможно, и правда после дождя, солнечной и последней...

ВАЛЮС Валерий Петрович — родился в 1939 году в Москве. Геофизик. В 1977 году выехал из СССР и вывез картины своего покойного отца.



Издательство ПОСЕВ

БОЛЬШОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1979 ГОД

с 13-ю первоклассными репродукциями русских православных икон, с полными святцами, Евангелием и Апостолами на каждый день.

Весь текст календаря, за исключением святцев, четырехязычный — русский, английский, немецкий и французский. Календарь больше прошлогоднего — 41 × 31 см (14" × 10"). Цена прошлогодняя — 24 н.м. Оптовикам и церковным приходам — скидка.

POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt/Main-80

Требуйте наш каталог!

Издательство YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne Ste-Geneviève, 75005 Paris

СЕРИЯ «ПЕРЕИЗДАНИЯ РЕДКИХ КНИГ»

Борис Нольде — «Юрий Самарин и его время»

(с изд. Париж 1926)

Единственная книга о младшем славянофиле, крупном мыслителе и неумолимом общественном деятеле.

248 стр.

цена: 36 фр./\$8,—

«О религии Льва Толстого» —

(Булгаков, Бердяев, Зеньковский, Эрн и др.)

260 стр.

цена: 42 фр./\$9,—

Николай Метнер — «Муза и мода»

(Защита основ музыкального искусства) (с изд. Париж 1935)

160 стр.

цена: 39 фр./\$8,30

Лев Карсавин — «Saligia»

«Размышление о добродетелях и о семи смертельных грехах»

(с изд. Петроград 1919)

80 стр.

цена: 21 фр./\$4,50

Николай Анцыферов — «Душа Петербурга» (с изд. 1922)

Петербург в творчестве русских писателей: Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Блок, Белый.

232 стр.

цена: 42 фр./\$9,—

«Памяти Блока» (с изд. 1922)

112 стр.

цена: 24 фр./\$5,—

Сергей Волконский — «Быт и бытие» (с изд. 1924)

Книга посвящена М. Цветаевой.

215 стр.

цена: 42 фр./\$9,—

Заказы просим посылать по адресу:

LES EDITEURS REUNIS

11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève
75005 - PARIS — France

Литература и время

К столетию со дня рождения Льва Толстого

Герман Андреев

«ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И БОГ»

Религиозно-философское учение Льва Толстого как орудие сопротивления идеологии и практике тоталитарных систем

С тех пор, как в произведениях Толстого появились первые философские рассуждения, в критике и литературоведении господствует тенденция разделять Толстого на великого художника и слабого философа. Однако монолитность такой фигуры, как Лев Толстой, — в гармоническом единстве *плана мира*, который возникает из-под пера философа, и *картины мира*, которую нарисовал великий художник.

Толстой сам дал повод исключать его художественные произведения из созданного им плана мира, отрекаясь от своих сочинений. Но его религиозное мировоззрение выразилось не только и не столько в его статьях, сколько в художественных творениях, прежде всего в «Войне и мире» — самом значительном создании религиозного гения Льва Толстого.

Художественно созданный мир в произведениях Толстого соответствует постулатам его религиозного учения, а противоречия между ними определяются, во-первых, тем, что Толстой находился в вечном духовном развитии, во-вторых — самим сущностным противоречием между искусством и философией. «Искусство, — говорит Лосский, — благодаря своей конкретности совершеннее выражает истину, чем философия». Если бы даже Толстой вообще не писал своих статей, он был бы признан оригинальнейшим религиозным мыслителем. Да простится сравнение: нам известен мир,

созданный Богом, но неизвестен Его план, однако мы хотим доступными нам средствами проникнуть и в этот план и уверены, что он не противоречит осуществленному миру. То же и с художественными созданиями Толстого: если мы хотим познать суть толстовского представления о мире и его законах, мы можем и должны вникнуть не только в предлагаемую им схему (начертанную в философских произведениях), но и в результаты творения, а через них — в план. Лев Шестов тоже видел в художественных творениях Толстого источник для изучения философии его, ибо, например, в «Войне и мире» Толстой ответил «на вопросы свободы воли, о Боге, о нравственном историческом законе».

Но не совсем случайно Толстой отказался от своих художественных произведений: он подозревал, что самые дорогие для него мысли без прямого изложения не будут поняты широким кругом читателей. Еще когда он писал «Войну и мир», он с беспокойством говорил: «Мысли мои о границах свободы и зависимости, и мой взгляд на историю не случайный парадокс, который на минутку занял меня. Мысли эти плод всей умственной работы моей жизни и составляют нераздельную часть того мирозерцания, которое Бог один знает, какими трудами и страданиями выработалось во мне и дало мне совершенное спокойствие и счастье. А вместе с тем я знаю и знал, что в моей книге будут хвалить чувствительную сцену барышни, насмешку над Сперанским и тому подобную дребедень, которая им по силам, а главное-то никто не заметит».

Толстой — повсюду проповедник, хотя и не всюду художник. Противники моралистического искусства, как правило, слишком категоричны: они отрицают за искусством право на проповедь нравственности. Но тогда придется отказаться от всей русской литературы, которой в высочайшей степени свойственен моралистический пафос. Моральное и — более широко — религиозное содержание художественных произведений Толстого есть часть содержания его религиозного учения. И наоборот — в философских книгах Толстого мы находим разъяснение многих ситуаций, знакомых нам по его повестям и романам.

Критики учения Льва Толстого утверждают, что оно привело к потере веры у многих русских людей, при этом ссылаются на его якобы враждебные христианству философские писания. Но кто знает, скольких русских людей Толстой оттолкнул от христианства философскими статьями и скольких привлек к нему художественными созданиями? Уже за одно то, что художественными произведе-

ниями Толстой будил религиозную мысль в России, стоило приписать его к великим христианам, а не предавать анафеме.

Однако совсем ли уж неправы были православные публицисты, считая, что Толстой — не христианин?

Сам Толстой неоднократно заявлял, что никакого нового учения не создал, а лишь посвятил свою проповедническую деятельность распространению евангельского учения, забытого людьми и искаженного исторической Церковью. Есть у него в дневнике такая запись: «Никакого моего учения не было и нет; есть одно вечное, всеобщее, всемирное учение истины, для меня, для нас особенно ясно выраженное в Евангелии». Исключая ортодоксальных толстовцев, немногие согласятся с этим утверждением Льва Толстого: Толстой — конечно же, создатель нового учения, вдохновленного христианством, но не совпадающего с ним. Православие признаёт богодухновенность Священного писания — следовательно, исключает возможность его рациональной критики. Толстой же решил «очистить» Евангелие от мистики, выстроить его по некоей логической схеме, ориентированной лишь на Нагорную проповедь. Всё, что не соответствует этике Нагорной проповеди, Толстым отвергается, а сами эти несоответствия, по мнению Льва Толстого, есть доказательство человеческого происхождения Священной книги: «Евангелие никак не есть непогрешимое выражение Божеской истины, а произведение бесчисленных рук и умов, исполненное погрешностей, и потому ни в коем случае не может быть принимаемо, как произведение Святого Духа».

Однако история религиозного развития человечества — это история движения людей к Богу, история Его понимания в различные эпохи. Лев Толстой — порождение эпохи рационализма. Он считал разум, очищенный от суеверий, надежным орудием познания, данным от Бога. Следовательно, принять Евангелие со всеми его логическими противоречиями — это и есть отказ от веры в Бога. Вряд ли такая точка зрения может быть признана универсальной: миллионы людей, даже современников Льва Толстого, а тем более живущих в рационалистическом XX веке, приходят к Богу через Откровение. Однако, настаивая на Откровении как единственном пути религиозного познания, Православие поставило бы себя и свои представления о Боге вне критики и обрекло бы современного человека на трагическую ситуацию: или отказаться от веры, если не чувствуешь силы безоговорочно уверовать в догматическое христианство, или признать себя атеистом, вопреки глубочайшей вере в бытие Божье.

В наше время, время катастрофического, судьбоносного распространения и наступления атеизма, политически воплотившегося в тоталитаризме, пора положить конец вражде между путями к Богу: мистическим приятием церковного учения и разумным движением к Нему. Стоит говорить о художественно-мистическом и рационально-научном восприятии Бога, которые не опровергают, а дополняют друг друга. Невозможно допустить, что величайшие представители русского религиозного возрождения, такие, как о. Сергей Булгаков или Лев Шестов, верившие и в Евхаристию, и в Троицу, и в непорочное зачатие, и в Воскресение, были темными людьми (а это вытекает из толстовской критики православия). Но невозможно поверить и в то, что Толстой, страстный искатель Бога, один из искреннейших вероучителей, был неверующим и чуть ли не антихристом, как доказывали многие православные теологи.

Истина, как ни парадоксально, в другом: Толстой-вероучитель мыслил Бога рационально-научно, православные философы — художественно-мистически. В художественных же созданиях Толстой показал способность глубочайшего проникновения в ту божественную истину, которая столь близка и истинным православным. Смешон был бы ученый-ботаник, который заклеил бы Толстого в невежестве на том основании, что у него в «Войне и мире» говорит и философствует дуб. Но столь же неуместна ирония самого Толстого над Евхаристией.

Толстому ставится в вину резкая критика исторической Церкви. Действительно, он обвинял Церковь в корыстном сотрудничестве с властью имущими — но разве сейчас мы не являемся свидетелями безоговорочной поддержки тоталитарной власти в СССР со стороны Московской Патриархии? Толстой обвинял Церковь в том, что она ставит обряд выше учения и этики, — но так ли уж беспочвенно это обвинение? Толстой не верил в рай и ад — но можно ли солженицынского Ивана Денисовича назвать атеистом за то, что он говорит: «Я же не против Бога, понимаешь. В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите? Вот что мне не нравится». Толстой считает опасным учение о Христе-Искупителе — но разве не таится в нем некоторое освобождение людей от нравственной ответственности? И наконец — самое страшное обвинение, брошенное Толстым Церкви: она почти никогда не противилась войнам, а подчас их благословляла — но разве только Толстой возмущался такой позицией Церкви? Разве Н. А. Бердяев был не истинным христианином, когда писал: «...нет ничего более чудовищного, чем благословление

войны христианскими церквями, чем самое словосочетание «христолюбивое воинство»? И разве защита Церковью войны не отталкивала от нее таких истинных христиан, как Альберт Швейцер?

Вместе с тем, отрицая конкретные дела исторической Церкви, Толстой не отрицал идею Церкви как таковой. «Церковь, — писал он, — это соединение верующих, а не место учительства и не ограниченное число иерархов». Это не только верная, но и очень современная мысль.

Религиозное учение Льва Толстого несет в себе черты всечеловечности. Сам подход его к религии исключает возможность тоталитаризма, догматической воинственности, партийной непримиримости. Всю страсть проповедника, весь гений художника Толстой направлял на утверждение необходимости единения свободных, разумных людей. «Обнимитесь, миллионы!» — этот романтический призыв Шиллера поддержан всей мощью толстовского учения. Тоталитаризм может существовать лишь при наличии двух, казалось бы, противоположных условий: вражды между различными человеческими группами («классовая борьба», «расовая чистота» и т. п.) и объединения людей (на основе общей вражды). Толстой же звал к объединению людей, свободно избравших свой путь к Богу.

Многие находят учение Толстого утопичным. Он, действительно, говорит более о должном, чем о сущем. У этого реалиста в искусстве и рационалиста в учении есть некоторая романтическая мечта о всеобщем братстве и всемирной христианской этике. Вслед за знаменитым богословом он назвал душу человеческую христианкой, что после деятельности таких людей, как Гитлер и Сталин, вызывает серьезное сомнение. Вместе с тем опыт XX века свидетельствует, что так называемые реалисты, прагматики часто приводят мир к хаосу, создают нечто иррациональное. Советское государство, выросшее на почве, удобренной марксистским учением о закономерностях социального развития, превратилось в фантазматическую систему, о которой, по мысли Синявского, невозможно писать в стиле старого доброго реализма, а необходимо прибегать к гоголевско-гофманианской фантастике. Когда трезвые реалисты начинают строить мир, он оказывается миром «Процесса» и «Зияющих высот». В извечном споре правды-факта и правды-справедливости Лев Толстой, естественно, на стороне правды-справедливости, которая в конечном счете и оказывается истиной.

Да, толстовский призыв к братству людей кажется нереалистичным по сравнению с реалистичностью призывов ко всеобщей бойне. Легко убить миллионы людей, а потом заявить, что любовь

к ближнему есть нереальная утопия! Однако если победят на земле реальные исторические концепции классовой борьбы, то человечество в конце концов перестанет быть реальностью. Его единственное спасение — преодолеть заложенные в нем реальные материальные потребности и подчинить их романтическому устремлению к Духу, к Богу, Богу любви, единения, Богу свободы.

Мы живем в мире, после веков безверия почувствовавшем, наконец, потребность в Боге. И одновременно растет недоверие к существующим религиозным догмам. Происходит движение людей к источнику веры при отвержении тех источников, которые открыты для них религиозной ортодоксией. Отсюда призыв Эриха Фромма: «Нужна новая религия, которая отвергла бы идолопоклонство во всех его формах, взяла бы от старой религии все, что в ней есть лучшего, и выработала бы систему ценностей и норм, отвечающих современному положению, когда человек живет не хлебом единым».

Религиозное учение Толстого удовлетворяет этим требованиям.

С одной стороны, религиозная этика Толстого построена на признании некоего начала — Бога, определившего этические нормы для человека, с другой стороны, Толстой утверждает познаваемость этих норм, созданных непознаваемым Богом. Вера в Бога в соединении с верой в познающий разум делает учение Толстого чрезвычайно современным: нынешнее развитие науки привело многих ученых к существеннейшему выводу — они все более и более убеждаются в грандиозных возможностях аналитического познания и одновременно признают невозможным дальнейшее изучение мира без признания гипотезы или даже аксиомы Бога. И. Р. Шафаревич при вручении ему международной научной премии заявил, что вряд ли сделал бы свои открытия в области математики, если бы не постулировал существования Бога. Казус Ньютона, открывшего важнейшие законы материи и посвятившего весь остаток своей жизни богословию, перестает казаться симптомом нездоровья. Ньютон находит последователей среди тех, кто побывал в космосе: американские астронавты Ирвин и Пегю после возвращения из космоса решили посвятить себя религиозным исследованиям. Они объясняют свое решение потрясением, испытанным в космосе. Несомненно идет к Богу великий ученый и великий борец за права человека Андрей Дмитриевич Сахаров. Думается, прав был Вл. Максимов, который, приветствуя награждение Сахарова Нобелевской премией, назвал его величайшим христианином. Без Бога Сахаров остался бы одним из многих служителей безбожной власти и без-

божной идеи. Бог — и именно в толстовском представлении о Нем — пробудил в Сахарове чувство нравственной религиозной ответственности.

Толстой предвидел такую ситуацию прихода ученых и вообще познающего природу человека к Богу. Он считал величайшим заблуждением предположение, что «человек, узнав о том, сколько миллионов миль от земли до солнца и какие металлы находятся на солнце и звездах, перестает верить». Факты из жизни современных ученых говорят о том, что, узнав все эти премудрости, человек стал еще больше верить в Бога. Вероятно, Толстой не удивился бы, увидя, как о. Павел Флоренский читает курс электролиза в клубке и рясе.

В пылу полемики против Откровения, отстаивая силу разума, Толстой иногда допускал высказывания, которые справедливо навлекали на него гнев христианских теологов. Однажды он сказал: «Истина не может войти в человека помимо его разума, и потому человек, который думает, что он познает истины верою, а не разумом, только обманывает себя». Если вырвать это высказывание из контекста толстовского творчества, оно может показаться не только атеистическим, но и просто наивным. Не одни христиане, но даже и ученые-материалисты знают силу хотя бы интуиции, внеразумного проникновения в суть вещей. И сам Толстой создал образы героев с необычайно развитой интуицией, героев, которые потому-то и знают истину, что приходят к ней путем подсознательного, внеразумного ощущения ее. Таковы Наташа Ростова и Платон Каратаев.

В одном из эпизодов романа «Воскресенье» показан мальчик, который «знал твердо и несомненно; узнав это прямо от Бога, что люди эти [арестанты] были точно такие же, как и он сам, как и все люди, и что поэтому над этими людьми было кем-то сделано что-то дурное». Ясно, что здесь речь идет не о разуме в его научном эмпирическом значении, а о *разумном религиозном сознании*. Если для Гегеля «всё действительное разумно», то для Толстого «всё нравственное, христианское разумно». Неразумно же то, что противоречит нашему непосредственному чувству правды. В этом смысле мальчик из «Воскресенья» именно разумен. Неразумны герои романа, которые верят в безбожные идеи: революционные, реакционные. Вот в каком смысле Толстой говорит, что человек познает истину только разумно и не может познать ее верою. Разумное для Толстого — это не опытное, а уясненное без вмеша-

тельства общественных и церковно-догматических предрассудков понимание Бога.

Апелляция Толстого к разуму противостоит системе верований тоталитарных обществ, построенных на волевых устремлениях вождей и фанатизме обезумевшей толпы. Тоталитарные веры пренебрегают разумным сознанием (характерна ненависть идеологов тоталитаризма к интеллигенции), они презируют разум, зная по опыту, что сила убедительнее разума. На эту особенность тоталитарной веры обратил внимание Бердяев: «Советская философия, — писал он, — противоположна просветительскому материализму XVIII века. Все определяется для нее не просветлением мысли, не светом разума, а экзальтацией воли, революционной титанической воли». Это в полной мере относится и к нацистской философии.

По учению Толстого, в глубине души человека лежит разумно не определяемое сознание присутствия Бога. Раскрыть Бога можно только сердцем, а творчески — интуицией. Однако на пути к интуитивному познанию Бога возникает нагромождение всяких предрассудков. Бог же дал человеку орудие борьбы с этими предрассудками — разум. Путь многих героев Толстого — это путь от внутреннего недовольства собой и миром к религиозному озарению, а с ним — к разумному религиозному поведению. Князь Андрей внезапно понял суть веры: «Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам — да, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал». Но в действительности это произошло не так внезапно, как кажется князю Андрею. До ранения на Бородине разум его был замутнен всякими предрассудками, а понял он Бога, освободившись от всего неразумного, лишнего, что раньше было в его жизненных представлениях. Разум осветил ему путь истины.

Но что же такое Бог, Который дал человеку разум и Который определяет законы движения мира?

Представление Толстого о Боге радикальнейшим образом отличается от представления о Боге Церкви: он отрицал Бога Живого, Бог для него никогда не был некоей материализованной субстанцией.

Нет ли парадокса в том, что признание Личного Бога, или Бога Живого, носит на себе отпечаток материалистических представлений? Во всяком случае, Толстой имел возможность в своем отрицании Бога Живого, как представляет Его Церковь, опираться на Евангелие: «Бога никто никогда не видел: если мы любим друг

друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас» (Первое послание Иоанна Богослова, IV. 12). Толстовский Бог абсолютно трансцендентен: нигде Толстой не позволяет себе уступок в сторону антропоморфного понимания Бога.

Отрицая Бога Живого, Толстой приблизился к пониманию Бога современными учеными. Бог Толстого «есть существо беспредельное». Толстой бескомпромиссно отделяет материю во всех ее проявлениях от Бога-Духа: «Понятие Бога как Духа в смысле противоположения всему вещественному несомненно для меня и для всякого верующего». В богословских сочинениях Толстого очень много дефиниций Бога, но, в сущности, все они сводятся к признанию невозможности Его дефинировать: «Бога и душу я знаю так, как я знаю бесконечность, не путем определения, но совершенно другим путем». Все же есть одно чрезвычайно существенное определение Бога в одной дневниковой записи Толстого: «Бог есть икс; но хотя значение икса и неизвестно, нам без икса нельзя не только решать, но и составлять никакого уравнения. А жизнь есть решение уравнения».

Все беды материализма — в отрицании этого икса, в попытке решать уравнения жизни, пренебрегая этим иксом. В русском приговоре «Бога-то, Бога не забывайте» сокрыта мудрость спасительной веры.

Отрицая возможность дефиниции Бога строже, чем «икс», Толстой все же пытался нащупать определение, которое могло бы быть принято как достаточно корректное: будучи ощущаемой, но рационально не формулируемой субстанцией, Бог имеет совершенно явственное этическое содержание. Бог Толстого — это не плазматически неопределенная бесконечность, Он ощущается нами в реальности любви. Толстой атрибутирует Бога понятием служения любви, которое он называет праведностью: «Бог — это вечное, бесконечное, вне нас сущее, ведущее нас, требующее от нас праведности». Здесь, кажется, точное повторение Евангелиста Иоанна: «Бог — начало всех начал, которое человек сознает в себе любовью». «Бога помнить надо» — это, по Толстому, прежде всего сознавать в себе начало любви. Бог — начало объединяющее, дьявол — начало разъединяющее, через ложь и ненависть сеющее рознь между людьми.

Толстовская философия — религиозная философия, основанная на вере. Нет ничего ошибочнее, чем от религиозной философии требовать свидетельств бытовой практики. Не случайно самая безбожная философия — марксизм-ленинизм — не видит никаких

критериев истины, кроме практики. Так, истину своего учения марксисты-ленинцы доказывают победой революции, хотя ясно, что революция доказала только физическую силу обманутого народа. Для религиозного философа такого критерия истины не может быть: если на практике любовь отступает перед ненавистью, религиозный философ не откажется от утверждения истинности любви и неистинности ненависти. А в ленинско-сталинской трактовке — если пролетариат одержал победу, значит, идея классовой борьбы и диктатуры пролетариата истинна, какие бы нравственные потери ни нес при этом человек.

Злой парадокс истории в том, что победа, достигнутая путем пренебрежения нравственностью, перестает быть истинной даже с точки зрения практики: в результате «победы» марксистско-ленинского учения о классовой борьбе и диктатуре пролетариата как о средстве достижения народного блага народ России испытал столько несчастий, сколько не испытывал, когда был «народом рабов», то есть уклонялся от классовой борьбы, «помня Бога». В результате борьбы за народное счастье, где торжествовал дьявол ненависти над Богом любви, только за два первые десятилетия после «победы» погибло больше людей из этого самого народа, чем за весь XIX век, когда народ за свое счастье с такой энергией не боролся. Та же история с нацизмом в Германии. Страдая от инфляции и безработицы, немецкий народ пошел за партией зла и насилия. Победа 1933 года и триумфальное шествие по Европе, с точки зрения материалистической теории познания, есть доказательство истинности нацистской идеи (что, кстати, и заявил марксист Молотов, приветствуя Гитлера в 1940 г. как любимого вождя немецкого народа). Однако мало кто в истории принес больше зла немецкому народу, чем этот «победитель».

Толстой утверждал Бога-любовь, он видел свет в деятельности любви на благо ближнему, который вот сейчас здесь, перед тобой. Он, вероятно, первым выразил глубокое подозрение к искренности борцов за «светлое будущее» (см. сказку «Где любовь, там и Бог»). Это подозрение подтверждалось всей историей человечества, но особенно подтвердилось в XX веке. Чем более какой-либо борец печется о будущем счастье человечества (расы, класса, народа), тем равнодушнее он, как правило, к «малым сим». Если ты равнодушен к отдельному человеку, а любишь народ, партию, класс, нет в тебе Бога. Все эти ищущие своего Бога где-то далеко — теряют Бога в себе. (Такова мораль сказки Толстого «Два старика».)

В глубине души радители за счастье народное или человеческое сознают, как отделяет их безбожие от людей, а потому включают в миф о себе любовь к простым людям. В «Войне и мире» Наполеону приносят портрет его сына на командный пункт Бородина — «он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, — есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, — это то, чтобы он со своим величием... выказал в противоположность этого величия, самую простую нежность». И потом пошло: Ленин и печник; Сталин с девочкой на руках; Гитлер, пожимающий руку простой женщине. Часто цитируют в советских книгах о Ленине сцену из воспоминаний о нем Горького: Ленин слушает «Апассионату». И не замечают, какое безбожие демонстрирует здесь Ленин: «Слушаешь такую музыку и хочешь людей по головке гладить (это он Бога услышал. — Г. А.), но нельзя, руку откусят». А потому отложим нежничанье с людьми до удобного случая, пока же будем сами у них руки-ноги откусывать...

Еще в период первой русской революции Толстой предупреждал русских людей, что никакой хорошей жизни, о которой они мечтают, не получится, если забудется Бог-любовь. «Вам же, — обращался он к русскому народу, — обещают хорошую жизнь после того, как вы, кроме вашей теперешней жизни, будете еще бороться с людьми, насиловать людей, убивать их, чтобы ввести это хорошее устройство, то есть вам обещают хорошую жизнь после того, как вы сами сделаетесь еще хуже, чем теперь». Как Толстой предсказывал, так и получилось: развязав в народе зверские инстинкты, революционеры не создали никакого царства добра, но — царство еще большего рабства, еще большего безбожия, еще худшего насилия.

Рассматривая человеческую душу как арену борьбы между Богом и дьяволом (чаще Толстой говорит не «дьявол», а «зверь»), Толстой в противоположность, например, Достоевскому утверждает всеислие Бога как всеислие Любви. Достоевский, будучи ближе Толстого к Православию, признавал Бога-демиурга, Создателя. Поэтому он мучился из-за несовершенства мира и подчас сомневался во всеислии Бога. Бог — не Бог, если Он «допускает» зло. Для Толстого же Бог — не Создатель, а Хозяин одной, любовной части нашей души, Он сильнее дьявола, но не может одолеть его без помощи человека. Бог дал человеку нравственные заповеди и разум, чтобы их исполнять, чтобы бороться со зверем в себе. Поражение любви и торжество зверя еще не провоцируют неверия, в то время

как для Достоевского всякое проявление дьявольского начала в жизни людей грозит катастрофой веры. Для Достоевского Бог — вне человека, для Толстого — в человеке: «Как сказал Моисей, чтобы Израиль не искал веры ни за горой, ни за морем, ни на земле, а только в своем сердце». Толстой так трактует притчу о сеятеле (Марк, IV.): «Бог не правит людьми, а как хозяин, бросит семена в землю, а сам не думает о них». Учение Толстого, таким образом, возлагает на человека серьезную нравственную ответственность.

Наш страшный век Освенцима и ГУЛага требует корректив к учению Толстого о любви.

Коррективы эти внес Солженицын. Для него вопрос о любовном отношении к злодеям лишился того несколько академического смысла, которым определялось учение Толстого. Столкнувшись с таким злом, которого не мог себе даже вообразить Толстой, Солженицын зовет своим «Архипелагом» к беспощадной ненависти к злодеям и созданному ими строю. Если бы на этом призыве он ставил точку, не стоило бы говорить о нем как о продолжателе Толстого, а учение Толстого о любви следовало бы считать опровергнутым в творениях писателя, познавшего глубины зла. Однако и Солженицын, проведя читателя через все круги ада, на последнем витке вновь возвращается к истине любви и прощения. Если бесовщина изгоняется из человека, то какие бы злые дела он ни творил, он достоин прощения и даже сочувствия. Ненависти достойны бесы, злодеи *нераскаляющиеся*. «Архипелаг» — одна из самых гуманных и самых религиозных книг в русской литературе, несмотря на то, что в ней показано и много зла, и много злодеев. Истинную религиозность придает этой книге позиция Солженицына в отношении этих злодеев: «В толщине этой книги уже много было высказано прощений. И возражают мне удивленно и негодующе: где же предел? Не всех же прощать! А я — не всех. Я только — павших. Пока возвышается идол на командной своей высоте и с властной складкою лба бесчувственно и самодовольно коверкает наши жизни — дайте мне камень потяжелее! а ну, перехватим бревно вдесятером да шибанем-ка его! Но как только он сверзился, упал, и от земного удара первая складка прошла по лицу его — отведите ваши камни! Он сам возвращается в человечество. Не лишите его этого божественного пути».

И если Солженицын раскрыл свой собственный опыт самопознания и опыт миллионов жителей Архипелага, то Толстой за сто лет до него, изображая Пьера в плену, выразил ту же мысль о сво-

боду человека, лишённого всего личного, а потому способного предать себя Богу-Любви. Это свидетельство глубочайшего проникновения Толстого в пути движения к Богу, проникновения почти мистического, ибо всё, что сказано о Пьере в плену, — результат не личного опыта Льва Толстого, а его интуитивного творческого видения, истинность которого подтверждена другим великим писателем, так сказать, уже опытным путем обретшим понимание Бога как любви к всеобщему, освобождающей от любви к частному, своему. Отрывком из «Архипелага» воспринимается это описание: «В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, ... что все несчастье происходит не от недостатка, а от излишка («не имейте, ничего не имейте»); но теперь, в эти последние три недели похода, он узнал еще новую, утешительную истину... Он узнал, что так как нет положения, в котором бы человек был счастлив и вполне свободен, так и нет положения, в котором бы он был бы несчастлив и несвободен... Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, вложенную в человека...»

Таким образом, Бог всемогущ не потому, что уничтожает зло на земле, а потому, что Он дал человеку всемогущее средство спасения — отказ от исключительной любви к своему ограниченному «я» и переключение на любовь ко всему миру, приближающую человека к Богу.

Материализм с его утверждением детерминизма и отрицанием свободы воли есть отрицание жизни. Жизнь — свободное развитие человеческого духа. При утверждении определяющего значения материи в развитии человека вступает в силу рабский закон материалистов: свобода есть осознанная необходимость. Утверждение Толстым независимости человеческого духа от материи противостоит ленинскому идолопоклонству перед законами необходимости (любопытно, правда, что законы необходимости в представлении Ленина направлены всегда во вред его противникам и на пользу ему и его соратникам). В полемике с Михайловским Ленин писал, что «идея детерминизма, устанавливая необходимость человеческих поступков, отвергает вздорную побасенку о свободе воли».

Толстовские взгляды на соотношение свободы и необходимости значительно преобразовались со времени «Войны и мира» к периоду создания Толстым его учения.

Квиетистическая идея приводила автора «Войны и мира» к отказу от суда над исторической личностью. Толстой не судит Наполеона за развязывание кровавой войны, ибо тот был «жалким орудием

в руках Провидения». Ни один элемент в миросозерцании Толстого не подвергался такому основательному пересмотру со стороны великого мыслителя, как взгляд на соотношение свободы воли и необходимости. В статье «Рабство нашего времени», написанной в 1900 г., Толстой уже обвиняет тех ученых, которые списывают все дурные дела на закон необходимости, и сравнивает их с темными людьми, готовыми оправдать любой грязный поступок волей Божьей: «Удивительное затемнение... людей нашего круга можно объяснить только тем, что, когда люди поступают дурно, они всегда придумывают себе такое мировоззрение, при котором дурные поступки их представляются уже не дурными поступками, а следствием неизменных и находящихся вне их власти законов. В старину такое мировоззрение состояло в том, что существует неисповедимая и неизменная воля Бога, предназначавшая одним низкое положение и труд, а другим — высокое и пользование благами труда».

Но и сам Толстой до окончательного формирования своего учения утверждал предначертанность, фатальную предопределенность человеческих поступков и общественной несправедливости. Герой рассказа «Люцерн», возмущившийся социальной несправедливостью, поразмыслив — обвиняет себя в непонимании Божественного закона: «Бесконечна благодать и премудрость Того, Кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям. Только тебе, ничтожному червяку, дерзко, незаконно пытающемуся проникнуть Его законы, Его намерения, только тебе кажутся противоречия».

Из «протестующего червяка» вырос после 1879 года протестующий гигант, если не создавший, то заложивший основы персоналистической философии еще до Хайдеггера и Бердяева. Отныне Толстой определяет возникновение личности в человеке моментом проявления свободы воли, или, как он чаще говорил, «разумного сознания»: «Спрашивая себя о происхождении своего разумного сознания, человек... сознает себя не то что сыном, но слитым в одно с сознанием чуждых ему по времени и месту разумных существ, живших иногда за тысячи лет и на другом конце света». При таком понимании связи сознания человека не с материальной структурой его тела, а с живущим в нем вечным духом — неизбежно отказываешься от решающей роли социального. Человек перестает быть частью надличностной системы, освобождается от обязанностей перед классом, партией, нацией и зависит только от Духа, от Бога. Это освобождает человека от пут тоталитаризма. Тоталитарные режимы всегда строятся на материалистической религии связи человека с человеческими совокупностями. По Тол-

стому, истина выше социального, временного: «...признание истины, составляющей причину всех явлений жизни человеческой, не зависит от внешних явлений, а от каких-то внутренних свойств человека, не подлежащих его наблюдению».

Согласно марксистскому учению, свобода достигается лишь в результате познания (и признания за истину) внешних явлений сегодняшней истории. Познав эти явления, человек, грубо говоря, должен приспособиться к этим явлениям любой ценой, в этом и будет его свобода. А так как хозяева тоталитарных режимов сами прагматически формулируют «закон необходимости», закон этот превращается в беззаконие произвола.

Утверждая свободу воли, Толстой никогда не отрицал существования объективной действительности («необходимости»), никогда не утверждал, что человек может произвольно менять эту действительность (как это пытаются, между прочим, делать прагматики тоталитаризма). Свобода «не в том, — писал Толстой в статье «К вопросу о свободе воли», — что человек может, независимо от хода жизни и уже существующих и влияющих на него причин, совершать произвольные поступки, а в том, что он может, признавая открывшийся ему в сознании в виде истины закон жизни, исповедуя его, сделаться свободным и радостным исполнителем дела не только своей, но и мировой жизни и может, не признавая истины, сделаться рабом закона жизни и быть насильно и мучительно влеком туда, куда он не хочет идти».

Взгляд на свободу человека у Толстого со времен «Войны и мира» изменился, однако уже там мы находим мысли, которыми определились взгляды позднего Толстого. Толстой пишет в эпилоге к роману: «...все стремления людей, все побуждения к жизни суть только стремления к увеличению свободы... Представить себе человека не имеющего свободы, нельзя иначе, как лишением жизни». И все же пафос эпилога в утверждении иллюзорности свободы. В художественных же частях романа акценты кажутся обратными: свобода менее иллюзорна, чем необходимость. В этом отношении величайшая религиозная и художественная победа Толстого — образ Наташи. Наташа прекрасна своим сознанием свободы. Общение с Наташей выводит всех героев романа за пределы рассудочно-логического восприятия мира и переносит в высшую религиозную правду свободы от законов общественной необходимости. Николай, услышав ее пение, понял, как ничтожно его представление о дворянской чести и необходимости ей подчиняться. Князь Андрей после встречи с Наташей в Отрадном и на балу почувствовал необязательность

служения государственным законам. Пьеру открылось небо, Бог после того, как он простил Наташу за ее неверность князю Андрею. Сознание Наташи всегда верно: она разрушает логику общественных воззрений, заменяя ее нелогичностью совести и религиозного сознания. Это понял и ее отец, когда она распорядилась выбросить с подвод накопленные за много лет вещи и взять раненых.

Люди для Толстого — духовные существа, несущие моральную ответственность не перед обществом, а перед Пославшим их. Персоналистическая ответственность человека перед Богом ставится выше его ответственности перед социальной структурой. Только тогда, когда человек чувствует себя связанным с бесконечным сознанием, а не с исторически замкнутой социальной единицей, он свободен.

Религия цели освобождает людей от совести. Создатели и исполнители ГУЛага; палачи Катыни, Треблинки и Освенцима; убийцы рабочих в Новочеркасске; английские офицеры, выдавшие несчастных людей, бегущих от смерти; летчики, сбросившие атомную бомбу на Хиросиму, — все они рабы необходимости, все они — слуги дьявола. Все зло на земле происходит из-за того, что люди не знают над собой хозяина более высокого, чем непосредственный начальник. «Христианину, — писал Толстой, — обещаться в повиновении людям или законам людским все равно, что нанявшемуся к хозяину работнику обещаться вместе с тем исполнять все то, что ему прикажут еще и чужие люди. Нельзя служить двум господам».

Полной свободы человек достигнуть не может, ибо не может отказаться от своей плоти. Полная свобода есть смерть. Однако, стремясь к свободе, человек смиряет зовы плоти: чем беднее он материально, тем свободнее его дух. А так как нет места, где человек испытывает большие физические лишения, чем тюрьма, возникает некий парадокс: только в неволе человек свободен.

Отношение Солженицына к религиозному учению Толстого не однозначно, многого он в нем явно не приемлет. Однако вне сомнения полное согласие Солженицына со взглядами Льва Толстого на свободу и необходимость и с утверждением персональной ответственности человека перед Богом, выраженное им в произведениях «лагерного» цикла. Истина, к которой Солженицын пришел в тюрьме, открылась Толстому не на путях жизненного, практического опыта, а в глубинах его религиозного сознания. Солженицын оказался невольным экспериментатором, испытывавшим на себе истинность толстовского учения о свободе в предложенных Толстым обстоятельствах неволи.

Герои Солженицына часто повторяют мысли толстовских героев, их состояние. Вот баптист Алеша говорит Шухову: «Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать!»... Не врет Алешка, и по глазам его видать, что радый он в тюрьме сидеть». А у Толстого: «...впоследствии и во всю свою жизнь Пьер с восторгом думал и говорил об этом месяце плена, о тех невозвратимых, сильных и радостных ощущениях и, главное, о том полном душевном спокойствии, о совершенной внутренней свободе, которые он испытал только в это время». То же состояние испытывает Сологдин: «Имущество его было — подержанные ватные брюки, которые сейчас хранились в каптерке в ожидании худших времен... Дышать свежим воздухом он мог только в определенные часы, разрешаемые тюремным начальством. И был нерушимый покой в его душе. Глаза сверкали, как у юноши. Распахнутая на морозе грудь вздымалась от полноты бытия».

Речь идет не о заимствовании у Толстого, но о религиозных представлениях двух писателей, один из которых пришел к идее обретения духовной свободы от внешнего блага путем мистического проникновения в душу пленника (сам не испытал ни тюрьмы, ни плена, как, впрочем, не испытал смерти, описал ее в «Смерти Ивана Ильича»), а другой точно передал испытанное им самим и пришел к тому же выводу о независимости духа от плоти — или, лучше сказать, об обратной зависимости: чем меньше возможности удовлетворять требования плоти, тем больше возможность удовлетворения требований духа. Эта мысль сконцентрированно выражена в главной героине «Матрениного двора»: «Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни... Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся наша земля».

Учение Толстого о свободе человеческой воли освобождает человека от служения целям, сформулированным вне религиозного сознания. Толстой вообще отрицал всякие учения о цели жизни. Он признавал *смысл* ее и пытался его определить.

Цель жизни знает только Тот, Кто человека послал. Философия обожествления цели, основа тоталитарных режимов, была чужда Толстому. Отрицание Толстым цели жизни прямо зависит от его учения о свободе и необходимости. Поскольку человек не властен изменить находящуюся вне его действительность, он не может ставить перед собой какую-либо цель. Законы мира созданы не им, а Богом. Зачем Он создал мир, человеку знать не дано. Всякие

представления о цели жизни есть следствие человеческой гордыни, неверия в силу, находящуюся вне человека. Грех гордыни ведет к тому, что человек пытается привести других к цели, им самим определяемой. История не знает случая, чтобы какой-нибудь политический деятель смог бы искренне сказать слова, которые произносил Господь: «И это хорошо!» Все политические деятели сами ужасались несоответствию результата и поставленной ими цели. Еще более разочарованными оказывались подданные. В представлении Толстого, есть великий Архитектор — Бог, люди же — каменщики, которые участвуют в строительстве храма, не зная о его будущих очертаниях.

Вряд ли было видение бункера Гитлеру во время триумфального шествия по Европе, вряд ли Ленин видел с броневика в апреле 1917 г., провозглашая социалистическую революцию, трупы умерших от голода русских крестьян, расстрелянных его соратниками, трупы самих этих соратников, тупую непробиваемую силу социалистической бюрократии, колючую проволоку Колымы — всё это как воплощение Цели. Верующий же в Бога знает, что «последствия наших поступков не в нашей власти. В нашей власти только самые поступки наши». «Спасители» рода человеческого не понимали, что не в их власти двигать историю к цели. В их власти только их поступки, которые необратимы. И, безответственно относясь к своим поступкам, пренебрегая зовами совести, они, в сущности, и целей своих не достигали, и зла приносили много. Толстовский Наполеон у стен Москвы преисполнен самых высоких намерений: «На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия...» — и приказал расстреливать мнимых поджигателей, выпускать фальшивые деньги, рассылать шпионов и агитаторов, которые обманывали русских мужиков.

Если Бог скрыл от людей цель жизни, зато Он открыл им смысл их жизни: расширение в себе Божеского, духовного начала за счет ограничения начала материального, плотского. «Бог сотворил человека, каким он есть, вдул божественную душу в плотское тело для того, чтобы эта душа покоряла себе похоти тела (в этом вся жизнь человеческая)...»

Личность, по Толстому, уничтожается, если восторжествует один из членов дихотомии, будь то душа или тело: «Существование в человеке животного, только животного, не есть жизнь человеческая. Жизнь по одной воле Бога не есть жизнь человеческая. Жизнь человеческая есть составная из жизни животной и человеческой». Смысл жизни — в этой вечной борьбе между духом и

плотью, в которой человеческая душа не просто «поле битвы», как говорил Достоевский, а активная помощница духа. Свобода человека в способности направлять волю на преодоление засилия плоти.

В статьях Льва Толстого нет определения Бога как свободы («Бог — Бесконечность и Любовь»), однако при внимательном изучении Толстого видно, что подчиненность Богу-Хозяину Толстой рассматривает как высшую форму освобождения людей от рабства перед людьми, перед людским общественным мнением, перед человеческими мифами. Бердяев уточняет (даже подправляет) Толстого: «Единственный верный религиозный миф заключается не в том, что Бог — Господин и стремится к господству, а в том, что Бог тоскует по своему, другому, по ответной любви и ожидает творческого ответа человека». В сущности, герои Толстого так и поступают: почувствовав в себе Бога, начинают освобождаться от человеческих предрассудков (как это было с Брехуновым в «Хозяине и работнике», с Пьером в плену). Причем герои, ощутившие в себе Бога, именно творчески отвечают Ему. Такие люди, как Николай Ростов, чувствуют в себе Бога-Любовь, но не способны совершить к Нему «творческое движение», а потому не могут состояться как законченно духовные существа.

Торжество животного начала в человеке, по мнению Толстого, — следствие того, что личность подчиняется общественной религии. «Освобождение всех людей пройдет через освобождение отдельных лиц», — писал он, предвосхищая философов персонализма. Персоналистическая теория в таком ее понимании прямо противоположна марксизму-ленинизму, согласно которому нужно вести борьбу за освобождение угнетенных классов, в результате победы которых как-то само собой получит свободу каждый человек. Последовательное осуществление этого привело к тому, что в СССР и Китае живет «самый свободный рабочий класс», «самое свободное трудовое крестьянство», но ни одного свободного человека: рабочий класс в целом освобожден от капитализма, а каждый рабочий и каждый крестьянин превратился в раба.

Одним из проявлений атеизма Толстой считал отношение к человеку как к типу, даже «номеру». Деление людей на нации, классы, веры есть проявление дьявольского начала, ибо все люди должны быть детьми Бога, а различаются тем, как служат Ему, а не совокупностью людей, к которой относятся. Понимание неповторимости каждой личности есть путь к спасению от насилия, от несправедливости. В этом смысле есть нечто провиденциальное в сцене допроса Пьера маршалом Даву. Если исключить мгновенье, когда Даву по-

нял, что люди — братья (это, кажется, исключено из сознания учеников Гимmlера и Берия), то возникает полная иллюзия общности Толстого к XX веку, когда человек все больше и больше становится «номером»: люди с номерами шли в газовые камеры, Солженицын рассказал нам о судьбе Ш-854, Замятин еще раньше изобразил тоталитарное общество, где люди обозначаются номерами.

Из двух постулатов: о невозможности человека определять цель жизни и о неповторимости каждой личности — вырастает учение Толстого о непротивлении злу насилеи.

Лев Толстой отличал этику религиозную от этики общественной: общество устанавливает законы, призванные — хорошо ли, плохо ли — но служить человеческому «я» или совокупности этих «я» (нации, классу, партии, семье); религиозная этика предписывает служение Богу. В соответствии с религиозной этикой нравственный поступок — это поступок, продиктованный не стремлением к благополучию своей личности или совокупности, с которой личность себя идентифицирует, а готовностью к отказу от личного блага, даже к жертве, во имя удовлетворения своего духовного сознания, как бы передающего человеку волю Божью.

Такой подход к проблемам этики чрезвычайно актуален в наше время. XX век дал людей, которые вроде бы ничего не хотят лично для себя, то есть, как кажется, руководствуются в своих поступках христианским сознанием и потому считаются людьми высокой нравственности. Это революционеры, борцы за социальную справедливость, готовые на муки и даже смерть во имя торжества справедливости.

Учение же Льва Толстого дает важнейший ориентир: этот ориентир — отношение к насилею. Те, кто с помощью насилия хотят изменить общественные отношения, нравственны фиктивно. Придя к власти, они тут же становятся рьяными защитниками новой общественной веры и самым страшным образом карают новых борцов за новую социальную справедливость. Это естественное следствие релятивности общественной этики. Этика религиозная абсолютна. Этика общественная не разрешает, например, убийства или подавления свободы одних людей и групп, но требует применения насилия к другим людям и другим группам. Поэтому борцы против существующего насилия и несправедливостей, взяв власть, в борьбе за которую они рисковали своей жизнью, делают то, против чего боролись: совершают насилия, творят новые несправедливости.

История показала, что революционное насилие никогда не является средством установления справедливости, цель насилия — власть, победа над людьми. Истинно же религиозные люди вообще не стремятся к победе над людьми: эта победа достигается только насилием и ложью, которая, по верному слову Солженицына, всегда сопутствует насилию.

Абсолютность религиозной этики — в ее независимости от человеческого интереса, который всегда относителен. Веря в Пославшего нас, человек руководствуется не волей людей, не стремлением к насильственному изменению мира, а Его волей. Пославший не учил нас вмешиваться в дело Божье, менять мир — Он учил нас менять себя. Этика Льва Толстого — это этика нравственного совершенствования, этика внутренней борьбы и внутреннего развития: не исправлять мир, а потом себя, но исправлять мир, исправляя себя.

Одним из самых страшных соблазнов Толстой считал оправдание своего греха грехом мира: «И нет ничего вреднее для людей той мысли, что причины бедственности их положения не в них самих, а во внешних условиях». Социальная система не определяет существа человеческой жизни: «Милые братья, — звал Толстой русских людей во время революции, — не верьте этому, не верьте тому, что от такого или иного устройства жизнь ваша может быть лучше или хуже». И чем ближе становилась революция, чем ожесточеннее отказывались от Бога революционеры, тем неустаннее Толстой призывал их обратиться к своей душе, если они хотят уничтожить зло в России, а не плодить новые злодеяния взамен тех, которые они собираются устранять. В разгар революции он написал статью «Единое на потребу»: «Средство для избавления от всех зол, от которых страдают люди, и в том числе от ужасного зла, которое совершается правительствами, как это ни кажется странным, только одно — внутренняя работа каждого человека над самим собой. Марфа, Марфа, печешься о мнозем, единое на потребу».

В Нагорной проповеди Толстой выделяет самую важную заповедь: «Не противься злему» (Мф. V. 39). Непротивление злу насилием — основа этики Толстого. Толстой выводит все зло мира из того, что люди забыли эту заповедь или под различными предлогами обходили ее.

После смерти Толстого вышла книга И. А. Ильина «О сопротивлении злу силою», в которой православный философ, опираясь на то же Евангелие, утверждает необходимость борьбы со злом силою (он отличает силу от насилия: насилие — несправедливо,

сила — справедлива). Как вообще все учение Толстого не может быть безоговорочно признано христианским, так и учение о непротравлении злу насилем — это учение самого Толстого, но не изобретенное им, а извлеченное из учений многих учителей человечества (в том числе Христа) и возведенное в абсолют. Возражение противников этого учения, что оно противоречит в чем-то (а по Ильину, и целиком) христианству, можно признать в большой степени справедливым, однако это не исключает необходимости рассмотреть его сильные стороны.

Все остальные возражения против заповеди «непротравления злу насилем» сводились, по верному обобщению Толстого, к одному: заповедь хорошая, но невыполнимая; чтобы она была выполнимой, надо менять род человеческий, натуру человека.

Толстой вовсе не считал, что стремление к насилию (как говорят психологи — агрессивность человека) несвойственно человеку. Если бы инстинкт насилия не был свойствен ему, не было бы смысла создавать учение об обуздании его. Когда некоторые критики упрекают Толстого в игнорировании им человеческой природы, они проявляют незнание или непонимание его учения. В основе религиозных представлений Толстого лежит вера в то, что Бог дал человеку разум для борьбы с плотью. Толстой понимал насилие как проявление инстинкта человека и инстинкта этого не отрицал. Лев Толстой боролся с насилием, идейно обосновываемым. Он говорит в одном письме: «Я понимаю, что под влиянием минуты, раздражения, злобы, мести, потери сознания своей человечности человек может убить, защищая близкого человека, даже себя, может под влиянием патриотического стадного внушения, подвергая себя смерти, участвовать в совокупном убийстве. Но то, чтобы люди спокойно, в полном обладании своих человеческих свойств могли обдуманно признавать необходимость убийства такого же, как они, человека и могли бы заставить совершать это противное человеческой природе дело других людей — этого я никогда не понимал». Страшно, может быть, не само насилие, а непонимание его греховности, сознательное устройство жизни на вере в спасительность насилия.

Отрицание насилий, убийств обосновывается в философской системе Толстого сущностью самой жизни: «Жизнь есть величина, не имеющая ни веса, ни меры и не могущая быть приравнена никакой другой, и потому уничтожение жизни за жизнь не имеет смысла».

Рассматривая историю насилий в человеческом обществе, Толстой довольно оптимистически смотрел в будущее: он верил, что религиозное сознание — Бог есть любовь — рано или поздно овладеет человечеством. Мы были бы чересчур пессимистичны, если бы не признали, что человеческое сознание действительно приходит повсеместно к отрицанию насилия. Если прославление убийств и всякого рода насилий не осуждалось сознанием человека античного или средневекового, то сейчас любой политический разбойник убивает «для установления мира на земле» и признает насилие не добродетелью, а неизбежным, но все-таки злом. Маркс, назвавший насилие «повивальной бабкой истории», и те его поклонники, которые это повторяют, принадлежат к породе людей, по Толстому, еще не шагнувших в цивилизованное общество.

Однако Толстой ни в коем случае не выступал за примирение со злом. Считая, что толстовское непотворение злу насилием ведет к потаканию злу, забывают, что Толстой активно боролся со злом, и отнюдь не в противоречии со своими убеждениями. В одном из писем 1900 г. он разъясняет, что не противиться злу — это не значит игнорировать его, быть к нему равнодушным. Борьба со злом — одна из важнейших задач христианства. Но бороться надо деланием добра — не злему делать добро, а бороться со злом путем положительного духовного созидания. Есть и еще один сильнейший способ борьбы со злом — неучастие в нем. Примирение же со злом Толстой считал величайшим грехом — это вытекает из всех толстовских произведений.

Насилие для Толстого — тот же царь Мидас: с какой бы целью насилие ни применялось, оно сразу уничтожает самую цель, как бы справедлива она, на первый взгляд, ни была: «Французская большая революция провозгласила несомненные истины, но все они стали ложью, когда стали вводиться насилием».

То же и в России 17-го года. Всё, в чем большевики обвиняли царский строй и возникшую после февраля 1917 года демократию, возможно, и было справедливым; много справедливого и в провозглашенных ими лозунгах. Но, применив насилие в неизмеримо более страшных размерах, чем и без того не добренький царский режим, большевики создали систему, в которой вообще ничего не осталось от их декларативных идеалов и сохранилась вся прежняя несправедливость, бесконечно увеличившись в размахе зла. Так выразился один из самых неопровержимых законов истории. Все социальные системы, все государственные организации: социалистическая, монархическая, либеральная — отличаются друг от друга не проклами-

руемыми программами, а главным образом степенью применения насилия.

Персоналистическое учение Льва Толстого требует от каждого человека ответственности за свои поступки перед Богом, а не перед людьми. Вследствие этого ни один человек не может считать своей обязанностью служить человеческим сообществам. Если человек служит Богу, он несет ответственность за дело Божье; если же он обязывается служить классу, нации, партии или государству, он вынужден отвечать за всё, что творится от их имени. Злые дела правителей становятся возможными лишь при условии участия в них народа. В одной статье Толстой приводит понравившиеся ему слова Даймонда: «...преступления правителей делаются нашими, если мы, зная, что это преступления, содействуем их совершению... Те, которые полагают, что они обязаны повиноваться правительству и что ответственность за совершаемые преступления переложится на государей, сами себя обманывают».

Отказ от служения правителям есть форма борьбы, которая может закончиться весьма трагически, а личных успехов никаких не обещает. Этого не понимают те, кто обвиняет Толстого в том, что он предлагает, дескать, легкий путь — бороться с государством не с помощью насилия, стреляя в людей и подставляя свою грудь под пули, а просто не участвуя.

Само представление о силе и слабости, о героизме и трусости требует уточнения и, может быть, полного пересмотра в свете опыта XX века. Кто сильнее — насильник или отказывающийся от насилия и ограничивающийся проповедью? «Насилие, — писал Бердяев, — не только не тождественно с силой, оно никогда не должно быть связываемо с силой. Сила в более глубоком смысле означает овладение тем, на что она направлена, не господство, при котором всегда сохраняется внеположенность, а убеждающее, внутреннее, покоряющее соединение. Христос говорил с силой. Тиран никогда не говорит с силой. Насильник совершенно бессилён над тем, над кем совершает насилие. К насилию прибегают вследствие того, что не имеют никакой мощи над тем, над кем совершают насилие». Из такого понимания силы и слабости Бердяев делает справедливый вывод, что «величие мысли Льва Толстого и заключается в желании освободить человеческое общежитие от страха». Трусости насильников Толстой противопоставлял героизм неучастия. Истинно продолжил Толстого Солженицын, когда обратился к советскому народу с воззванием «жить не по лжи».

Учение Толстого о неучастии может быть правильно понято, если определить его как активное неучастие, как путь к созданию общественного мнения, которое приведет к невозможности для людей содействовать безбожным инициативам властей.

Призыв к насильственному сопротивлению злу — выражение философии цели, пренебрегающей средствами во имя достижения этой цели. К середине XX века всякая философия цели скомпрометирована до очевидности. Толстой неоднократно повторял, что все попытки изменить положение вещей основаны на легкомысленной уверенности людей в возможности предсказывать пути развития общества. Один из героев романа «Воскресенье» спрашивает: «Но почему ты уверен, что путь, который ты указываешь, истинный? Разве это не деспотизм, из которого вытекали инквизиции и казни большой революции? Они тоже знали по науке единый истинный путь».

Толстой не только показал безбожность идеи насильственной революции, но и — самое любопытное — предсказал бессмысленность ее даже с точки зрения атеистических идеалов. И два последствия революции: уничтожение христианской морали и ухудшение условий жизни человека — рассматривались Толстым в их неразрывном единстве.

Распространение антиреволюционного учения Толстого в наше время, когда наивная молодежь обращается к террору, к различным формам радикального экстремизма, было бы философской помощью тем идеалистически настроенным молодым людям, которые действительно желают добра беднякам, хотят усовершенствовать мир, чтобы в нем меньше было материального неравенства, несправедливости, духовной нищеты. Революции ставят целью изъятие собственности из рук владельцев ее, то есть чисто атеистическую задачу изменения внешних условий жизни. Толстой же предупреждал — история подтвердила его правоту, — что, борясь за распределение собственности, люди, потерявшие Бога в душе, приобретают эту собственность прежде всего для себя и создают новых нищих, которые вновь начинают стремиться к перераспределению собственности, то есть к новой революции, к новому насилию: «Почему вы предполагаете, что люди, которые будут заведовать фабриками, землю, — спрашивал Толстой рабочих, примкнувшим к революционерам, — не найдут средств точно так же, как и теперь, захватить львиную долю, оставив людям темным, смиренным, только необходимое?» История дала самый определенный ответ на этот вполне риторический вопрос.

Толстой твердил: революции не уничтожают несправедливости, а на место одной несправедливости ставят другую, на место одних насильников — других. «Какая бы из партий ни восторжествовала, для введения в жизнь своих порядков, так же как и для утверждения власти, она должна употребить не только существующие средства насилия, но и придумать новые. Порабощены будут другие люди и людей будут принуждать к другому, но будет не только то же, но более жестокое насилие и порабощение». Кто после этих слов может отрицать за Толстым пророческий дар, кто может утверждать после них, что Толстой — виновник русской революции?

Исполнение толстовских предсказаний — свидетельство силы идеалистического, религиозного мышления по сравнению с атеистическим учением материалистов. Ни один из прогнозов Маркса или Ленина не осуществился с такой точностью, как прогноз Толстого. И как обличение сегодняшних властителей, наследников революции 1917 года, звучат слова Толстого: «Вы тысячи лет пытались уничтожить зло злом и не уничтожили, а увеличили его».

Обращаясь к философско-религиозному учению Толстого, русская мысль, освобождаясь от тоталитарных глыб, может найти в нем свою опору, средство для духовного выздоровления и орудие борьбы против попыток растления человеческого Духа. Потому-то с самых первых лет возникновения нового режима в России новые ее хозяева пытаются скрыть от народа толстовское учение, расшаркиваясь перед художественным гением Толстого, но фактически запрещая распространять его философию. Н. К. Крупская еще в начале 20-х годов внесла религиозно-философские труды Льва Толстого в проскрипционные списки книг, подлежащих уничтожению, одновременно прославляя Толстого как великого художника-обличителя.

О том, как опасно для тоталитаризма толстовство, будь оно воспринято в России, писал Солженицын в главе VII первой книги «Архипелага». Солженицын рассказывает о деле толстовца И. Е-ва, отказавшегося служить в Красной армии, о его стойкости и его, вследствие этого, огромном моральном воздействии даже на конвоиров, один из которых сказал: «Если бы, браток, все такие были, как ты, — добро! Никакой бы войны не было, ни белых, ни красных!» Такие люди, такое учение не нужно тоталитарной власти, но прикрывать свою систему великими именами, в том числе именем Льва Толстого, ей необходимо. «Им нельзя не признать силы мысли и слова этого человека, — писал Лев Толстой о Паскале и его

почитателях, — и они причисляют его к классикам, но содержание его книги не нужно им».

Это можно сказать в преддверии пышных юбилейных дней Толстого в СССР, применяя слова, сказанные о Паскале Толстым, к нему самому.

Издательство «Третья волна»

Опубликованы книги:

Евгений Кропивницкий, «Печально улынуться», стихи	10 фр.
Александр Глезер, «Ностальгия», стихи	15 фр.
Михаил Хейфец, «Место и время», (Еврейские заметки). Книга, написанная в мордовском лагере	30 фр.

Готовятся к печати:

Генрих Сапгир, «Сонеты на рубашках», стихи
Игорь Бурихин, «Мой дом слово», стихи
Владимир Марамзин, «Повести и рассказы»

Все заказы отправлять по адресу:

Alexandre Gleser, Château du Moulin de Senlis
91230 Montgeron, France, Tel.: 942 96 52

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА

Его убило током в Париже; наш Саша Галич, наш московский, переделкинский, болшевский, дубненский, питерский, новосибирский погиб в Париже. А его песни звучат в Москве, в Ленинграде, в Новосибирске, в городах и поселках, на вечеринках студентов и школьников-старшекласников, в квартирах физиков и филологов, технарей и художников. За дружескими застольями и просто в тихие вечера запускаются магнитофоны или кто-нибудь поет под гитару... Эти песни украдкой насвистывают заключенные в тюремных камерах и вполголоса напевают в лагерных бараках...

Когда мы провожали его в Шереметьевском аэропорту и он взошел по диагональной лестнице к последнему посту пограничников и помахал нам уже отрешенно, рассеянно, показалось: всё!

«Аэропорт похож на крематорий», — писал московский поэт, изведавший горечь таких прощаний. Да и сам Галич пел: «Улетают, как уходят в нети, исчезают угольком в золе...»

Писем от него я не получал. Известия приходили редкие, смутные.

Значит, и впрямь тогда в Шереметьево было последнее целованье — как в крематории?

Но страшная весть из Парижа вызвала острую боль — новую живую боль. И с нею сознание: все это время он был с нами, в нас... Был и останется.

Смертельный удар тока, будто вспышка, высветил всю его жизнь. В молнийном свете всегда резче контуры, явственней весь облик и меркнут случайные черты.

Судьба поэта Александра Галича, поэта-певца в самом точном изначальном смысле слова таит в себе многие особенности русских поэтических судеб разных времен, однако более всего родственны ей судьбы тех, кто был ребенком в 20-е, юношей в 30-е, кто мучительно созрел в 40-е и 50-е и трудно преодолевал самого себя в 50-е и 60-е, кто вместе с друзьями, приятелями, современниками надеялся и отчаивался, искал и не находил, а потом снова надеялся и верил уже совсем по-другому...

Но разноголосое множество жизней, которые сгущены, сплавлены в живое единство его поэзии, воплотили и несравнимую ни с кем единственность его личной судьбы.



Был Саша Гинзбург, мальчик из интеллигентной московской семьи, — маленький лорд Фаунтлерой из Кривоколенного переулка. Он отлично учился, выразительно декламировал, сочинял стихи, играл на рояле, пел романсы и революционные песни, хорошо танцевал, был любимцем друзей и подружек...

Потом был ученик студии Станиславского, и сам Константин Сергеевич то журил, то хвалил его. А юноше мерещилась шумная слава...

Был актер молодежной труппы, исполнял роли коварных красавцев, благородных героев... В годы войны играл во фронтовых театрах и уже не только играл, но и режиссировал, сочинял частушки, скетчи, куплеты. Бывали счастливые минуты, когда ощущал радость зрителей, фронтовиков.

После войны скоро стал известен как драматург, сценарист. Пришли успехи, рос достаток, всяческое внешнее благополучие...

А в начале шестидесятых появились песни, казалось, никак не похожие ни на что в его жизни — и тогдашней и прежней. В них по-новому оживали давние заветы русской словесности: то были песни о современных Акакиях Акакиевичах, о бедных людях, об униженных и оскорбленных, но еще и о бесах и мелких бесах... В песнях Галича по-новому заговорила о себе советская быль, советская «улица безъязыкая». Он пел о работягах, зеках, солдатах, «алкашах», мелких чиновниках, гулевых шоферах, об ударнике коммунистического труда, о чекисте-пенсionере, слагал и песни о Полежаеве, о Блоке, о Зощенко, о Пастернаке...

Слова приходили вместе с музыкой — и знакомой, и заново рождающейся. Поэт сам пел, аккомпанируя себе на гитаре. На первых порах пел только друзьям. Но уже тогда магнитофонная лента начала разносить его голос по городам и весям

...Есть магнитофон системы «Яуза»,
Вот и все, и этого достаточно...

Галича стали приглашать знакомые и незнакомые; устраивались концерты. В марте 1968 года в Новосибирском Академгородке его слушали ученые разных поколений, студенты, рабочие и работники академических институтов. Он запел скорбную и гневную песню «Памяти Пастернака» —

Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели.

Полторы тысячи новосибирцев слушали стоя. Несколько мгновений благоговейной тишины... Потом обвалом грохот рукоплесканий, восторженные крики. Весь зал дышал небывалым единством любящего благодарного восхищения...

— Это были самые счастливые часы моей жизни...

Саша сказал это в тот вечер и не раз повторял, вспоминая, многие годы спустя.

Но в высших инстанциях его песни были сочтены «антисоветскими», и Галича исключили из Союза писателей, из Союза кинематографистов...

Михалковы разных степеней искренне возмущались:

— И чего ему только недоставало?! Гонорары по высшему разряду. Договора и с издательствами, и в кино, и на телевидении. За границу ездил, в капстраны, пожалуйста!.. В Париж пустили не туристом, не с делегацией, а в творческую командировку одного: гуляй, сколько душе охота!.. Жена — красавица, и лучшие девчонки по нему сохнут. Квартира шикарная!.. Одевается, как плейбой великосветский... Так какого же хрена он лезет на рожон?!

Давние знакомые и приятели, слушая песни, поражались:

— Откуда у этого потомственного интеллигента, прослывшего эстетом и снобом, этот язык, все это новое мироощущение? В каких университетах изучал он диалекты и жаргоны улиц, задворков, шалманов, забегаловок, говоры канцелярий, лагерных пересылок, общих вагонов, столичных и периферийных дешевых рестораций?

Но и самые взыскательные мастера литературы говорили, что этот язык Галича — шершавая поросль, вызревающая чаще на асфальте, чем на земле, — в песнях обретает живую силу поэзии. Корней Иванович Чуковский целый вечер слушал его, просил еще и еще, вопреки своим правилам строгого трезвенника сам поднес певцу коньяку, а в заключение подарил свою книгу, написав: «Ты, Моцарт, — Бог, и сам того не знаешь!»

* * *

Галича, конечно, радовали успехи его пьес и фильмов. Он любил путешествовать, любил обильное веселое застолье, знал толк и

в живописи, и в гравюрах, в фарфоре, и в старой мебели, и в винах, охотно приобретал красивые вещи... Но в отличие от большинства тех, кто разделял его веселые досуги, и вопреки всем, кто ему завидовал, он мучительно остро сознавал противоречия между своей жизнью и трудным бытием и тягостным бытом вокруг. Он внятно слышал голоса нищеты, горестных бедствий торжествующего хамства, гонимой правды, добрые и злые голоса, звучавшие за стенами вокруг тех благополучных домов, в которых он бывал и жил...

Мы пол отциклуюем, мы шторы повесим,
Чтоб нашему раю ни края, ни сноса,
А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам
Колеса, колеса, колеса, колеса...

Он слышал голоса иных миров, давние и недавние, далекие и близкие.

И слушал их всей незадубевшей совестью, всей душой поэта.

Совесть не прощала ему ни вольных грехов, ни невольных. И снова и снова одолевала его боль за то, что пережил столько друзей, родных, современников, погибших на фронтах и в несчетных Освенцимах, что не хлебал тюремной баланды, не ковырял кайлом воркутинский уголь, не доходил на золотой колымской каторге, на сибирском лесоповале, за то, что не испытал ни голода, ни нищеты...

И он пел о погибших, об уцелевших, «продрогших на века», пел о них и за них —

Облака плывут, облака,
В милый край плывут — в Колыму,
И не нужен им адвокат,
Им амнистия ни к чему!

...Наш поезд уходит в Освенцим
Сегодня и ежедневно.

Внутренняя правда песен-монологов, достоверность песен «от первого лица» сохраняют полную силу и в тех случаях, когда «Я» или «Мы» вовсе чужды автору («Баллада о прибавочной стоимости», «Генеральская дочь» и др.) и когда поют уже не существующие люди: «Мы похоронены где-то под Нарвой», «А второй зека — это лично я» — представляется осужденный на смерть:

...На вахте пьют с рафинадом чай,
Вертухай наш совсем сопрел.
Ему скушно, чай, несподручно, чай,
Нас в обед вести на расстрел...

* * *

Он и сам сознавал эти противоречия и несоответствие.

...Не моя это вроде боль.
Так чего ж я кидаюсь в бой?!
А вела меня в бой судьба,
Как солдата ведет труба...

Его судьбой стала его совесть. В ней постоянный глубинный источник его песен.

Вместе с тем их полифония — поразительное разногласие и напряженный драматизм в развитии самых разных судеб, в столкновениях характеров, острота ситуаций воплощают в слове искусство лицедейства.

Галич поэт-певец остался верным учеником Станиславского. Уроки гениального учителя — уроки перевоплощения, вживания в образ, неподдельной правдивости в «показывании чувств и отношений» — для поэзии Галича оказались значительно более плодотворными, чем для его творчества актера, постановщика, драматурга.

Брехт широко пользовался понятием «гестус»; это слово того же этимологического происхождения, что и «жест», и в известной мере сродни ему, однако значит больше. Гестус — это и выразительность поведения, движения актера на сцене, и выразительность драматической структуры пьесы, отдельного эпизода, ситуации, т. е. движение мысли, но также и выразительное развитие баллады, лирического монолога, песни, даже некой личной судьбы...

Гестус поэзии Галича заключен отчасти и в его пении, в его исполнительском искусстве. Но только отчасти. Сущность его прежде всего и главным образом в языке, в «гестусе живой речи». Она то сдержанна, иронична, исполнена сокровенного достоинства, то страстна до иступления, захлебывается гневом, то нарочито сентиментальна, высокопарна, то саркастична, резка до грубости. Его речь бывает изысканно-салонной и площадно-диалектной, жаргонной, по-старинному литературной «высокого штиля» и буд-

нично-затрапезной, газетной, косноязычной... И каждое из таких свойств языка «работает» в его песнях, работает непринужденно и словно бы своевольно, однако на поверку всегда целесообразно — так же, как и мелодия, ритмический строй, каждый мгновенный переход — перепад ритма или интонации —

Ну, писал там какой-то Бабель,
И не стало его — делов!
Не судите!
И нет мерила,
Все дозволено, кроме слов.
Ну, какая-то там Марина
Захлебнулась в петле — делов!
Не судите!
Малюйте зори,
Забивайте своих козлов.
Ну, какой-то там чайник в зоне
Все о Федре кричал — делов!
— Я не увижу знаменитой Федры
В старинном многоярусном театре!..

Пребывая в туманной черноте,
Обращаюсь с мольбой к историку:
От великой своей учености
Удели мне хотя бы толику.

В этой песне («Без названия» из цикла «Литераторские мостки») чередуются, перекликаются, контрапунктно сочетаются: евангельская проповедь («Не судите...»), хамские огрызания («делов!..»), трагедийная патетика строк Мандельштама («я не увижу знаменитой Федры») и голос автора, звучащий то в сердитой простецки разговорной речи («Малюйте... забивайте козлов... опускайте пятки...»), то в печальных или иронических размышлениях, а в конце, после взволнованного «внутреннего диалога», взрывающийся гордым гневом:

...«Не судите, да не судимы...»
Так вот, значит, и не судить?!
Так вот, значит, и спать спокойно,
Опускать пятки в метро,
А судить и рядить — на кой нам,
«Нас не трогай, и мы не тро...»

Нет, презренна по самой сути
Эта формула бытия,
Те, кто выбраны, те и судьи?!
Я не выбран!
Но я — судья!

На малом пространстве песни умещаются несколько разных речевых уровней, разных стилей, разных словарей. Они сплетаются и переплетаются совершенно естественно — искусно, но безыскусственно скрепленные внутренней логикой песни. Сплетения, казалось бы, несовместимых словосочетаний стали поэзией.

*
*
*

Во второй половине века в нашей стране возродилось обновленное искусство поэтов-певцов, искусство кобзарей, бардов, шансонье... Этот древний род поэзии по сути никогда не умирал. Его мастерами были Франк Ведекинд, Джо Хилл, Бертольт Брехт.

И совсем недавно Боб Дайлэн, Вольф Бирман, Аллен Джинзберг и многие французские, американские, немецкие и другие поэты-певцы из богемных обиталищ, из трактиров и с улиц пришли на концертные эстрады, на экраны телевизоров.

У нас песни Булата Окуджавы, Александра Галича, Юлия Кима, Владимира Высоцкого и других новых бардов возникали в годы «оттепели» сперва как стихийное, полуосознанное и все же прямое сопротивление казенному триумфально-помпезному лжеискусству смотров, фестивалей, мнимонародных ансамблей.

В этом именитым певцам предшествовала и сопутствовала самодеятельность геологов, туристов, студенческих бригад целинников. Подвижные молодые содружества, удаляясь от державной «индустриально» стандартизирующей цивилизации, от унылых шаблонов пропаганды и всяческой плановой «культработы», нередко становились очагами свободы — воли. Они поют в пути и в досужие часы — как всегда в подобных обстоятельствах поют на Руси и на Украине, да, пожалуй, и во всех иных краях нашей страны. И чаще всего именно гитара сопровождает таких певцов.

Позднее стали входить в быт магнитофоны, которые разносят голоса поэтов-бардов из дома в дом, из города в город.

Романтический лиризм Окуджавы, карнавальное разноголосие Кима, гротескная экспрессивность и суровая патетика Высоцкого — это разные миры, разные поэтические галактики.

Мир Галича иногда соприкасается, иногда «пересекается» то с одним, то с другим из них. Но редкие, случайные и всегда относительные сближения только оттеняют абсолютное своеобразие его драматической поэзии: его песен-трагедий и песен-трагикомедий, песен-мелодрам, песен-фарсов. В некоторых соблюдены классические три единства. В «Балладе о принцессе», «Ночном дозоре», «Песне о майоре Чистове», «Репортаже о футбольном матче», «Цыганской песне» и др. действие развивается в течение считанных часов в одном и том же месте на единой сюжетной основе. Другие драматические песни повествуют о смене эпох или о долгих жизненных путях («Песня про генеральскую дочь», «Петербургский романс», «Веселый разговор», «Фарс-гиньоль» и др.), развертываются в цикл пьес с общим героем (истории «Из жизни Клима Петровича»). В духе современной «после-кафковской» драматургии одну песню-спектакль образует параллельное движение двух разных, внешне изолированных, далеких друг другу сюжетных течений («Аве Мариа», «Желание славы», «Песня о бессмертном Кузьмиче»). «Песня о вечном огне» построена даже из нескольких самостоятельных тематических конструкций. Траурный марш, надгробное рыдание вначале, потом плутовская повесть об урках-разведчиках, скорбное напоминание об Освенциме, печально-ироническое сопоставление монте-кассинского поля битвы и познанской ярмарки, такое же сопоставление остатков лагерей «над Камой, над Обью» с коленопреклоненным премьером (намек на Брандта в Варшаве) и лирический монолог автора, который, перебивая себя, напоминает, сравнивает, горестно причитает, зовет: «встать, чтобы драться, встать, чтобы сметь» и завершает всё, как бы возвращаясь к началу, реквиемно: «Рвется и плачет сердце мое!»

* * *

«Веселие Руси есть пити!»... И старинному зеленому вину, и нынешним водкам присущи такие значения, которые, пожалуй, неизвестны в иных краях ни бражникам, ни проповедникам трезвости.

Пьянство, разумеется, зло для всех и везде на всех широтах и долготах.

Но у нас оно, кроме всяческой вредности, наделено и некоей доброй силой. Водка при известных обстоятельствах оказывается еще и носителем... свободы и даже равенства и братства. Так было

уже в давние поры, так есть и пребудет, вероятно, еще долго. До тех пор, пока мы будем жить в мире всевластной несвободы, жестокого неравенства и окаянного отчуждения кровных братьев и недавних побратимов.

Надеюсь, никто здравомыслящий не заподозрит меня в желании оправдывать или даже прославлять пьянство. Но не будем ханжами! «Кто пьян да умен — два угодя в нем». А если еще и не только умен?!.. Тени пенных бокалов, штофов, заветных бутылок то и дело возникают над страницами истории нашей словесности.

Немало пьют литераторы и в других краях. Гашек, Ремарк, Хемингуэй... если называть только самых знаменитых, получится длиннейший ряд.

Но там, на Западе, хмель для большинства — это один из путей отчуждения, это дурман, заполняющий тоскливые досуги одиночки, растерявшегося в суете и копошении таких же одиноких, пресыщенных всем, в том числе и привычной постылой свободой.

А на Руси пили и пьют с горя и с радости, с устатку и на отдыхе, по привычке и нечаянно. И пьют чаще всего сообща, артелью, компанией. Даже отпетые алкаши норовят, чтобы не меньше троих. А во хмелю обретают неведомую трезвенникам свободу-волю, небывалое равенство и доброе братство. Так пили славянофилы и западники, ретрограды и прогрессисты, грамотеи и невежды, поэты и художники, актеры и бурлаки; так пили Полежаев, Огарев, Аполлон Григорьев, Николай Успенский, Мусоргский, Куприн, Блок, Есенин, Твардовский, Ольга Берггольц, Михаил Светлов... О живых умолчим.

Так пил Галич. Он пил с героями своих будущих песен; пил как равный, свой, говоривший с ними на их языках. И поэтому так свободно, так естественно пел о них. Иногда иронически, насмешливо, сердито, но всегда с неподдельной любовью. Он мог бы повторить за Ольгой Берггольц: «Как мне праведники надоели, как я наших грешников люблю!»

И пел он ведь не только о том, как соображают на троих, как принимают «по первой», как «перекладывают водку пивком», закусьвают селедкой или косхалвой, а то и вовсе «под конфетку» или «под сукнецо»... Нет, он пел их словами и своими словами об их печалях, бедах, радостях, шутках, о жизнях, обо всем, о чем они говорят с хмельной и потому беспредельной откровенностью.

И правда его песен обретала новую небывалую, безудержную свободу.

* * *

Большая совесть гражданина и высокое искусство лицедейства, хмельная вольность и трезвая свободная правда — живые источники поэзии Александра Галича.

Его первые песни родились внезапно, неожиданно для всех знавших его и даже для него самого, в начале шестидесятых. А потом они полились неудержимым широким потоком. И до конца его питали все те же чистые родники.

Галич погиб, недопев; упал на середине пути. Умер на чужбине чужой смертью...

Но здесь, на родине, он живет. В своих песнях, своей жизнью.

Москва, 1978 г.

КОПЕЛЕВ Лев Зиновьевич — родился в 1912 году, в Киеве. В 1938 году окончил Московский институт иностранных языков. Критик, литературовед, писатель. Участник Великой Отечественной войны. Затем много лет провел в сталинских концлагерях и тюрьмах. Автор множества статей и переводов. В 1976 году на Западе вышла его первая большая проза: «Хранить вечно». Через год исключен из Союза писателей СССР. Активный участник правозащитного движения в нашей стране.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Колонка редактора

ХЕЛЬСИНКИ ПО-СОВЕТСКИ

Сначала маленькая иллюстрация.

В один из Пермских лагерей по недосмотру администрации проник номер журнала ЮНЕСКО «Курьер» с опубликованной в нем Декларацией Прав Человека. Когда на очередном «политзанятии» какой-то дотошный заключенный, защищая свои права, попытался сослаться на этот документ, офицер-воспитатель, не задумываясь, ответил:

— Это не для вас написано, а для негров.

Этот простодушный постулат тюремного служаки исчерпывающе определяет сущность внешней политики советского правительства, которую, кстати сказать, сам Ленин, еще в начале двадцатых годов, определил с тою же солдатской откровенностью: «Договора с капиталистическими государствами не только можно, но и нужно нарушать».

Спрашивается: почему же тогда, растоптав и отбросив на протяжении этих шестидесяти лет почти все подписанные им международные соглашения, оно, это правительство, до сих пор не потеряло своего внешнеполитического кредита? Почему вновь и вновь демократический Запад садится с ним — этим правительством — за стол заранее обреченных на саботаж переговоров? Почему, наконец, свободный мир позволяет ему, этому правительству, шантажировать себя с помощью столь грубой и примитивной демагогии?

Мне кажется, что причина этого вынужденного самообмана таится в хрупкой относительности нравственных критериев, определяющих здесь сейчас шкалу человеческих ценностей. Подчинение внешней и внутренней политики прагматической тактике и сию-

минутным потребностям общества прочно доминирует теперь на Западе над соображениями устойчивой безопасности, не говоря уже о морали.

Если образно оценивать ситуацию, складывающуюся в отношениях между Востоком и Западом до сегодняшнего дня, то я бы позволил себе сравнить эти отношения с игрой на одной доске, но в разные игры: Запад — в шахматы, а Восток — в шашки. Отсюда все ее результаты. И, к сожалению, они, эти результаты, не в пользу Запада.

Аморальности нельзя противостоять аморальностью. Ключ к решению большинства самых жгучих проблем современности в возвращении к исконным человеческим ценностям. Поэтому новая политика президента Картера не только глубоко гуманна, но и наиболее дальновидна по своему содержанию. Отказываясь от духовного выбора между Добром и Злом в пользу либерального прагматизма, демократическая цивилизация заранее обрекает себя на гибель. Недаром в своем недавнем письме самые отважные заключенные Пермских лагерей, обращаясь к западной общественности, пишут:

«Но если меновую стоимость в политической игре вновь приобретает свобода — чужая свобода, которую ваши предшественники помогли потерять столь многим, отдавайте себе отчет в том, что дурной опыт торговать чужой свободой неизменно грозит потерей собственной».

Возьмем, к примеру, совсем недавний случай. На Западе решил остаться крупный советский чиновник, заместитель Генерального секретаря ООН Аркадий Шевченко. Мне нет нужды вдаваться здесь в мотивы его решения, ближайшее будущее покажет подлинные причины этого, почти беспрецедентного события. Я хотел бы только отметить сейчас тот поразительный факт, что первым свое возмущение поступком Шевченко выразил не Леонид Брежнев, не советское прави-

тельство, не даже Министерство иностранных дел СССР, а Курт Вальдхайм, демократ, стоящий во главе организации, призванной самим своим существованием защищать Права Человека, в том числе и право выбора себе местожительства по своему разумению и по своей совести. Видимо, для некоторых политических деятелей Запада теплое место под солнцем оказывается в конце концов дороже принципов Свободы и Демократии.

Если поведение Генерального секретаря ООН делается в политической жизни образцом для подражания, то недалек тот день, когда лагерный надзиратель, помахивая перед носом жителей западных стран их же собственными законами, изречет:

— Это не для вас написано, а для негров.

Но если, паче чаяния, к тому времени и наши чернокожие братья будут охвачены самой свободной в мире пенитенциарной системой, то он, этот надзиратель, сможет сослаться на пингвинов, те всё стерпят без слов и обо всем будут судить единодушно.

Продолжать тешить себя иллюзиями — значит погибнуть. Смотреть правде в глаза — значит победить!

Читайте в следующем номере «Континента»

прозу

**В. Некрасова, В. Максимова,
С. Юрьенена, П. Гомы**

СТИХИ

Н. Горбаневской, А. Раннит

публицистику

**В. Буковского, П. Григоренко,
Т. Мераи**

Критика и библиография

ГАЛИЧ И РУССКИЕ БАРДЫ

В конце 50-х годов много неожиданного объявилось в нашей жизни. Новый жанр русской поэзии — поэзия бардов — как снег на голову свалился, и любители классификаций почувствовали себя неуютно, стали искать полочку — куда бы это явление поместить?.. Кто прищипливал новое явление литературы к фольклору, особенно блатному, кто тщился доказать, что это душа Вертинского вселилась в Окуджаву, а уж от него всё и «пошло есть», а находились и такие, что выводили родословную «бардов» прямо из советской песни... Только в песне текст потому и называется так скромно — текстом, что он у музыки в подчинении. А тут появилась поэзия, не уступающая ни крохи своей сложности, ни грана глубины, ни единой возможной ассоциации.

Песенный текст обязан был, казалось, быть примитивным — этого вроде бы требовал жанр. Не знаю, действительно ли так или это «текстовики», от первых оперных и до нынешних «доризо», придумали в оправдание бездарности. Песни «бардов» сразу заявили себя не песнями в традиционном смысле этого слова, а стихами, связанными с музыкальным сопровождением. В потоке современного поэтического сознания поэзия бардов вошла в число факторов, определяющих весь характер поэтики второй половины века.

Создатели жанра — два крупнейших русских поэта нашего времени: Булат Окуджава и Александр Галич. Появились они почти одновременно (Окуджава немного раньше), и уже в самом начале шестидесятых записи их песен звучали по всей стране — распространение лимитировалось лишь количеством и стоимостью магнитофонов.

Довольно быстро появилось множество и авторов собственных, и исполнителей чужих стихов под гитару, и таких, что пели вперемешку свое и чужое... Ю. Ким, А. Городниц-

Александр Галич. Когда я вернусь. «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1977. Песни русских бардов. I-III. ИМКА-Пресс, Париж, 1977.

кий, Ю. Визбор, М. Анчаров, Е. Клячкин, Ю. Кукин... На этом фоне довольно быстро выделился талантливейший актер и блестящий поэт Владимир Высоцкий.

И вот, когда несколько отстоялось это взбаламученное море, стало ясно, что само по себе явление дало не столь уж много имен, действительно вошедших в мозаику нашей литературы, — по моему глубокому убеждению, поэзия Окуджавы, Галича, Матвеевой и Высоцкого некой незримой стеной отделилась от самодеятельности — пусть порой и талантливой, но самодеятельности — остальных «бардов». Особенно это хорошо видно, когда возьмешь в руки трехтомник «Песни русских бардов». В этом сборнике, каждый том которого включает в себя понемногу песен каждого, принцип расположения материала по исполнителям не всегда дает возможность проследить за поэтической индивидуальностью того или иного автора. Но если одновременно слушать коллекцию кассет, приложением к которым, собственно, и являются изданные тексты, то можно получить представление о той или иной поэтической индивидуальности, тем более, что исполнители почти всегда оговаривают случаи, когда стихи принадлежат не им, и называют авторов. И если оставить в стороне песни «туристского» типа, а также многочисленные использованные стихи Киплинга, Бродского, Вознесенского и другие — как русские, так и переводные, то окажется, что немногие из «бардов» порой выходят за пределы самодеятельного искусства, — что не мешает любить, слушать и петь их песни, ставшие частью живой, неофициальной культуры.

Однако если судить с точки зрения поэзии как таковой, то в ее молодом жанре уже создалась естественная пирамида, на вершине которой названные мною Окуджава, Матвеева, Высоцкий и Галич. И творчество Галича в рамки жанра уже не укладывается.

Взглянем на самые, казалось бы, внешние, формальные признаки: у Галича — и только у него — есть большие полифонические поэмы, которые немислимо назвать не только песнями, но даже циклами песен. Эта чисто внешняя сторона его творчества обусловлена внутренней сутью: большие поэмы Галича — произведения прежде всего философские. Сочетание таких понятий, как философия и гитара, выглядит на первый взгляд дико, но факт остается фактом: «Поэма о

бегунах на длинные дистанции» — о безумном и вневременном споре Сталина с Христом, споре за души людские — что это? Мистерия? Фарс? Памфлет? Историчесофские стихи? Бытовые новеллы? Лирика? Сатира? Всё вместе. Тут нет места ни классификации, ни классицизму. Летят в тартарары все единства, начиная с единства приема.

Не менее разнообразна — при строжайшей лирической внутренней цельности — и поэма «Кадиш», посвященная памяти Януша Корчака. При всем диапазоне, от лирических пронзительнейших песен («Когда я снова стану маленьким») и до притчи (о князе, желавшем закрасить грязь), от иронически жуткого блюза и до повествования вполне новеллистического — вся она содержит тот нравственно-философский заряд, которым заставляет читателя или слушателя воспринимать ее как лирико-философское произведение и одну из вершин гражданской поэзии.

Монтаж кинокадров, перебрасывающий нас от Себастьяна Баха в московскую коммуналку и обратно, «Еще раз о чёрте» и лирически горькое, сатирически беспощадное «Письмо в XVII век», наконец — кафкиански жуткий фарс «Новогодней фантазии», где страшным контрастом бездуховному миру возникает образ белого Христа, который «не пришел, а ушел... в Петроградскую зимнюю ночь» (полемика с Блоком), — всё это говорит, что Галич совершил немислимое, невозможное: соединил «песенку» и философскую поэзию, гитару и молитву, жаргон и язык пророков.

Это же видно и в самой композиции его последней книги «Когда я вернусь».

Книга построена как единое произведение. От цикла «Серебряный Бор» и до цикла «Дикий Запад» — это история жизни поэта, словно биографическая поэма с множеством, как и положено поэме, лирических «отступлений». И не отступления они совсем, эти «упражнения для правой и левой руки», эти короткие лирико-сатирические миниатюры, — они всё в той же линии рассказа «о времени и о себе». Но в отличие от остальных стихов они бессюжетны, они — как эпиграфы, они — обобщения того, о чем весь цикл: «Промотали мы свое прометейство, проворонили свое первородство». И когда после этих строк и после «Канареечка жалобно свистит: «Союз нерушимый республик свободных»...» — сразу идет «Песня об отчете доме», то ясна связь

интермедий с самими песнями, составляющими цикл. Ведь именно персонаж, именуемый тут «некто с пустым лицом», претендующий на право определять, кто сын своей страны, а кто — пасынок или вообще чужой, именно этот кафкианский «некто» узурпировал и прометейство и первородство. Для поэта сей «некто» — просто никто и представляет страну не больше, чем канареечка, жалобно свистящая бессловесный гимн бессловесного государства...

А последние два раздела книги как бы представляют всё наше общество: сначала — как и полагается — столпы, а затем и вся его пестрота. Столп — Клим Петрович Коломийцев. Впервые в этой книге он — в полный рост, уже не три, а шесть повестей о нем, вся его личность, вся жизнь как на ладони. И ясно, что на таком «столпе» может удержаться лишь общество небезызвестного города Ибанска.

Поэма «Вечерние прогулки» логически завершает книгу — это и есть вся пестрота наша. От спившегося работяги до «действительного члена» КПСС, от «очкастых» до блатных, от бывшей учительницы до... Это напоминает «оперу нищих», жанр, родившийся в начале XVIII века, когда появилась музыкальная комедия Джона Гея под этим названием. Она и определила сам жанр как полифонический: собравшиеся в таверне бродяги, разнообразные фигуры с разных «уровней» социального дна спорят, исповедуются, похваляются друг перед другом в песенках, монологах, куплетах. Но сравним поэму Галича хотя бы с «Веселыми нищими» Бернса — поэмой того же жанра. У Бернса вор, кузнец, маркитантка, солдат, цыган — аутсайдеры общества, каждый из них — «человек за бортом». У Галича «два очкастых алкаша», работяга, партийный чиновник и другие — советское общество присутствует в шалмане почти в полном составе (кроме разве что крестьянства): и партия, и рабочий класс, и интеллигенция. И вот главное, в чем перевернул Галич традиционный жанр: всё общество, вся советская действительность в лице своих представителей оказывается в его поэме за бортом жизни...

И работяга — по сути дела, главный герой поэмы — тут антипод Клим Петровича, именно его монологи выражают авторское отношение и к собравшимся в шалмане, и к самой действительности за пределами этого «малого шалмана», в том «большом шалмане», хозяева которого вроде того хмы-

ря, что не выдержал монологов работяги и помер. Помер от простой правды.

Работяга (в кружке пена),
Что ж ты, дьявол, совершил?
Ты ж действительного члена
Нашу партию лишил!

В романтических операх нищих не обходилось без драк. В шалмане уже не переворачивают столы — это вам не таверна XVIII века! Тут дерутся — словом, страшнейшим оружием XX века. И обрамление поэмы — тоска по классической лирике — еще усиливает гротескность изображенной в ней реальной жизни. Это не автор пишет гротеск — это действительность, перещеголявшая все фантазии. Воистину «мы рождены, чтоб Кафку сделать былью».

Эта поэма завершает не только книгу — если проследить внимательно, многие песни-баллады Галича окажутся только частями той самой «оперы нищих», словно ждавшими, чтобы поэт собрал их все вместе, в одну страшную буффонаду, которую Галич писал всю жизнь.

Именно единство, связывающее многие песни Галича в большие циклы, наличие поэм, состоящих вроде бы из отдельных песен, но связанных воедино, скомпонованных часто по принципу, сходному с киномонтажом, философское содержание этих «систем» и «метасистем» — от цикла до книги — всё это выводит поэзию Галича за пределы собственно «поэзии бардов», хотя происхождение ее от этого жанра несомненно.

В. Бетаки

От редакции: Хотелось бы поправить ошибку в редакционной заметке о «Песнях русских бардов» («Континент», № 14). В дополнительных исторических сведениях, связанных с авторством песни «Стою я раз на стреме...», свидетелем обвинения на ленинградском процессе 1949 г. назван писатель-фантаст Север Гансовский. На самом деле им был специалист по научной фантастике Евгений Брандис. С. Гансовский выступил в аналогичной роли много позднее, в 1960 г., по делу ленинградского писателя Кирилла Косцинского.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Вышедший по-итальянски сборник текстов А. Д. Сахарова (25 обращений к мировой общественности, к главам государств — в том числе к Форду и Картеру, к правительствам, подписавшим Хельсинкские соглашения, к министру внутренних дел СССР, семь интервью западной прессе и телевидению и очерк «Тревога и надежда») представляет собой необыкновенный и волнующий исторический документ. Прежде всего, тем, что он открывает нам «сахаровское чудо». Я говорю «чудо», ибо сочетание героизма, настойчивости, трезвости, высочайшего интеллектуального уровня и духовного благородства, о котором свидетельствует этот сборник, превышает всякое умопонимание. Я не смог бы назвать, за исключением его напарника — гиганта Солженицына, ни одного другого человека в наш смятенный век, кто достиг бы, рискуя при этом своей жизнью и жизнью родных, жертвуя комфортом, призванием, безопасностью, такого размаха в поисках истины и в борьбе с произволом и с несправедливостью. Мало сказать, что он стал символом каждому присущей, но редко воплощаемой в жизнь человеческой способности преодолеть страх и пренебречь своими личными интересами. Более того, в самом центре общества, которое он определяет как общество наиболее рафинированного и развитого тоталитаризма, постоянно подвергаемый угрозам и шантажу, в тесной квартире, которую он делил с шестью членами своей семьи, Сахаров, вопреки всем попыткам его изолировать, остается центром информации, авторитетом, вмещающим в себе одном Верховный суд, Конституционный совет, Парламент, несуществующую свободную печать и заменяющим их. Он — островок свободы в море угнетения. Он — бесстрашный и непобедимый Давид, противостоящий Голиафу, слабости, преступления, наглость которого Сахаров разоблачает в каждом своем тексте. Отныне он стал частью нашей совести. Благодаря ему, мы больше не можем игнорировать то, что происходит в глубине России, Украины, Грузии, Мордовии. Он отнял у нас

Andrej Sacharov. Un anno di lotta. Guigno 1976 — agosto 1977. A cura di Efrem Jankelevich. Bompiani, Milano, 1977. (В 1978 г. сборник выступлений А. Д. Сахарова под общим заглавием «Тревога и надежда» выпущен также по-русски издательством «Хроника».)

право быть равнодушными. Он один из тех, кто наиболее отважно и наиболее умно помог разоблачить советскую систему, показать массовую жестокость, беззаконие, отсутствие гражданских прав, которые режим так долго скрывал под ширмой относительного материального благополучия и равнодушия масс и при помощи соучастников внутри и вне страны.

Сборник настолько богат материалами о политических и юридических условиях жизни, настолько насыщен размышлениями духовного и политического порядка и прозорливыми суждениями о настоящем и будущем России и всего мира, что лишь углубленный анализ, не вмещающийся в рамки простой рецензии, может об этом дать отчет. Поэтому я ограничусь перечислением нескольких самых важных моментов. Во-первых, приведенные Сахаровым уточнения относительно аномалий Конституции и законодательства: превращая контроль партии над всеми общественными организациями в ключ системы, они допускают и узаконивают преследования, связанные с любым независимым общественным или культурным начинанием. Статья 126 прежней Конституции, статьи 70 и 190 УК РСФСР (и соответствующие статьи УК других республик) дают возможность советскому правительству обходить обязательства, принятые им при подписании Хартии ООН, Хельсинкских и прочих международных соглашений, ссылаясь при этом на законы: с юридической точки зрения абсурдные, с человеческой — незаконные. День за днем, до Хельсинок и после, в самый канун Белградской конференции, права человека попирались и попираются в СССР. Свободной циркуляции идей и людей препятствуют; проверяют и перекрывают почтовые и телефонные связи; отказывают в выдаче паспортов. В сборнике приводится почти исчерпывающий список арестованных, избитых, дискриминированных, лишенных работы, сосланных, заключенных, приговоренных к лишению свободы в течение последних лет за участие в неполитических организациях — таких, как Инициативная группа защиты прав человека, Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений, созданная Орловым, Фонд Солженицына помощи политзаключенным, возглавляемый Александром Гинзбургом, или же за участие в издании и распространении «Хроники текущих событий».

По данным Сахарова, примерно две или две с половиной тысячи человек находятся в заключении по политическим обвинениям. Однако к этой цифре приходится добавить десятки тысяч людей, подвергающихся надзору, слежке и внесудебным репрессиям. В правозащитной деятельности ученого полностью отсутствует какая бы то ни было политическая, национальная или религиозная дискриминация: не будучи верующим, он защищает баптистов и православных; русский, он делает общее дело с грузинами, украинцами, литовцами, евреями, татарами; либерал, он выражает солидарность с антилибералом Осиповым, редактором журнала «Вече»; интеллигент, он заступает за рабочих и крестьян. Наконец, он заявляет о своей солидарности с чехами и словаками, подписавшими Хартию-77, с польским КОРОм (Комитетом защиты рабочих) и из гражданина Советского Союза и Европы становится гражданином вселенной: ангольцы, вьетнамцы, камбоджийцы, брошенные Западом на произвол судьбы, находят в Сахарове того, кто с ними солидарен; противник расовой дискриминации и антисемитизма, он не забывает и о страданиях палестинцев; он осуждает международный терроризм и слепое насилие, каковы бы ни были их мотивировки и оправдания.

Политические идеи Сахарова мало изменились с 1968 года, когда были опубликованы его «Размышления о прогрессе, о мирном сосуществовании и об интеллектуальной свободе». Можно лишь отметить определенную эволюцию: он еще более твердо говорит о несовместимости партийно-государственной монополии экономической и культурной жизни с интеллектуальными свободами. С его точки зрения, лишь переход к смешанной экономике и к плюрализму в общественной жизни может обеспечить интеллектуальную свободу. Но Сахаров, бесспорно, — не политик и не политолог. В его понимании, права человека — самая важная из проблем, с которыми сталкивается человечество. Права человека для Сахарова — архимедова точка опоры, центр тяжести мира. К этой борьбе за правое дело, героической и ненасильственной, призывает он своих соотечественников, а также, не становясь ни на чью сторону, любое правительство и любые общественно-политические организации Запада. Их помощь в антитоталитарной борьбе он считает желательной и даже необходимой.

Рискуя, что на родине его будут клеймить как изменника и антипатриота, Сахаров — и это один из самых отважных его поступков — не побоялся привлечь внимание Запада к опасности, которая заключается в благодушном признании советской концепции разрядки, а разрядка для кремлевских вождей — не что иное, как продолжение холодной войны, только новыми средствами. Нынешняя советская система порождает экспансионизм, порабощает и эксплуатирует другие народы; внешняя политика СССР, говорит Сахаров, в корне враждебна реалистическому мирному разрешению проблем Ближнего Востока, Африки или Азии. Весть, с которой Сахаров обращается к Западу, сводится к следующему: у вас более передовая политическая и экономическая система, чем у нас, ибо она доказала свою способность к развитию и к изменениям; у вас система «с человеческим лицом». И потому-то вы несете ответственность за весь мир, в том числе и за социалистические страны. И через голову Картера, через голову правительств (Сахаров знает, что «государственные соображения» вынуждают их быть осторожными — увы, часто осторожнее, чем требуется), он обращается в первую очередь к общественному мнению разных стран, к средствам массовой информации, к профессиональным объединениям ученых: к физикам, математикам, психиатрам, которым уже удалось вырвать некоторых советских собратьев из тюрем и психиатрических больниц и помочь им эмигрировать на Запад. Известно, и Сахаров это знает, что заинтересованность в технологии толкает советское руководство на путь усиления научно-технических связей с Западом. Тем самым, возникает возможность оказать на них эффективное давление, возможность, которую западная интеллигенция — из робости, оппортунизма или чего-нибудь похуже — не использует еще в достаточной мере. С полным основанием Сахаров, как и Солженицын, клеймит дурную западную привычку снабжать советское правительство всем, в чем оно нуждается: хлебом, технологией, уступками в разоружении, не подумав при этом потребовать взамен хоть несколько капель гуманности, чуточку больше терпимости и меньше жестокости по отношению к собственному народу.

Ф. Фейто

РАНА ИСТОРИИ

Книга лорда Бетелла «Последняя тайна» была уже опубликована на нескольких языках, но, быть может, русскому ее переводу следовало бы быть первой ее публикацией, потому что тема книги очень близко касается именно русского читателя. Речь в ней идет о выдаче союзниками советскому командованию бывших советских военнопленных гитлеровских лагерей, рабочих-остовцев, угнанных в свое время немцами на работы в Германию, и тех военнопленных и казаков, которые согласились надеть немецкую военную форму и воевали во время войны на стороне Гитлера против Красной Армии и союзников.

В феврале 1945 г. в Ялте было подписано соглашение о репатриации пленных. Советское командование требовало неукоснительного выполнения этого соглашения, и союзники старались именно так его выполнять. Результатом была трагедия десятков тысяч людей, насильно репатриированных в Советский Союз и там отправленных в лагеря или немедленно расстрелянных.

У нас очень любят говорить о войне. Вот уже и поколение родившихся после нее — вполне взрослые люди, отцы и матери семейств, а тема эта всё еще подогревается советской литературой, искусством, периодической печатью — всеми средствами информации или, лучше сказать, пропаганды. И весь поток произведений самых разнообразных жанров не перестает лгать о войне. Они кричат о героизме советского народа и Красной Армии, о великой миссии освобождения Восточной Европы от гитлеризма, и тут тема останавливается. Тут смыкаются все начала и концы. Слов нет, и Красная Армия, и народы России действительно проявили чудеса героизма, действительно принесли огромное количество жертв. Но кому принесли они эти жертвы? И ради чего? Вряд ли стоит напоминать о том, что и в либеральнейшие хрущевские времена было категорически запрещено по-настоящему исследовать причины растерянности и поражения Красной Армии в первые годы войны. Немыслимо было напоминать о том, что Советский Союз стал в 39-м

Николас Бетелл. Последняя тайна. Пер. с англ. И. Голомштока. Стенвалли, Лондон, 1977.

году сторонником и союзником гитлеровской Германии, что при участии Советского Союза произошла оккупация Польши и ее последующее почти полное уничтожение. О репрессиях в Красной Армии, потерявшей более 80 процентов командного состава, у нас тоже предпочитают не вспоминать. Между тем, те самые 20 миллионов жертв Отечественной войны, которые советская пропаганда возлагает на плечи недоброй памяти Третьего Рейха, лежат полностью на советском правительстве, советском руководстве, и не только одного Сталина, но и тех его сподвижников, которые нынче мирно копаются в собственных садиках и кушают по весне собственную клубничку.

Не будь репрессий 20-30-х гг., не будь голода на Украине, унесшего 16 миллионов крестьянских жизней, не будь раскулачивания и депортации целых народов, разве могло бы возникнуть положение, которого не знала история войн во всех странах мира: миллион солдат, надевших военную форму врага и сражавшихся против своей родины.

В течение долгих лет в Советском Союзе распространялась лживая информация о том, что союзники всячески препятствовали советским военнопленным вернуться на родину. Множество драматических ситуаций, основанных на этом, легло в основу литературных и сценических художественных произведений. Целый поток сусальной драматургии, прозы, поэзии, кинопродукции был вызван к жизни этой ложью.

Книга Николаса Бетелла говорит о том, что происходило на самом деле: подавляющее большинство советских военнопленных не хотело возвращаться домой. Не потому, что они не любили свой дом, не потому, что у них его не было, не потому, что слово «родина» ничего им не говорило, — нет, потому что дома их ждал в лучшем случае лагерь, в худшем — расстрел без суда и следствия.

Союзники не только не препятствовали возвращению на родину советских граждан, они неизменно усердствовали в выдаче их советскому военному командованию. Союзники боялись Сталина. Боялись, что если они нарушат какой-либо из пунктов Ялтинского соглашения, то у Сталина, тем самым, появятся основания нарушать его со своей стороны. В частности, по Ялтинскому соглашению советское руководство обязалось провести свободные выборы в странах Восточной Европы, освобожденных от гитлеризма и оккупиро-

ванных Красной Армией. Мы все хорошо знаем, чем это кончилось. Мы все хорошо знаем, чем кончались все соглашения с Советским Союзом — вплоть до последних, Хельсинкских соглашений. Однако союзники предпочитали неукоснительно следовать букве и слову Ялты, словно предыдущие тридцать лет советской истории прошли мимо них. Они не только выдавали советскому командованию депортированных советских граждан и бывших военнопленных, они выдавали и тех русских, которые никогда советскими гражданами не были и не признавали советского строя законным. Так были выданы в Лиенце двадцать тысяч казаков, служивших раньше в гитлеровской армии. Вопрос об их вине — это вопрос особого рода. Его можно решать только в целом, включая проблемы политической борьбы во время и после октябрьского переворота, положение внутри советского государства и его действия на международной арене на протяжении всех лет его существования. Главное здесь то, что казаки не подходили под пункт о репатриации в Ялтинском соглашении. Они не были ни перебежчиками, ни изменниками, ибо никогда не принадлежали к советскому государству, а были открытыми его врагами.

И вот этих людей английская военная администрация, в ведении которой находились казаки, решила выдать советским властям. Факт выдачи был от казаков скрыт, они не знали предстоявшей им судьбы. Среди них были и семьи — четыре тысячи женщин и две с половиной тысячи детей. Англичане обманули их. Но рано или поздно тайна должна была открыться, и она открылась, послужив началом беспримерной трагедии, — когда люди, которым предстояло вернуться на родину, предпочитали бросаться с моста в реку, разбивать себе голову о камни, убивать жен и детей, чтобы затем пустить себе пулю в лоб. Они предпочитали возвращению смерти, ими самими выбранную, собственной рукой осуществленную. Что же это за родина, если дети ее предпочитают смерть ее материнским объятиям? Таковы уж объятия — колючая проволока и дуло. Эта трагедия стала не только пятном на совести нашей страны, она осталась шрамом на совести множества англичан, вынужденных участвовать в этой акции. И только сэр Антони Иден, тогдашний министр иностранных дел Великобритании, никогда ни о чем не пожалел. Но, по правде сказать, он ничего не видел

собственными глазами, а покой министерского кабинета спасает от лишних эмоций.

И все-таки трагедия эта была освещена англичанином. Лорд Николас Бетелл написал свою книгу, оснастив ее множеством документов и подлинных свидетельств, которые до недавнего времени еще хранились в архивах как совершенно секретные. Великое благо, что участники этого преступления — со всех сторон: и с советской, и с союзнической — еще живы. Еще есть кому предъявить этот документ, созданный англичанином, достаточно преданным своей родине для того, чтобы не скрывать пятен ее истории, ее слабостей и позора. Нам остается только ждать, когда сподобится этого Россия.

Е. Игошина

ФАЛЬШИВЫЙ ДУЭТ

С 1973 по 1976 год мы одновременно жили в Лондоне — корреспондент «Известий» Олег Васильев, его супруга поэтесса Лариса Васильева и автор этих строк. Правда, я поселился в Лондоне на семь лет раньше Васильевых и продолжал жить там после их отъезда; правда, мы на британской земле ни разу не встречались. Но дело от этого не меняется: жили вот три человека из России в Лондоне и как-то воспринимали этот город и остров вокруг него.

В 1974 году я сильно заболел. Меня увезли в больницу и сделали сложную операцию. Понятное дело, все это, включая лекарства после выписки, не стоило мне ни пенса. Но была еще и неожиданность. Пока я хворал, английский соцстрах (эта штука в Британии зовется совсем так, как в России, только действует лучше) присылал на мой домашний адрес по 17 фунтов стерлингов в неделю. Это выходит в месяц около ста рублей *по курсу*, а в действительности куда, конечно, больше. Думая, что платили мне по ошибке, я объяснил по выздоровлении, что получал полные сто про-

Олег Васильев, Лариса Васильева. Встречи с Британией. М., «Молодая гвардия», 1977. 208 стр. с иллюстрациями.

центов за дни болезни по месту работы. «Это ни при чем, — был ответ. — Когда вы в больнице, у семьи нарушается режим, могут появиться дополнительные расходы. Вот их соцстрах и покрывает...»

Так. Это мой личный опыт. И вот беру я в руки книгу супругов Васильевых «Встречи с Британией», вышедшую недавно в Москве, и читаю (стр. 46): «Если заболел — пеняй на себя, никаких выплат не полагается». Черным по белому. Ничтоже сумняшеся. И это — о британских рабочих-нефтяниках, рабочих-богачах, лучше всех застрахованных и перестрахованных!

Впрочем, страница сорок шестая книги Васильевых мало отличается от остальных по достоверности. Уже на десятой читаем про «мужественного Джемса Олдриджа, намеренно и преступно замалчиваемого здесь писателя потому только, что его политические взгляды не нравятся кое-кому» (стиль и пунктуация оригинала бережно сохранены).

Нет, вы только вообразите. Мужественный Олдридж (которого, это верно, в Англии никто не знает) пишет шедевры. Издатели и рады бы их печатать, а публика — покупать, но есть зловещий «кое-кто», способный дать команду — всем, всем, всем! — преступно замалчивать. Ибо «кое-кому» не по вкусу взгляды писателя. Кошмар, да и только.

Бедный Васильев (это он сочинил) за почти четыре года в Англии так и не понял, что там — капитализм; что если книгу будут покупать, то она — коммунистическая, или монархическая, или еще какая — пойдет крупными тиражами, и нет (слава Богу!) никакого центрального механизма, регулирующего книжный поток. Есть только рынок, и на этом свободном рынке определенные литераторы почему-то на редкость неважно продаются. Даже если они «мужественно» пишут и пишут больше тридцати лет подряд, как делает Олдридж, и если их полные собрания регулярно выходят в СССР...

Повторяю, всякая страница книжки Васильевых по-своему хороша. Но попадаются и особенно ударные. Вот, извольте, на сто седьмой: «Ни в каком доме-крепости не укрыться от бдительного ока полицейских и иных сыщиков». В Англии!! В стране, где нет ни паспортов, ни каких-либо вообще удостоверений личности, ни прописок, ни отметок — ну, совсем ничего. Где денежные переводы выдают

по шоферским правам (без фотокарточки!), а когда и прав нет — так по предъявлении любого письма, ранее пришедшего на ваше имя!

У нас, российских, от этого особый шок. Уж коли взялся я о моем лондонском опыте упоминать, то расскажу, не скрою, как в первые дни по приезде бегал искал адресный стол — хотел найти знакомого лондонца. Но, увы, не оказалось в Англии таких удобных справочных киосков: никто попросту не знает адресов. Единственный источник — телефонная книга, а в нее хочешь записывайся, хочешь — нет.

Читал я «Встречи с Британией», вздыхал и думал: винить Васильевых, осуждать за гадкую ложь или, может быть, жалеть? И чем ближе к концу книги, тем яснее шевелилась во мне жалость. Иной раз определенно и не хотел автор добавить еще дегтя — да само получалось, из-за советского тоталитарного хода мысли, из-за привычки к «своим» порядкам. Вот две фразы со страницы 167-й: «По английским законам слушание идет вначале предварительное, оно должно выявить виновного и поставить вопрос о предании его суду. Слушание, проходившее в отсутствие подозреваемого, было закончено решением: да, Лукан виновен и подлежит суду». Видите как! Это в стране, от куда приехал Васильев, виновность «определяется» еще до суда. И он, не желая в этих именно фразах обижать Британию, невольно перенес в нее свои представления и порядочки.

Надо ли говорить, что предварительное слушание («инкуэст»), проводимое после убийств, никакого виновного не определяет — только причину смерти. Надо ли говорить, что виновным в Британии может признать только суд. Надо ли говорить, что даже после задержания человека на месте преступления о нем нельзя писать как о преступнике, или о виновном, или даже о подозреваемом: можно лишь сообщать, что «такой-то помогает полиции в расследовании дела», а после предания суду называть его подсудимым. Напишет газета что-либо иное до приговора — вовеки за диффамацию не расплатится!

Но ведь Олег Васильев работает в «Известиях», а эта газета, как известно, еще до ареста, скажем, Щаранского написала, что он преступник, американский шпион. Что уж с Васильева-то взять!

Еще несколько черточек книги, изданной стотысячным тиражом. Из 147 страниц прозаического текста книги (а в ней и стихи Л. Васильевой) почти половина — 68 страниц — описывает забастовки и вообще классовую борьбу в Англии. Добрый десяток страниц отведен «ленинским местам» — впрочем, не всем местам. Как многие советские люди, Васильев был шокирован тем, что II съезд РСДРП собирался в пивной (хотя для британцев в этом нет ничего плохого или даже необычного). И вот читаем на стр. 30: «Чтобы не привлекать внимания местной полиции, а особенно русских агентов, заседания съезда проводились в разных местах. Об условиях, в которых пришлось работать II съезду РСДРП, мы говорили с Эндрю Ротштейном.

— Важно, не где проходили заседания, а что на них было, — сказал Ротштейн».

Со своей, британской точки зрения старый коммунист Ротштейн, конечно, прав. Но Васильев этого проглотить не в силах — так и не объяснил он читателю, где же «исторический» съезд проходил.

Не могу умолчать и вот о чем. Выпускник МГИМО, в прошлом зам. главного редактора «Иностранной литературы» Олег Васильев — невежествен, а иногда и безграмотен. На стр. 194 я наткнулся на «Патетическую симфонию Бетховена» (?). На стр. 100-101 сказано, что «девушки пели *уэльскую* народную песню... на *уэльском* языке». На стр. 134 обнаружилось, что жители Джерси, говорящие и по-французски, и по-английски, имеют *свое собственное наречие* — «*патуар*». И так далее.

Что ж, хорошо образованных, пытливых, интеллигентных людей в СССР редко снаряжают журналистами-международниками — врать о загранице. Для этой работенки нужен, видимо, соответствующий уровень всего: и морали, и грамотности.

Под конец два слова о стихах Васильевой-жены. Ее, молодогвардейскую «правильную» поэтессу, заново открывать в этой книге не приходится. Как литератор, Лариса Васильева намного выше мужа, но это еще не похвала. Ведь она не более чем вышивает рифмованные фестончики из того же мужнина «материала». По Васильевой, например, англичане способны

выражать недовольство погодой,
знать границы законов и прав,
называть свои пути свободой
и вышучивать собственный нрав.

Все же отдадим ей должное. На стр. 155 она вдруг тревожно спросила и сама ответила:

Может быть, я не поэт?
Время покажет — кто прав.

Покажет, милочка, покажет.

Л. Владимиров

ГОРЕЧЬ СТАРОГО СОЦИАЛИСТА

*Шагают янки левой-правой,
жюль моки служат переправой.*

Советский плакат конца 40-х годов

Книга Жюля Мока «Коммунизм — никогда!» была опубликована в самый разгар подготовки к парламентским выборам во Франции, от исхода которых зависело политическое, а значит, и социально-экономическое будущее страны. 15 марта, как раз между двумя турами выборов, Жюлю Моку исполнилось 85 лет. Полвека своей жизни этот выдающийся государственный и политический деятель отдал социалистическому движению, а в 1974 году вышел из Французской социалистической партии в знак протеста против подписания «общей программы», этого «аморального и противоестественного», по его мнению, союза с коммунистами.

«Над Францией нависла угроза коммунизма, — пишет Ж. Мок. — Нужно напомнить о преступлениях, совершенных во всем мире во имя коммунизма, напомнить, что коммунисты удерживаются у власти только путем насилия, только с помощью преступлений... Сегодня французы могут

Jules Moch. *Le Communisme, jamais!* Pion, Paris, 1978.

и обязаны знать о преступлениях коммунистов в тех странах, которые им удалось прибрать к рукам». Жюль Мок предостерегает против распространяющегося мнения, будто коммунистическая идеология — такая же, как все прочие, известные и привычные французам. «С момента взятия Бастилии, то есть менее, чем за два столетия, французы низложили или лишили власти 15 глав государства, тогда как ни в одном из коммунистических режимов народу никогда не удавалось претворить народное волеизъявление в жизнь и изменить государственный строй».

Жюль Мок подробно анализирует методы борьбы компартий за власть. Коммунисты всегда досконально изучают геополитику своей страны и выбирают самые доступные и эффективные способы прихода к власти. В одних странах они разжигают гражданскую войну, в других — предъявляют ультиматум и т. д.

Само название книги «Коммунизм — никогда!» — прямое и откровенное, как и политические взгляды автора, безусловно верящего в социализм и столь же категорически отвергающего идеологию коммунизма. Эта книга — своего рода дневник, в котором личные наблюдения чередуются с историческими фактами и теоретическими выводами. Жюль Мок много раз бывал в Советском Союзе, встречался и беседовал с советскими министрами. Политический деятель с многолетним опытом, он умеет поставить собеседникам нужные вопросы и верно истолковать самые уклончивые, туманные ответы. В результате личных наблюдений, изучения свидетельств, знакомства с неопровержимыми историческими фактами Жюль Мок пришел к выводу, что компартии всех без исключения стран лживы, лицемерны, преступны. «Трагичнее всего, что не только преступления, совершенные в Советском Союзе, исчисляются миллионами, но что то же самое испытывают все страны, попавшие под коммунистическую диктатуру». В книге Ж. Мока — и боль о людях, которые всё еще попадают на удочку коммунистической пропаганды, и предупреждение, что коммунисты слишком хорошо организованы и нечего надеяться легко и демократически отобрать у них власть.

Жюль Мок против обывательского равнодушия к правде, против нежелания извлекать уроки из прошлого. Равнодушно созерцая ужасы, происходящие где-то там, в других

странах, отвергая правомерность исторического анализа, люди вырабатывают в себе будущее равнодушие и к ужасам у себя на родине. Так возникает готовность потворствовать преступлению, готовность содействовать приходу коммунистов к власти.

Значительная часть книги посвящена социально-экономической и политической жизни Советского Союза. Жюль Мок разоблачает миф о социальном процветании населения в мире социализма. Самая страшная диктатура «не дала гражданам даже социального благополучия. ... средняя заработная плата в Советском Союзе — самая низкая среди индустриальных стран мира». Ж. Мок не только рассказывает о вчерашних ужасах: насильственной коллективизации, чистках и массовых уничтожениях, но и глубоко критически оценивает нынешнее положение вещей в стране.

В историческом обзоре советского развития есть, впрочем, и один существенный пробел. Сначала бросается в глаза фраза: «Смерть Ленина застала меня в Москве, и я стал свидетелем настоящего всенародного траура». В 1953 году многие из нас тоже стали свидетелями «настоящего всенародного траура». И потом (раньше ли, позже) узнали, что оплакивали убийцу. И что были десятки тысяч, тогда уже знавших и не «оплакивавших». Всенародный траур, как и всенародное ликование, иногда можно называть «настоящим» лишь с оговорками и комментариями. Это замечание показалось бы придижкой к слову, если бы за ним не стояло несогласие с интерпретацией недолгого (1917-1924), но основополагающего периода истории СССР. К сожалению, Ж. Мок уделил «ленинскому» периоду всего одну страницу, сконцентрировав всё внимание на преступлениях сталинских времен.

Социалист и противник союза с коммунистами, Жюль Мок, естественно, много пишет о Французской компартии и о взаимоотношениях двух партий. Останавливаясь на некоторых эпизодах послевоенной истории ФКП, Ж. Мок демонстрирует готовность коммунистов пойти на прямое предательство интересов Франции, привести экономику страны в состояние полной разрухи — всё ради захвата власти. Приводимые в книге документы доказывают, что тогдашняя тактика ФКП была продиктована советским руководством. Книга Ж. Мока снабжена оригинальной таблицей, показыва-

ющей, что каждое серьезное изменение в тактике и теоретической платформе французских коммунистов, с самого основания партии и до последних дней, находилось в зависимости от внутренней или/и внешней политики Советского Союза.

Теоретически социалисты и коммунисты преследуют одну и ту же цель, пишет Ж. Мок, — построить общество с более справедливым распределением благ. Идеологии обеих партий питаются одним и тем же марксистским анализом экономического развития. Но всё остальное их разделяет: и выбор путей и методов прихода к власти, и практика управления в странах, где они у власти. Одушевленный стремлением не только развенчать коммунистов, но и доказать, что путь социализма — единственно верный путь развития общества, Ж. Мок рассказывает об опыте социалистических партий у власти. «Во всех странах, где социалисты приходили к власти, они всегда скрупулезно соблюдали принципы демократии и никогда не нарушали демократического плюрализма. Соблюдая демократические законы, министры-социалисты всегда, когда были вынуждены, покидали правительство, а не цеплялись за власть любой ценой, как это свойственно коммунистам». Приводимый в книге перечень социально-экономических реформ, осуществленных социалистическими партиями Швеции, Дании, Норвегии, Израиля и Чили, оставляет некоторую неудовлетворенность в этом последнем пункте. Социально-экономическая программа Альенде описана слишком лаконично и некритически, а ведь именно «аморальный и противоестественный союз» социалиста Альенде с чилийскими коммунистами вызвал трагическое бессилие в осуществлении этой программы, разруху и нужду в стране, которые не в последнюю очередь способствовали успеху пиночетовского путча.

Не объясняет Жюль Мок и причин, по которым партия, в которой он полвека играл большую роль, ведущим теоретиком которой он был, — пошла на оппортунистический союз с коммунистами, вызванный исключительно желанием одержать победу на выборах. Арифметические подсчеты голосов оказались важнее, чем хорошо известные социалистам коммунистические преступления. В идеализации прошлого французских социалистов, прошлого, в котором можно найти предпосылки их нынешнего соглашения с коммунистами,

заключается, как мне кажется, некоторая слабость этой книги, бесспорно талантливой и бесспорно нужной французам и всем, кто хочет понять положение в этой ключевой стране Западной Европы.

Ф. Салказанова

«А ПО СЕРЦЯХ НАШИХ КОПИТА, КОПИТА...»

А ведь можно было бы писать просто рецензию — просто о книге. Забыв про всё, кроме светлой мелодии украинского стиха, кроме гармонически перекликающихся со стихами цветовых всплесков украинской вышивки с соседних страниц.

коханий
соняхом жовтим
в моєму житті
зацвіти

— звучат стихи, и золото-бурый *соняшник*, окруженный орнаментом, увенчанный двумя оленятами, отзывается, как в лад настроенная струна. И на это созвучие отвечают еще две струны — глаз и ухо читателя.

О чем эти стихи? Если можно вообще говорить, «о чем» стихи, — то в них есть всё, что почти во всякой лирике: любовь, печаль, родная земля. Если спросить: с кем, с чем встречаемся мы в этих, именно в этих стихах — то, возвращаясь памятью к страницам или снова и снова любовно перелистывая их, мы слышим зарево перезвонов на звоннице сердца и сумеречное молчание Софии Киевской, пустую скорлупку месяца, проплывающую по небу, и черешневое цветенье декабрьской метели. И неизменную украинскую сказку...

Нездоланный дух. Мистецтво і поезія українських жінок, політ-визнів в СССР. Смолоскип. Балтимора-Чикаго-Торонто-Париж, 1977. — На укр. и англ. яз.

А перша казка про ясен місяць.

А друга казка про ясне сонце.

А третя казка про яші зорі.

А перша казка про мого батька.

А друга казка про мою неньку.

А третя казка про всю родину.

Засвіти меші, ясен місяцю.

Обігрий мене, ясне сонечко.

Заспівайте мені, сиші зорі.

.....

Обійде та казочка

Дококола Вашого дворочка

И сяде собі на воротях

У червоних чоботях

З огненным мечем —

Що добре — пропустить,

Що лихе — зітне!

Читай, радуйся, восхищайся, запоминая имена: «А перша казка...» — Ирина Стасив-Калынец, «Обійде та казочка» — Ирина Сенік. И вот почему эту рецензию нельзя писать просто о книге, просто о стихах.

Стихи Ирины Стасив, Ирины Сенік, Стефании Шабатуры, фотографии килимов Шабатуры (черно-белые, по ним можно только догадываться о симфонии красок, как по клавиру о партитуре, — но других репродукций на Западе нет пока) — творчество украинских женщин-политзаключенных. Оно заслуживает восхищения без всяких скидок на личный героизм и колючую проволоку, но забыть об этой колючей проволоке нельзя. Из-за этой проволоки пришли и вышивки: закладки для книг, салфетки, дорожки на стол, настенные украшения, даже талисман с казаком Мамаем — всё это вышито не во Львове и не в Киеве, не в украинской деревне, а в достославном «заповеднике имени Берия», на третьей зоне Мордовских политлагерей.

«Нам неизвестно, — написано в предисловии к этой книге, — кто был инициатором создания этих миниатюрных образцов украинской декоративно-символической вышивки, но известно, кто был в мордовском концлагере № 3 в то

время, когда они были выполнены. Вот они: художник-килимарь Стефания Шабатура, микробиолог и врач Нина Строката-Караванская, филолог Надия Свитличная, поэтессы Ирина Сенек и Ирина Стасив-Калынец; заканчивали тогда свои многолетние срока участницы украинского освободительного движения Одарка Гусяк, Мария Пальчак, Галина Дидык и Катерина Зарицкая-Сорока... А когда вышивки попали на волю, в лагерь привезли новейшую политзаключенную — инвалида Оксану Попович».

Вот они — их письма, биографии, фотографии. Вот Оксана Попович — 8 лет лагеря и 5 лет ссылки. Свои первые 10 лет она получила, когда ей было шестнадцать: отсидела срок полностью, вернулась инвалидом, была реабилитирована. Конец нового срока — 1987 год. Вот Надия Свитличная — отсидев четыре года, тяжело мыкается на воле. Брат ее, Иван Свитличный, в январе будущего года закончит лагерный срок, поедет в ссылку. А вот Надин сын Ярема с бабушкой — глазастый, радостный, не понимает еще, что мама за решеткой (фотография тех времен). Не могу забыть тревожных недель после ареста Надии: никто не знал, где мальчик. Потом его вернули бабушке — где он пробыл это время? Мал еще был, что он мог рассказать?

А вот фотография веселая, рождественская, с личинами, ряжеными. В центре праздничной толпы — утомленное лицо Раисы Мороз: Валентин уже отсиживал свой второй срок. Утомленное, даже истомленное, и все же с мягким светом, окруженное лицами друзей. Им недолго оставалось колядовать, праздновать, радоваться: это — Рождество 72-го года, канун страшной волны арестов, прокатившейся по независимой украинской интеллигенции. Возле елочки, *ялинки*, стоит Ирина Стасив, ее муж Игорь Калынец рядом, с бумажным кивером на голове. Сейчас они оба только окончили лагерные срока и поехали в ссылку. А возле Игоря, подвязавшись по-бабьи платочком, — Михайло Осадчий, он и сейчас еще в лагере.

На другой фотографии — Калынцы, Чорновил и Стефания Шабатура. Мягкие, простые, совсем не «геройские» лица. Шабатуру легко представить сосредоточенно склонившейся над листом бумаги, над начатым килимом или вышивкой. Но я легко представляю ее и держащей голодовку

— после того как «искусствоведы в мундирах» жгли ее рисунки: вряд ли таким же мягким оставалось лицо, но, наверно, таким же простым, естественным, мужественным. Сейчас Шабатура в ссылке, в Сибири. С горькой ли, светлой ли надеждой, высказанной в ее стихах:

Ще того віку вистачить
для щастя —
прийти і вмерти
на своїй землі.

Сияют свечи львовских каштанов в стихах Ирины Сенник. Сияет озаренная церковь Успенья Богородицы на вышитой закладке. Крылатые львы святого Марка — символ Львова — напоминают нам о первохристианах. «І розішнуть Тебе, і прокленуть, І на іконах намалюють знову. І ті жішки, що йшли з любов'ю, На Тебе знов молитися почнуть», — пишет Ирина Стасив.

За разгромленную Украинскую Церковь, за удушенное слово истины на родном языке, за изорванную цветную ниточку непрерывности национальной культуры — за всё это тихо и просто, но непреклонно пошли в битву мученицы нового украинского Возрождения.

Н. Горбаневская

Коротко о книгах

ДЖОН БАРРОН И ЭНТОНИ ПОУЛ

УБИЙСТВО ДОБРОЙ СТРАНЫ

MURDER OF A GENTLE LAND.

The untold Story of Communist Genocide in Cambodia.

By John Barron and Anthony Paul.

Reader's Digest Press, New-York, 1977.

Имя журналиста и писателя Джона Баррона широко известно во всем мире после выхода его книги «КГБ», принесшей автору заслуженную славу. Баррон — редактор «Ридер Дайджест» — одного из самых массовых журналов на земном шаре. Энтони Поул — специалист по дальневосточным делам того же журнала. Написанная ими совместно книга — широко документированное исследование, — а вернее даже расследование того, что произошло в Камбодже после междоусобной войны, развязанной коммунистами, и захвата власти в стране войсками красных кхмеров. «Одна из самых ужасных историй нашего времени» написана после опроса более чем трех сотен свидетелей — тех, кому удалось (иногда совершенно фантастическими способами) бежать из

страны после падения ее столицы Пном-Пеня и тут же последовавшего превращения ее весьма относительных рубежей в привычную нам «границу на замке».

До этой книги в мировой печати появлялись время от времени сообщения о том, как в целях «коммунистического перевоспитания» три с половиной миллиона жителей столицы были переселены в «деревню» (попросту в джунгли). Но масштабы этого процесса были не очень известны, и цифры вызывали недоверие. Выход книги Д. Баррона и Э. Поула покончил со всеми сомнениями. В работу по уточнению фактов, по обработке сведений и т. д. был включен почти весь мощный журналистский и технический аппарат журнала «Ридер Дайджест». И факты, уточненные и подтвержденные многочислен-

ными свидетельствами и интервью, превзошли самое мрачное воображение. Более половины населения страны было выселено из столицы и нескольких меньших городов, отправлено в джунгли и брошено там небольшими группами. Людям без всяких средств к существованию, без сельскохозяйственных инструментов и орудий было предложено возделывать «целину» тропических зарослей и ядовитых малярийных болот. По подсчетам авторов, более полумиллиона человек просто было убито в процессе этой «воспитательной меры» (и это не считая тех, кто погиб во время боев). «Уходите в свои деревни, в деревни ваших предков» — таков был приказ «Ангка Ле» — то есть высшей власти. И хотя более полутора миллионов человек вообще не имели родной деревни — это были жители столицы в третьем, а порой и в четвертом поколениях, — они были из города выселены. Победители отбирали все имущество, требуя очистить город в течение двух дней. Они действовали в согласии с буквально понимаемыми словами Мао о том, что «мировой город» должен погибнуть в окружении «мировой деревни». Через

месяц после воцарения коммунистических властей в Пном-Пене аэрофотосъемка показала полностью пустой город! Трех миллионов жителей — почти половины всего камбоджийского народа — не было на месте. Эта депортация, не сравнимая даже со сталинскими депортациями народов, проводилась организованно и быстро: колонна за колонной под конвоем вооруженных солдат уходили в джунгли. Завоеватели собственной страны уничтожали машины, медицинское оборудование, мебель — всё, что было «заграничного» по всей стране. «Все будут равны во всем» — говорили «красные офицеры». Пользование транспортом и мотоциклами было категорически запрещено. Машины остались только для армии и высших властей. Кто представляет эти «высшие власти» (Ангка Ле), никто не знал.

Но основное внимание красные кхмеры уделили сожжению книг и установлению пограничной охраны. Как пишут авторы, «изолировать людей от внешнего мира и от собственного прошлого» — вот чего прежде всего добивалась эта таинственная Ангка Ле. Им удалось все же установить, кто

эта «высшая власть», по чьему приказу в стране был проведен геноцид собственного народа. Это — «две дюжины коммунистов», составляющие ЦК КП Камбоджи. Восемь из них (некто вроде политбюро) учились некогда во Франции, там вступили в компартию Франции и затем составили ЦК КП Камбоджи. С конца пятидесятых годов все они безвыходно находились в джунглях, на «партизанском положении», «вдали от всякой реальности и от жизни собственной страны». Когда правительство Лон Нола, разложившееся коррумпией, дошло до того, что через разных лиц стало прямо перепродавать оружие и припасы красным кхмерам, они — не без китайского влияния — предприняли попытку захватить столицу и всю страну. Сразу вслед за падением Пном-Пеня после-

довало уничтожение всех подозреваемых и выселение прочих без различия пола, возраста, образования или имущественного положения. Все стали равны — все стали нищими. «Верней, не нищими, ибо положение этих людей хуже положения диких зверей — те хотя бы родились в джунглях, им не приходится там адаптироваться». И все же около 25 тысяч человек ускользнуло из этого государства «осуществленного равенства». Устроители всего этого — не какие-нибудь дикари, а люди, получившие в свое время европейское образование; люди, ставшие коммунистами не где-нибудь, а во Франции, и осуществившие на деле идеи Мао гораздо последовательнее и буквально, чем это смогли сделать китайские коммунисты под водительством самого Мао...

БОРИС ХАЗАНОВ

ЗАПАХ ЗВЕЗД

Изд. «Время и мы», Израиль, 1977

Проза Бориса Хазанова — его повести и рассказы — почти не отличается от его эссе. Стилистическая ткань

ее в сравнении с эссе почти не обнаруживает жанровых различий. Она проста, спокойна и иронична, и, если бы

не выстраивающийся перед нашими глазами сюжет, мы легко могли бы отнести и прозу его к разряду эссе, настолько Хазанов не скрывается в ней как автор, не уходит под воду сюжетно-фабульных наслоений. Он всегда виден «от первого лица», хотя бы рассказ велся и от третьего. В прозе он всего лишь ограничивает свой авторский голос пределами избранного жанра, и сам жанр этот становится словно бы только иносказанием, предлогом для того, чтобы не обсказывать все его личные, авторские боли до конца, до последней буквы и точки. К тщательному и детальному описательству Хазанов испытывает болезненное недоверие, как будто он убежден в том, что напрямую использованная деталь способна только увести читателя от настоящего смысла повествования, не дать ему опуститься в глубину раздумья; способна только отвлечь и развлечь. Любая деталь у Хазанова символична — но не крикливо и не навязчиво символична, мы даже не сразу замечаем его символику: только углубляясь в повествование, замечаем, что никакого иного места и смысла, кроме как быть общенным выражением

определенной мысли, у хазановской детали нет. В целом же все его рассказы — и базируются на совершенно реальных или реалистических фактах, и использующие фантастически-нереальные ситуации — можно определить как «неоромантические». И это действительно романтизм, и действительно новый — рожденный военнo-лагерным фоном двадцатого века, который не позволяет уже воспевать человеческие доблести мелодекламацией, да и вообще воспевать что-либо в первоначальном смысле этого слова, сегодня навивном до пошлости. Сегодняшний романтизм — это приправленная и отравленная иронией тоска по неделимым, цельным человеческим ценностям: достоинству, чести, вере, любви. Однако все-таки тоска — реально существующая, реально о себе заявляющая.

Прозу Хазанова можно назвать неоромантической еще и потому, что она пропитана несомненной и последней, как последнее прибежище изгнанника, верой в способность человека возродиться из пепла униженности, растоптанности, кажущегося непоправимым разрушения. Несколько рассказов Хазанова, напечатанных в книге

«Запах звезд», — это лагерные рассказы. «Взгляни в глаза мои суровые», «Запах звезд», «Глухой неведомой тайгой», «Дорога на станцию» — герои этих новелл — лагерники, и действие их, за исключением последней, также происходит в лагере. Лагерные рассказы для нас давно уже не новость, они стали отдельной отраслью нашей литературы, тесно сомкнувшись с лагерными мемуарами, так что трудно отделить теперь произведения чисто литературные от свидетельств и документов. Быть может, потому трудно, что действительность превзошла все возможности творческой фантазии — своей чудовищностью и малой правдоподобностью. Но, по правде сказать, давно уже известно, что ничто не может быть столь неправдоподобным, как обыкновеннейшая реальность, и никакое воображение не может с ней в этом состязаться.

Спокойствием повествования и легкой ироничностью лагерные рассказы Хазанова напоминают рассказы Варлама Шаламова, только Шаламов совершенно, абсолютно беспросветен в своем видении лагерного бытия, то есть, собственно, не самого бытия даже, ибо оно мало

зависит от лагерного обитателя, но бытия человеческой души, огражденной тремя рядами колючей проволоки, собачьим лаем и мало от него отличающимися окриками охраны. Хазанов же не может (словно не в силах) не поверить в рождение или сохранение в душе человеческой того, что и делает человека человеком, — его духа, его достоинства и изначально в нем заложенной жажды свободы.

Хазанов утверждает, что неожиданное движение человеческой души — и есть суть и истина самого существа человеческого. В одном из своих эссе, «Идущий по воде», Хазанов пишет: «Свободе предшествует сознание свободы. Так рождается концепция Деяния с большой буквы, того самого мгновения Истины, когда человек раздвигает сетку узаконенных координат, словно прутья решетки. Тогда он едет в Малую Азию отыскивать Трои, хотя ему сто раз объясняли, что Троя никогда не существовала. Тогда он оставляет Ясную Поляну, поступает в оруженосцы к Дон-Кихоту, заявляет, что не примет католичества, потому что где-то преследуют евреев, садится с детьми в вагон, который везет их в

газовую камеру, — и никто не понимает, чего он, собственно хочет этим добиться. Он пришивает к своему королевскому одеянию желтую шестиконечную звезду. Он печатает доктора Живаго: чем не попытка прогуляться по водам? Он отказывается от титула отца водородной

бомбы, чтобы отстаивать права человека. Какие еще права, что за бред?.. Тогда он бросает все — кафедру и науку, московскую квартиру, дачи и бутерброды с икрой — и подает чудовищное заявление об отъезде. ...Это свобода, которая апеллирует к самой себе».

А. СЕДЫХ

КРЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

Нью-Йорк, 1977

Книга Андрея Седых, прежде всего, обаятельна. Живущий в ней Крым — с морем, шумными базарами, живописными и нестрашными лохмотьями бродяг, с теплом и добродушием сытного юга — написан легко и легко узнаваем не по географическим описаниям, а по живущему подспудно в самом описании зною, улыбочивой лени и нестерпимой яркости солнца. В этом смысле книга Седых — воистину крымчанка, и долгие годы, проведенные автором за границей, не сделали ее академически привязанной к крупным событиям. В сущности, ни в одном из рассказов нет

речи ни о каких крупных событиях — во всяком случае, исторических, и нет в них отражения каких-либо коллизий, служащих рубежом в человеческой биографии, — наоборот: всё, о чем пишет Седых, кажется почти случайным, неизвестно почему зацепившимся в памяти (рассказы эти биографичны). Но именно эта кажущаяся случайность, неважность происшествий делает рассказы столь органически естественными, лишенными какой бы то ни было попытки напыщенной многозначительности. Как жизнь под ярким солнцем напоминает медленно текущую реку, которая Бог весть почему вдруг зацепляет-

ся за небольшие коряжки и обтекает их, в неистовом блеске воды оставляя темные, без блеска, пятна, так и память человеческая непонятным образом сохраняет смешные случайности, подробности быта, имена людей, канувших с тех пор в неизвестность и поэтому так и оставшихся в давнем детстве, обитателями его и хозяевами. Очарование рассказов больше всего в их ненапря-

женности, ненатужности, в мудром нежелании автора противостоять простому течению воспоминания: что вынесет оно на поверхность — то и вынесет, а сам автор здесь как будто и ни при чем. Но именно это кажущееся «неучастие» автора и есть свидетельство его писательской незаурядности, ибо искусство, как известно, состоит в том, чтоб скрыть искусство.

НОВЫЕ РУССКИЕ МУЧЕНИКИ

LES NOUVEAUX MARTYRS RUSSES. Ed. Résiac, France, 1976

Русское издание книги протопресвитера М. Польского и А. Валентинова (много лет «переиздававшееся» в самиздате) давно стало библиографической редкостью. Информация об уничтожении коммунистической властью служителей православной Церкви и верных мирян, послужившая основой книги, тайно собиралась в стране со времени Октябрьского переворота. Последние полтора десятилетия позволили собрать новые сведения о прежних и нынешних преследованиях Церкви и верующих в Советском Союзе. Эти сведения вошли в дополнен-

ное издание книги, выпущенное протопресвитером М. Польским по-французски. «Для Франции, — пишут в предисловии издатели, — эта книга — крест на бесчисленные могилы русских мучеников, где нет крестов».

При чтении книги снова поражает, что громадное большинство уничтоженных большевиками священнослужителей вели свое происхождение из самых непривилегированных сословий, из простого народа. Среди народа и с народом они жили, делили нужду и бедствия, а нередко — и гибель за веру. Сквозь скупые и страшные

подробности кровавого уничтожения священников, монахов и монахинь проступает вся ненависть коммунистических «мечтателей» к учению Христа: «Выкололи глаза, отрезали язык и уши и закопали живьем в навозной яме» (Пасхальная ночь 1918); «Перед казнью коленапоклоненно молился. Отрублены нос и уши, потом голова» (весна 1918); «Зарублен в Верхнеуральской тюрьме» (17-18 июня 1918); «Неизвестный мальчик был застрелен по ошибке вместо его второго сына» (1918); «Убийцы закручивали дратву вокруг головы, пока не раскололся череп» (конец 1918); «Зарезан» (19 июня 1919); «Была 30 лет прикована параличом к постели, почиталась в народе за благочестие и духовные дары. Расстреляна с четырьмя оставшимися с ней девицами. Перед казнью была высечена» (август 1919); «Убит. В штыковую рану убийцы воткнули крест» (1920); «Шел на расстрел радостно и спокойно» (1920); «Сожжен в стогу сена» (1921).

Никакие ссылки на «обстоятельства гражданской войны» не заставят менее ужасаться бесконечному списку убитых и замученных. Но вот окончилась брато-

убийственная война — и в «мирное время», только за 1922-24 гг., убито священников — 2691, монахов и монахинь — 5409. По собранным данным, в 1414 случаях народ оказал сопротивление убийству священников и ограблению храмов.

Книга не шадит и служителей Церкви, отступивших от истинности ее, пошедших на сговор с безбожной властью. В 1926 г., после недолгого заключения, митрополит (будущий патриарх) Сергей признал не только законность советской власти, но и возблагодарил советское государство «за его великую заботу о религиозных нуждах православных» — в то время как иерархи и миряне медленно гибли в полярных лагерях.

И вновь бесконечные списки загубленных и обстоятельств их кончины. В одном из сталинских лагерей казнили 60 священников. Каждого подводили к общей могиле и спрашивали: «Есть Бог или Бога нет?» — Есть Бог, — отвечал осужденный на краю смерти. Раздавался выстрел в затылок. Ни один не отрекся. Эти свидетельства исполнены страданием — светлым, мужеством — спокойным и верой, напоминающей о первохристианах.

Книга заканчивается описанием преследований верующих в наши дни: лагеря, психиатрические тюрьмы, загадочные нерасследованные убийства. Но книга эта

не кончается захлопнутой обложкой: она продолжается вместе со страданиями, мученичеством и борьбой и будет продолжаться — до свободы.

ЭММАНУИЛ ШТЕЙН

ПОЭЗИЯ РУССКОГО РАССЕЯНИЯ (1920—1977)

«Ладья», США, 1977

Это исчерпывающий библиографический справочник, в который вошел материал примерно о тысяче поэтов русской эмиграции. Большинство этих авторов вряд ли войдет в историю литературы, но цель библиографии — не давать оценки, а фиксировать всё, что было издано за определенный период в данном жанре или по данной теме.

Книга Э. Штейна существенно дополняет известный справочник покойного А. Тарасенкова по русской поэзии XX века, который был, естественно, не полон — хотя бы потому, что поэты-эмигранты были в нем представлены лишь дореволюционными изданиями, а книг, вышедших в эмиграции, как бы не существовало. Это систематическое замалчивание,

это стремление ограничить русскую литературу советскими государственными границами, видимо, должно подтвердить нравоучительную легенду о том, что «где небо и березы не советские, там литература остается без почвы».

Отделять литературу эмиграции от создаваемой на родине — задача весьма искусственная, ибо литература зависит не от географии, а от языка и национальной культуры. Свободное творчество не становится слабее в условиях свободы. Тысяча имен — от Бунина, Ходасевича, Цветаевой до самых молодых поэтов новейшей эмиграции — свидетельствует об интенсивности русской духовной жизни во всех странах мира: просматривая справочник, можно, в частности,

установить, что почти нет страны в Европе или Америке, где не было бы хоть одного русского поэта. В далекой Австралии — более двух десятков имен. Около двухсот всяческих антологий и альманахов вышло за рубежом в эти десятилетия: от таких широко известных, как «Воздушные пути», и до издания кружка русских поэтов в Сан-Пауло (Бразилия).

«По злой иронии истории великая страна получила великую эмиграцию», — пишет автор в предисловии к своему труду. Он оговаривает, что поэты, не издавшие отдельных сборников и

не участвовавшие в альманахах и антологиях, могли и не попасть в справочник, поскольку рассеянные публикации в различных русских периодических изданиях иногда полностью учесть невозможно.

Так же неполна информация и о тех авторах, которые выпускали книги стихов в период оккупации на территории Советского Союза, хотя представляется спорным, можно ли их вообще отнести к числу собственно эмигрантских авторов. Но это уже вопрос истории, а не библиографии.

Сост. В. ЧАЛИДЗЕ

СССР — РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ?

«Хроника», Нью-Йорк, 1978

Сборник материалов и документов, связанных с организацией первого свободного профсоюза в СССР, — двойная заслуга издательства «Хроника». Во-первых, он выпущен в свет оперативно: документы свободного профсоюза датированы первым февралем, а в конце апреля уже вышла книга, основой которой они являются. Во-вторых, составитель сборни-

ка Валерий Чалидзе не ограничился перепечаткой обращения членов профсоюза к Международной организации труда и западным профсоюзам, списка кандидатов в члены свободного профсоюза и устава свободного профсоюза. Книга дает еще и деловое, документированное предствление о том, откуда в «пролетарском государстве» берется такое недоволь-

ство трудящихся, которое заставило организаторов первого свободного профсоюза не посчитаться с опасностями, с репрессиями (а они не замедлили последовать). Этому посвящен раздел «Свидетельства о положении рабочих», значительную часть которого занимает письмо к мировой общественности «об истинном положении рабочих и служащих в канун 60-летия СССР». Это было первое открытое общее выступление тех самых трудящихся, большинство которых стали ядром нового профсоюза.

В разделе «Документы свободного профсоюза трудящихся», кроме самих документов, напечатан комментарий В. Чалидзе к уставу профсоюза, следующий раздел составляют его же из-

вестные «Лекции о правовом положении рабочих в СССР» (отдельное издание этой брошюры давно и с успехом разошлось), а в заключительную часть книги входят основные советские и международные законодательные акты о профсоюзах. Издательство и составитель, верные важнейшей линии правозащитного движения в СССР, включили документы свободного профсоюза в контекст, демонстрирующий как необходимость защиты социально-экономических прав трудящихся — а для чего же еще профсоюзы и существуют? — так и полную правовую обоснованность действий тех, кто взялся за создание независимого профсоюза, за защиту своих прав собственными силами.

ВЛАДИМИР ЛЕВАНСКИЙ

ШАРОДЕЙСТВО

«Молодая Гвардия», Москва, 1976

На фоне большого количества первых книжек молодых поэтов, вышедших за последние два года, книга Леванского выглядит неожиданностью, радостным чудом. «Шародейство» — называется она. Просьба не

путать с чародейством: шародейство — по словарю Даля — живопись. Ну а то, что слово это напоминает о колдовстве, так тем лучше! И третий смысл у этого названия — шар. Просто яркий, детский воздушный шар,

из тех, что по праздникам
на углах продают.

Шародейство — живое слово,
Раскатились краски-шары,
Чародейство икон Рублева
Или радуга детворы...

Итак, живопись, колдов-
ство, детский шарик — все
символы праздничности, не-
ожиданности жизни — в од-
ном слове-образе. И книга
сама словно вся к этому сло-
ву восходит.

Сотворение мира — тоже
Шародейство! Да будет свет!
Шародействуй, художник,

Боже,
Над шарами звезд и планет!

Вроде бы легко, между
прочим сказано, а философ-
ская мысль точная и глубо-
кая — художник есть совер-
шеннейшая форма человече-
ского бытия, помощник в со-
творении мира, продолжаю-
щемся постоянно, ежеми-
нутно, — вот назначение че-
ловека; быть со-творцом. В
стихах Леванского философ-
ская точность представлений
о мире слита с детскостью,
первозданностью взгляда.
Эта непосредственность про-
тивоположна наивности при-
митива, той, с которой впло-
не взрослые и серьезные лю-
ди порой сводят человека до
уровня машины. Леванский
— кибернетик, он-то знает,
что вся кибернетика лишь

весьма грубое отражение,
модель простейших процес-
сов, объяснить которые, не
упрощая, человеку пока не
дано. Таинственность мира
— вот что питает постоян-
ное и радостное удивление
поэта. А поэзия, как извест-
но, с удивления и начина-
ется.

Леванский в своих стихах
ищет те таинственные связи
между Красотой и спасени-
ем мира, которые угадал
Достоевский. Поэт ищет их,
но знает, что найдены и на-
званы они быть не могут, и
поэзия в том, чтобы их по-
чувствовать. Само искусство
— божественно. И поэт сра-
внивает его с Самим Спаси-
телем:

Мы к чистой правде
припадем губами,

Так, сжалясь
над голодными рабами,
Семь тысяч накормил
пятью хлебами
Творец легенд, безумец
молодой...

Понятия Искусства, Кра-
соты и Спасения становятся
в один ряд, сливаются в
один мотив, который и со-
ставляет главную, домини-
рующую ноту удивительно
цельной и органичной книги
стихов Владимира Леван-
ского.

По страницам журналов

«Magazine littéraire», 1978, mars, No. 134

Мартовское «досье» парижского журнала «Магазин литерер» посвящено Достоевскому, актуальность которого на Западе поразительно возрастает. И дело тут не в одних только «Бесах», к которым естественно обращается каждый, наблюдающий шигалевщину тоталитаризма и бесовство терроризма — две стороны одной медали. Во многом другом русский классик прошлого века оказывается впереди быстротекущего времени, впереди взошедших на небосклон и угасших или угасающих звезд психологии, идеологии, романического повествования. И в нем всё еще остается что открывать.

Доналд Фэнджер в статье «Новая поэтика романа» объясняет, что идейное влияние, «интеллектуальная власть» Достоевского проистекает не из идей как таковых, но является функцией художественного таланта. Опираясь на бахтинскую концепцию, Фэнджер анализирует «Записки из подполья» как зародыш пяти дальнейших романов Достоевского, как первый и решительный опыт создания «героя-антигероя».

Бахтин хорошо известен и пользуется почти непререкаемым авторитетом на Западе, поэтому, пожалуй, более интересна попытка пойти несколько дальше его мысли о диалоге идей. И не только интересна, но и плодотворна, как видим мы это в статье Жоржа Нива «Идея и реальность». Для Нива романы Достоевского — в конечном счете, не диалог идей между собой, а диалог идей (или Идеи) с реальностью, с «настоящей жизнью», перед которой идея оказывается бессильной. Незавершенность реальности Достоевского, исполненной страданий, унижений и ран, вечно колеблемой между спасением и осуждением, по мнению Нива, не позволяет признать единственно верной (а значит, и просто верной) концепцию Достоевского как детонатора русской революции, как проповедника идейного максимализма. Подобную концепцию развивает Ален Безансон в недавно вышедших «Интеллектуальных началах ленинизма»,

открывая — далеко не первым — процесс против Достоевского. Но, говорит Жорж Нива, Достоевский, по самой своей природе, всегда рискует быть истолкованным дурно или ограничительно. «Можно читать его, как читал Фрейд, — можно, как сокамерники Вагина», — пишет Жорж Нива, отсылая читателей к статье, опубликованной в том же номере журнала.

Надо сказать, что если статья Евгения Вагина и демонстрирует ограничительное чтение Достоевского, то редукция эта — живая, убедительная и много говорящая: как о восприятии писателя в сегодняшней России, так и об умонастроениях сегодняшних арестантов Мертвого дома. Научный сотрудник Пушкинского дома, специалист по Достоевскому, Вагин был арестован в разгар подготовки полного собрания сочинений писателя. Значительны свидетельства Вагина об эволюции идей его сокамерников «от марксизма к идеализму», в которой Достоевский играл важную роль. Но, может быть, еще значительнее показанная им лагерная, чисто достоевская реальность — и тут профессор Нива может найти убедительные выводы в подтверждение высказанного им. Реальность страданий и унижений, абсурда и «наказания без преступления», реальность островка истинной свободы посреди коммунистической империи, «малой зоны» свободных споров и свободной борьбы идей, типичных «споров русских мальчиков», в которых читатель статьи — как читатель самих романов Достоевского — не обязан выбирать позицию одного из спорящих, но и не может встать «над схваткой».

Что же до того, как читал Достоевского Фрейд, то об этом пишет Филипп Соллерс. Один из недавних идеологов крайне левых, сегодня яростный противник тоталитаризма во всех его видах, Соллерс атакует (не впервые за последнее время) Фрейда как одного из отцов тоталитарной идеологии. Фрейдовское, «прогрессистское» описание реакционного невротика-моралиста Достоевского подобно рассуждению «марксистского политкомиссара, современного бюрократа тоталитарно-социалистической империи. Живи Достоевский сегодня, он снова оказался бы на каторге по обвинениям, изложенным Фрейдом, как был он на каторге при жизни — по противоположным обвинениям». Соллерс ставит принципиальный по отношению к фрейдовской интерпретации

вопрос: нет ли в самом творческом процессе некоей логики, приводящей писателя к скандалу с «прогрессом» человечества? обязано ли творчество воплощать идею прогресса? и не открыл ли реакционер Достоевский нечто более страшное, нежели самодержавие и православие (пугала «прогрессистов»), а именно: одержимость, бесовство нигилизма?

ПОЛЬСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ПЕРИОДИКА

Обзор польских самиздатских журналов приходится сводить почти к перечислению названий — так разрослось их число. «Запис», который до сих пор фигурировал у нас в рубрике книг и пытался сохранить свой статус сборника, все же превратился в регулярный трехмесячный литературный журнал. В № 4 «Записа» (окт. 1977) помещены не только материалы, не прошедшие цензурных рогаток, но и написанные специально для «Записа», в частности, блистательные переводы Станислава Баранчака из Иосифа Бродского и его же статья о творчестве русского поэта. Баранчак, в своем творчестве более охотно использующий свободный стих, недавно вышедшими в Лондоне переводами поздних стихов Мандельштама и нынешними — Бродского, демонстрирует удивительное проникновение в ткань русского стихосложения, удивительное умение — даже не перевести, а словно бы написать те же самые стихи, только по-польски. Известный читателям «Континента» прозаик Казимеж Орлось, опубликовавший в двух номерах «Записа» рассказы, теперь выступает в своей первоначальной профессии юриста со статьей «О свободе слова и о цензуре после ратификации пактов о правах человека». В начале 1978 г. вышел 5-й номер «Записа».

Регулярно, из месяца в месяц, продолжает выходить «Опинья», о первом номере которой мы сообщали. Сейчас первые четыре номера выпущены в Лондоне отдельной книжкой. Седьмой, ноябрьский номер «Опиньи» впервые содержит региональное, лодзинское, приложение.

Летом и осенью 1977 г. возник ряд новых журналов: «Пульс», «нерегулярный литературный ежеквартальник» под ред. Яцека Березина, Томаша Филипчака, Витольда Сулковского и Тадеуша Валендовского; «Глос» («Голос»), орган недавно возникшего Демократического движения, «Роботник»

(«Рабочий»), ежемесячная рабочая газета; «Постемп» («Прогресс»), ежеквартальник, предназначенный для дискуссии трудящихся и прежде всего поднявший проблему развития независимого профсоюзного движения; «Братняк», студенческий журнал, редактируемый в Люблине и Гданьске; «Индекс», студенческий журнал, редактируемый в Кракове, Лодзи и Варшаве; «Спотkania» («Встречи»), орган молодых католиков.

Продолжает выходить «Информационный бюллетень» КОРа, превратившегося осенью из Комитета защиты рабочих в Комитет общественной самозащиты, но сохранившего свое прежнее сокращенное, уже привычное наименование.

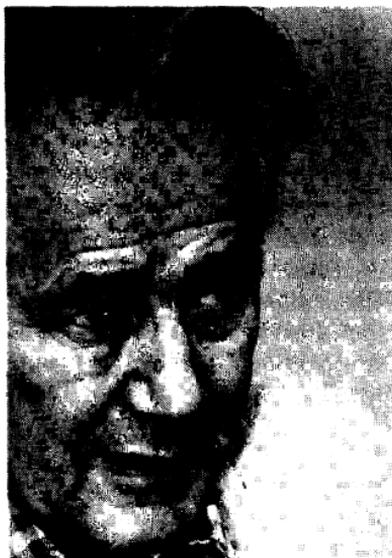
Вероятно, этот обзор еще не полон, так как, по сообщениям из Польши, число независимых периодических изданий подходит к двум десяткам. Если само многообразие направлений и тематики журналов демонстрирует, что независимая общественная жизнь начинает сильно оттеснять официальную, то ряд публикуемых в журналах сообщений еще расширяет рамки этого нового движения: созданы два независимых издательства; Студенческие комитеты солидарности (первый СКС был создан в Кракове в мае 1977) возникли почти в каждом университетском городе; в Варшаве начал работу «летающий университет», и эта инициатива подхвачена в других городах; в поддержку «летающего университета» организовано Независимое общество научных курсов с участием крупнейших польских ученых, и работа университета продолжается, несмотря на полицейские преследования; организована Центральная библиотека запрещенных произведений, и в то же время СКС добиваются раскрытия спецхранов в университетских библиотеках; осенью в Варшаве прошел (при полицейской слежке, но без помех) съезд участников Движения защиты прав человека и гражданина, а в Клубе католической интеллигенции — сессия на тему «Христиане и права человека»; в седьмую годовщину кровавого подавления рабочих волнений в Гданьске проведен траурный митинг. Не дожидаясь реформ и не устраивая революции, поляки принялись за отстраивание структур будущего общества, а быть может, и государства (если учесть возникновение нескольких движений с отчетливо различными политическими тенденциями, которые могут стать основой будущей многопартийной системы).

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С МИЛОВАНОМ ДЖИЛАСОМ

От редакции: Весной этого года в Белграде закончилась встреча представителей государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Перед самой встречей член редколлегии нашего журнала Карл-Густав Штрём побывал в гостях у выдающегося югославского писателя и общественного деятеля Милована Джиласа и провел с ним беседу по проблемам Прав Человека в современном мире. В беседе был затронут также более широкий круг вопросов, и состоявшийся разговор не утратил своей актуальности по сей день. Поэтому мы и предлагаем это интервью вниманию наших читателей.

Штрём: Какое значение в рамках этой встречи вы придаете вопросу о правах человека? Считаете ли вы, что Запад должен настаивать на реализации этих прав или же по отношению к Советскому Союзу скорее следует проводить более осмотрительную политику?



Джилас: Как вам известно по нашим прежним встречам, к тому, что называют разрядкой, я отношусь положительно. Но я не за любую разрядку, а за разрядку такого рода, которая, так сказать, нацелена на осуществление прав человека и, по меньшей мере, наметит хотя бы какой-то прогресс в этом вопросе. Вы можете подумать, что, будучи сам одним из диссидентов, я исхожу из своей собственной ситуации, как бы ищу поддержки для своих диссидентских позиций. Естественно, это тоже играет роль, но, мне кажется, минимальную. В конечном счете, конфликту между мной и мо-

им правительством уже идет 23-й год, и, когда я вступал в этот конфликт, у меня не было вообще никаких надежд на поддержку извне — она появилась значительно позже.

То, что я хотел бы сказать в этой связи, сводится к следующему: все соглашения, к которым до сих пор приходили Восток и Запад, были соглашениями временными, базировались на крайне зыбкой основе, и прежде всего потому, что они не учитывали именно этого компонента — прав человека. Впервые права человека стали предметом переговоров между Востоком и Западом на совещании в Хельсинки. Лично мне дело представляется таким образом, что Советский Союз просто неправильно понял Хельсинки. В Москве рассматривали эту конференцию как инструмент подтверждения окончательного раздела Европы и как симптом слабости Запада. Исходя из этого, Кремль и принялся закручивать гайки в Советском Союзе и пытаться «призвать к порядку» Восточную Европу. Выражением этого были, с одной стороны, идеологические кампании за единство Восточной Европы, с другой — аресты Александра Гинзбурга и других членов Хельсинкских групп в Советском Союзе.

Да и Запад, мне кажется, поначалу не вполне отдавал себе отчета в том, что, собственно, произошло в Хельсинки. Во всяком случае, ему понадобилось время, чтобы собраться с мыслями и организовать. Запад должен был сначала усвоить и осознать, каким образом, каким путем может быть начата истинная разрядка — разрядка не как следствие сиюминутной договоренности между США и Советским Союзом на базе неких двусторонних государственных расчетов и соображений, а как результат пожеланий и устремлений европейских народов.

Запад прекрасно видит, как Советский Союз продолжает все более упорно вооружаться. С другой стороны, Запад лишен возможности более глубоко — так сказать, изнутри — ознакомиться с советской системой. Запад вообще не знает, что происходит в ее недрах. Если, к тому же, не иметь контакта с теми течениями в пределах СССР, которые не согласны с официальной советской политикой, тогда как перед советским руководством ворота на Запад открыты, — можно сказать только одно: подписанный «мир» фальшив, чреват колоссальным риском и неуверенностью в будущем. Поэтому именно с точки зрения безопасности проблема прав человека — проблема первостепенной важности!

Конечно, было бы совершенно безрассудно изолировать ее от других вопросов, которые будут обсуждаться на встрече в Белграде. В первую очередь я имею в виду проблему разоружения.

Есть еще и проблемы экономических связей и культурного сотрудничества. Но разумеется, первые два вопроса: прав человека и разоружения — я считаю наиболее важными.

Проблему прав человека никак нельзя рассматривать в отрыве от других. Не будучи увязанными с другими вопросами и задачами, права человека тут же превратятся в абстракцию. Как бы то ни было — речь все же идет о договоренности между государствами и правительствами!

Естественно, я не могу себе представить, что каким-то нажимом можно заставить Советский Союз или одно из восточноевропейских государств допустить оппозицию или свободную прессу. Однако формы государственного террора, практикуемые в странах Восточной Европы, выходят далеко за рамки законов, которые эти страны сами для себя приняли. Следовательно, и проблема прав человека прежде всего заключается в том, чтобы эти государства начали уважать свои собственные законы — те, что были приняты их собственными парламентами или одобрены в результате присоединения к международным соглашениям. До бесконечности и без каких бы то ни было результатов подписывать прекрасно сформулированные декларации — это ни к чему не ведет. Вот почему я убежден, что Совещание по безопасности и сотрудничеству не может обойти молчанием проблему прав человека — и это даже при условии, что того пожелают все участвующие в нем правительства!

Ибо случись такое, и самое позднее через полгода вся эта проблема во всей своей остроте встанет вновь. У русских появится новый Солженицын или новый Буковский. Психозаключенные в Советском Союзе будут продолжать борьбу, общественное мнение Запада, не подстриженное под одну гребенку, будет протестовать. Западные правительства, которые зависят от общественного мнения, потеряют на выборах парламентское большинство и будут вынуждены передать власть оппозиции. Наконец, и в Восточной Европе положение не такое, как прежде, когда всё было мертво, голоса протеста не слышались и не было никакой оппозиции. Пример Чехословакии в этом плане особенно красноречив. Все, кто представляет собой в Чехословакии интеллектуальную величину, пользуется мало-мальским весом, подписали «Хартию-77»: разум и патриотизм стоят за теми, кто олицетворяет собой лучших сынов и дочерей народа.

Я не считаю, что Советский Союз нужно сажать на скамью подсудимых, но ни в коем случае нельзя и идти ему навстречу в ущерб принципам Запада.

Штрём: На Западе можно столкнуться с мнением, что в отношениях с Востоком не стоит слишком упорно настаивать на принципах прав человека и демократии, потому что в конечном итоге такой подход привел бы к подрыву восточной системы. Что вы думаете по этому поводу?

Джилас: На мой взгляд, это утверждение крайне проблематично и базируется на ничем не обоснованных гипотезах. Даже соответствующая трактовка действительности, неужели такое уж несчастье, если бы поляки и русские начали движение за свое освобождение? В восточных странах очень сильный государственный аппарат, и я, право, не верю, что западная пропаганда или упорство Запада, отстаивающего свои принципы, могут привести к свержению этой системы. Впрочем, за нашими плечами опыт двух больших событий: Венгерской революции 1956 года и Пражской весны 68-го. Венгерский опыт принес колоссальные результаты и оказался чрезвычайно положительным. Венгрия преобразила облик Восточной Европы. Во-первых, в результате Венгерской революции изменились отношения между Советским Союзом и восточноевропейскими государствами. После Венгрии Советский Союз, по меньшей мере, оказался вынужден признать восточноевропейские правительства правительствами. Конечно, во внешней политике, да и во многих других вопросах эти правительства зависят от Москвы. И, тем не менее, с тех пор возросла их ответственность перед своим партийным аппаратом и своими парламентами. Но, кроме того, Венгерская революция вызвала к жизни духовную самостоятельность восточноевропейских государств: население этих стран вырвалось из духовного порабощения Советским Союзом.

Чехословацкий опыт, напротив, отрицателен, ибо он только поощрил Советский Союз. В 1968 году в Праге не было никакого сопротивления — одно сплошное замешательство.

Я не придерживаюсь мнения, что Запад должен подстрекать к беспорядкам в Восточной Европе, как это происходило в годы холодной войны, когда людям на Востоке обещали помочь, а потом никакой помощи не оказывали. Но если в Восточной Европе самостоятельно будут назревать какие-то процессы — возможно, потому, что люди начинают думать о том, в каком положении они находятся, и добиваться своих прав, — то я, право, не могу усматривать в этом несчастья! Народы должны проливать кровь за свою свободу. Для чего же тогда, собственно, живут люди, как не для того, чтобы бороться за свои идеалы?

Штрём: Что вы думаете о современной советской системе и ее перспективах на будущее? С одной стороны, не умолкают голоса, утверждающие, что советский блок переживает кризис, с другой, однако, — как вы уже сказали — Советский Союз продолжает на наших глазах с небывалой силой вооружаться.

Джилас: Похоже, что мы являемся свидетелями крайне специфического кризиса — кризиса, еще не имевшего места в истории и потому не проанализированного нами в социологических исследованиях. По моему убеждению, неправильная оценка этого кризиса объясняется тем, что советская система была нами отнесена к категории государственного капитализма. В действительности, однако, это вовсе не государственный капитализм. Раньше я тоже считал, что советская система — государственно-капиталистическая. Тогда — в 1950-51 годах — я отстаивал эту теорию и в Союзе коммунистов Югославии. Этот тезис — о Советском Союзе как государстве с господствующей системой государственного капитализма — был даже принят Центральным Комитетом СКЮ. Но позже, когда югославские коммунисты помирились с Москвой, Кардель и другие отбросили его.

На том этапе эта теория была для нас исключительно важна, ибо именно благодаря ей югославские коммунисты оказались в состоянии прийти к духовной независимости от советских доктрин, советского влияния, сумели отказаться от подражания советским формам и шаблонам.

Однако со временем я изменил мою позицию по этому вопросу. Сегодня я придерживаюсь мнения, что состояние, в котором находится советское общество, — это переходная форма. Этому обществу присущи черты не столько государственного капитализма, как индустриального феодализма. Наблюдая советскую систему извне, поначалу приходишь к выводу, что ей свойственны все характерные особенности государственного капитализма: государство производит капиталовложения, распоряжается всеми материальными средствами, осуществляет контроль за прибылями и т. д. И, тем не менее, это все же не государственный капитализм: советской системе недостает типичной его черты — стремления к прибыли. Этим, кстати, и объясняется, почему при советской системе столь низки производительность и экономическая эффективность.

Само собой разумеется, что в разных коммунистических странах это обстоит по-разному. Югославскую систему, например, нельзя оценивать так же, как советскую. Но я говорю сейчас о

Советском Союзе, потому что в рассматриваемом нами аспекте это наиболее важный компонент. Кризис, который мы сейчас наблюдаем в Восточной Европе, от страны к стране протекает по-разному. В Югославии — это только кризис Союза коммунистов и верхушки партийного руководства. Остальные формы нашей общественной структуры, даже экономика со всеми ее трудностями, функционируют в Югославии более или менее удовлетворительно.

Штрём: Говоря «удовлетворительно», вы имеете в виду исключительно Югославию?

Джилас: Да, Югославию. Возможно, сходное положение и в других странах Восточной Европы — я прежде всего имею в виду Венгрию. Что же касается Советского Союза, то за всю свою историю он никогда не достигал той фазы, которую мы сейчас имеем в Югославии. Советская экономика всё еще в стадии строжайшего администрирования, она полуфеодална, поэтому и кризис в СССР проходит иначе, чем у нас. Определяющая черта советского кризиса — наличие идеологизированной бюрократии, и к тому же — преимущественно русской, хотя в ней есть и представители других национальностей. Эта бюрократия унаследовала классический русский империализм и начала поход на Европу. Если царский российский империализм был устремлен на Восток, против Азии, а по отношению к Европе пребывал в состоянии застоя — в особенности после раздела Польши, то Сталин нацелил его на Европу: он понял — здесь есть что взять.

Но вернемся к нынешнему кризису в СССР. Кризисные явления характерны ныне для любой из структур советского общества, но прежде всего они проявляются в экономике. В отличие от других стран, где коммунисты у власти, советский кризис захватил и культурную жизнь, и сельское хозяйство, проник буквально во все сферы жизни. На мой взгляд, глубочайшим кризисом охвачена вся страна! Основополагающими, наиболее типичными чертами советского общества на данном этапе являются медленные темпы развития, неэффективность, расточительная трата средств, а вместе с тем — по-прежнему фактически тоталитарное господство партийной бюрократии, которая душит жизнь целой нации.

Штрём: Какую линию по отношению к СССР должен, по вашему мнению, проводить Запад?

Джилас: Я считаю, что Запад должен быть в первую очередь сильным, что он ни при каких обстоятельствах не может себе по-

зволить роскошь оказаться слабым. Запад должен быть сильным в психологическом смысле, должен обладать сильной армией, должен быть хорошо вооружен. Ни при каких обстоятельствах Запад не смеет предаваться иллюзиям относительно благих намерений Советского Союза. Одновременно, однако, Запад не должен стремиться проводить некую непримиримую линию — наподобие полного бойкота или военной конфронтации. Если думать в перспективе больших исторических категорий, то все мы в конечном счете живем в одном мире — все: и те, что по ту сторону, на Западе, и те, что на Востоке.

Всё, что когда-либо было в России прогрессивным и творческим, в своей сути всегда было западным. Даже такие убежденные антизападники, как Достоевский, — если по-настоящему углубиться в структуру их творчества и мышления — на самом деле оказываются европейцами. Мне думается, что отделить Европу от России невозможно. И уж тем более невозможно себе представить оторванными от Европы такие страны, как Польша, Венгрия и Югославия. По их структуре, мышлению и культуре эти страны — часть Запада. Ну, а если к тому же вспомнить, как дорого может обойтись всему человечеству современная война — как в плане материальных, так и людских потерь, то пойти легкомысленно по этому пути — ни при каких обстоятельствах недопустимо! Мы обязаны рассматривать нашу цивилизацию как одно целое — правда, как целое, которое распалось на две взаимно конфликтующих группировки. В пределах нашей надвое расколотой цивилизации продолжают действовать идеи, и проникновение этих идей вновь возвращает нас к правам человека, ибо для простого, рядового гражданина права человека имеют ныне и будут иметь и впредь первостепенное значение.

По моему убеждению, Запад не должен предпринимать ничего, что могло бы остановить развитие кризиса на Востоке. Не должен делать ничего такого, что дало бы возможность реакционным, консервативным силам Восточного блока задержать этот кризис, мобилизуя народные массы патриотическими призывами такого рода, как «защита против империализма». Сложись такие обстоятельства — и на Востоке можно ожидать и других, еще более мрачных и шовинистических лозунгов.

Штрём: Считаете ли вы, что Запад должен воспользоваться разрядкой для того, чтобы добиться либерализации в пределах советского блока?

Джилас: Запад обязан не допустить, чтобы в Советском Союзе наступил застой в развитии тех процессов, свидетелями которых мы являемся ныне, в первую голову не позволить остановиться прогрессу в области прав человека. Или, чтобы сказать проще: коль скоро Кремль откажется дальше пойти навстречу в вопросе о правах человека, то тогда с ним не нужно подписывать совсем никакого соглашения. И пусть в таком случае Москва целиком берет на себя ответственность за срыв переговоров. Если не удастся прийти к согласию с СССР в вопросе о правах человека, на какой основе тогда еще можно вообще прийти к пониманию с Кремлем?!

Штрём: В международном коммунистическом движении возникло новое явление — так называемый еврокоммунизм. Не является ли это явление просто-напросто тактическим маневром, уловкой со стороны Советского Союза, чтобы косвенным путем прийти к власти в Западной Европе?

Джилас: На мой взгляд, такой подход к еврокоммунизму ничем не обоснован, и это по целому ряду причин. Тем самым я вовсе не хочу сказать, что сам по себе вопрос о еврокоммунизме не дает повода для бдительности или определенной озабоченности. И, тем не менее, к явлению еврокоммунизма как таковому я отношусь положительно, поскольку в общем и целом это положительный демократический феномен в общественной жизни Европы. Вместе с тем у меня есть и критические замечания в его адрес.

Прежде всего, как мне думается, к еврокоммунизму нельзя подходить схематически, как к единому движению. Говоря о еврокоммунизме, мы говорим, в первую очередь, о трех партиях: испанской, французской и итальянской КП, затем — в известной степени — о КП Португалии. Остальные западноевропейские компартии либо не пользуются никаким весом, либо не проявили себя в этом плане достаточно четко.

Поскольку названные партии во многом отличаются одна от другой, подход к ним тоже должен быть соответственно дифференцированным. Если говорить в общем, то как феномен отрыва от Москвы и поиска собственных национальных путей еврокоммунизм представляет собой явление, заслуживающее положительной оценки. Еврокоммунизм снижает советское влияние на Европу и делает более затруднительной политическую игру Москвы на нашем континенте.

Но вернемся к отдельным странам. Португальская компартия совершенно явно стоит на позициях ленинизма или на той основе,

которую сегодня более общепринято называть сталинистской. Однако, по моему глубокому убеждению, между ленинизмом и сталинизмом нет никакой разницы — второй совершенно естественным путем вырос из первого.

Испанская КП, напротив, совершила радикальный поворот в сторону демократии и радикально порвала с Москвой. Из всех коммунистических партий Европы компартия Испании наиболее резко и глубоко провела линию раздела, отделяющую ее от КПСС. Испанская КП — единственная партия, в которой действительно что-то существенно изменилось, причем даже более глубоко, чем в югославской, — особенно в ее отношении к плюрализму и демократическим институтам своей страны. Мы знаем, что демократические институты в Испании пока что находятся лишь в стадии становления, они еще не полностью сформировались, но они существуют. В Испании есть парламент, есть организованные политические партии, есть свободная пресса. Всё это институты, которые уже надо принимать всерьез!

Теперь насчет Франции. Нет никаких сомнений в том, что Французская компартия сделала очень большой шаг в сторону своего национального отделения от Москвы, значительный шаг в вопросе независимости своих политических решений. И в то же время в своем отношении к демократическим институтам Франции, в вопросах внутривнутриполитической тактики французские коммунисты остались теми же старыми ленинцами, какими они были до сих пор, без особых перемен. Возможно, в Коммунистической партии Франции существуют течения, более демократичные, чем силы, что сгруппировал вокруг себя Марше. Однако в этой партии существует и другое течение — чисто сталинистского типа. Так или иначе, но радикальных перемен, учитывающих внутреннее развитие во Франции, во Французской компартии пока что не произошло. Я внимательно изучал материалы последнего съезда французских коммунистов и пришел к выводу, что свою программу «социализма в цветах Франции» Марше не может реализовать без гражданской войны. Коренной вопрос в следующем: либо идти по пути войны классов, идеологической войны, либо признать демократические институты в таком виде, в каком они сложились и существуют во Франции или в других странах. А уж коль скоро принят второй вариант, то борьбу нужно вести в рамках этих институтов — с тем, чтобы в конечном счете реформировать их и продвигаться дальше в решении социальных проблем и достижении большей справедливости для трудовых слоев населения.

Совершенно иная ситуация в Италии. В структуре своей партии и в своем отношении к институтам государства итальянские коммунисты проделали внушительную эволюцию. Тут уже ясно очерчивается, сколь далеко ушла от своих прежних позиций та группа в ЦК Итальянской компартии, в которую входят Берлингуэр, Наполитано и Амендола. Однако одновременно в КП Италии по-прежнему крайне живучи консервативные ленинистские группировки. Некоторое время тому назад я прочел статью Луиджи Лонго к 60-летию Октябрьской революции. Такую статью Лонго мог написать и четверть века тому назад! Конечно, Лонго не играет решающей роли в Коммунистической партии Италии, но он все еще пользуется значительным авторитетом. И главное, со своим мышлением он в Итальянской компартии отнюдь не одинок.

Дальше. Итальянская партия недостаточно энергично отмежевалась от Москвы. Правда, решения она теперь принимает самостоятельно, но продолжает вести тактическую игру с Востоком. Вообще, как мне видится, для компартии Италии типична весьма изощренная тактика, в которой время от времени отражается немалая доля нерешительности, но в которой вместе с тем есть и немало демократических компонентов. Эта партия еще целиком не уяснила свои позиции, но в общем и целом развитие протекает положительно.

В конечном итоге, еврокоммунизм в целом следует рассматривать как процесс, который сделал лишь самые первые шаги. Но это процесс глубокий, радикальный, вопреки всем противоречиям заключающий в себе важнейший основополагающий элемент: по ходу этого процесса те силы, о которых мы только что говорили, намерены влиться в европейскую культуру и европейскую демократию.

Штрём: Итак, вы считаете, что с перспективы дальнего прицела можно смотреть на будущее с известным оптимизмом?

Джилас: Вне всяких сомнений, и вот почему: в этих так называемых еврокоммунистических партиях еще будет немало конфликтов и расколов между ленинистскими и сталинистскими группировками, с одной стороны, и демократическими течениями — с другой, которые в своем последующем развитии пойдут по пути своего рода демократического социализма.

Штрём: У нас, в Федеративной Республике Германии, сейчас идут оживленные дискуссии о кризисе западного общества, в особен-

ности в связи с недавними акциями террористов. Некоторые уже даже начинают заговаривать о кризисе парламентской системы и общества потребления. Относитесь ли вы тоже к числу тех, кто считает, что западногерманское общество находится в состоянии кризиса? И есть ли у вас объяснение новой волне террора на Западе? Ведь в молодости вы тоже были революционером. Можно ли провести параллель между вашим революционным периодом в 30-40-х годах и нынешними проявлениями насилия и террора?

Джилас: Я не отношусь к тем, кто исповедует теории о загнивающем Западе. Как вы знаете, на Востоке немало диссидентов придерживаются такого мнения. Но я, разумеется, и не думаю, что на Западе все идеально. Запад действительно переживает кризис, но это отнюдь не кризис, способный привести к катастрофе или уничтожению существующей общественной системы. Скорее, это кризис перехода к еще более справедливому и более демократическому обществу. Под этим я, в первую очередь, подразумеваю дальнейшее преодоление социального неравенства, расширение прав личности в экономической сфере и т. д. На мой взгляд, мы являемся свидетелями некой трансформации. У меня есть свое объяснение протекающему кризису: я считаю, что нынешний кризис Запада — это продукт технологического преобразования, что он возник вследствие перехода к новой электронной эпохе. В результате этого превращения всё оказалось нарушенным: как психика, так и экономические функции. Несколько упрощая, можно сказать, что этот переход подобен тому, который имел место, когда на смену мануфактуре пришло производство с помощью силы пара, или еще позже, когда электричество, в свою очередь, сменило пар. И каждый раз то были периоды кризисов и войн. По-моему, и кризис, который сейчас переживает Запад, такого же характера. Однако ни о прогнившем обществе, ни о нарушении устоев системы или о всеобщей деградации Запада не может быть и речи!

На мой взгляд, не может быть речи и о кризисе общества или общественного строя в Федеративной Республике Германии. Что касается терроризма в ФРГ, то это широкое международное явление, преимущественно захватившее высокоразвитые демократические государства. В тоталитарных странах терроризма нет, и отнюдь не только благодаря всесильной полиции, которая безраздельно властвует в этих странах, но и еще по одной причине. Несмотря ни на что, общественный строй восточноевропейских стран воспринимается террористами как в какой-то степени родственный им, как идеологически близкий террористам. Конечно же, восточные страны

претворяют свой общественный строй в жизнь совсем не так, как это представляют себе западные террористы, но — так, по меньшей мере, считают террористы — в один прекрасный день они, то есть восточноевропейские государства, могли бы стать такими, какими их хотят видеть террористы. Или, выражаясь иначе, положение в этих странах близко к тому, о котором террористы мечтают для Западной Европы. Вполне возможно, что и по идеологическому происхождению восточные системы и западный терроризм в чем-то близки друг другу. Думаю, подспудно это играет большую роль. Ну, а кроме того, естественно, и полиция на Востоке намного эффективней, не в последнюю очередь потому, что полицейские власти не слишком ломают себе голову соблюдением законов и действуют, не взирая на обстоятельства.

Возможно то, что я сейчас скажу, прозвучит как абсурд. И все-таки, по моему глубокому убеждению, проявления терроризма в Федеративной Республике в конечном счете свидетельствуют о здоровье немецкого общества. В любом демократическом обществе всегда будет иметь место оппозиция левых экстремистов. И даже более того: безумная оппозиция безумцев с безумными утопиями, вскружившими им голову, будет существовать при всех обстоятельствах! И в какой-то момент эти люди, направляемые своими утопиями, начинают пытаться подчинить себе других.

Думается, что выход из этого положения для Германии — истинный выход, который позволит Федеративной Республике не лишиться той репутации, которую она уже завоевала, и не помешает дальнейшему развитию демократических завоеваний общества, — заключается только и единственно в усилении борьбы против террористов. В первую очередь на эту борьбу нужно мобилизовать всех граждан, потому что одна полиция этой проблемы решить не может. Но, с другой стороны, конечно, необходимо со всей твердостью настаивать на соблюдении законов и норм правового государства, а вместе с тем и на уважении демократических форм немецкого общества. Террористы представляют собой крошечные группки фанатиков, которые самоизолировались от общества, и потому-то у этих людей нет никаких истинных идеалов. У них есть другое — технические средства. А каковы они, эти средства — это мы, к сожалению, слишком хорошо видим на практике!

Когда я был молодым коммунистом, наша партия никогда не прибегала к таким методам. Я вовсе не хочу утверждать, что среди нас не было единиц, которые не подчинялись партийной линии. Когда партия только возникла, в ней был терроризм, но эти силы

фактически поставили себя вне партии и с ее руководством и идеологией не имели ничего общего.

У нас тогда был очень конкретный и ясный идеал — к сожалению, позже не получивший реального воплощения в действительности. Тем не менее, этот идеал удерживал нас от применения известных методов борьбы. Никому из нас, например, никогда не могло прийти в голову похитить или убить кого-нибудь из видных представителей монархического режима!

Разумеется, когда позднее в Югославии вспыхнула гражданская война, это было совсем другое дело. Страна была оккупирована, государственный аппарат развалился, и в наступившем военном хаосе каждый по своему разумению начал вести борьбу за власть. Но гражданская война, которую мы, коммунисты, вели тогда в Югославии, была гражданской войной организованных масс, а не борьбой отдельных личностей. Это было совсем другое дело, и этого никак нельзя сравнивать с нынешним терроризмом.

Вопреки всем отрицательным сторонам нашей тогдашней власти, мы тем не менее представляли власть, стремившуюся сохранить определенный порядок. Несмотря ни на что, повседневная жизнь граждан была у нас сравнительно защищена. Перемены, к которым мы стремились, были в первую очередь переменами общественного строя и форм собственности. Но руководство и подавляющая часть югославских коммунистов неизменно настаивали на том, что известные этические нормы при всех условиях должны быть соблюдены. В жестоком пылу войны эти нормы нередко нарушались, но это были лишь отдельные моменты или эпизоды в том грандиозном процессе.

В моих глазах, современный терроризм в Европе — декаданс революции и декаданс идеологии во всех ее проявлениях. Но этим я отнюдь не хочу сказать, что в один прекрасный день в Европе не может вновь воспрянуть революционное движение. По моим представлениям, в демократическом обществе вполне могут возникнуть и революционные течения! Однако это должно быть движение с ясной и осознанной целью, движение, видящее перед собой четкий образ власти или общества, которые требуют иной организации. И, конечно, такое движение может прибегать только к таким приемам и методам, которые являют собой составную часть жизни и составную часть законных форм существования этого общества. Что же касается террористов, то мне они скорее напоминают бесов из романа Достоевского. Однако образы «бесов», выведенные в этом романе, на мой взгляд, не могут быть распространены на

коммунистов или марксистов, какими в свое время были мы. Достоевский имел в виду группировку, сильно смахивающую на нынешних террористов, а именно группу Нечаева в тогдашней России.

Штрём: Германия разделена на два государства, и этот раздел занимает немалое место в мыслях немцев в наши дни. Существует ли, на ваш взгляд, возможность воссоединения Германии? Разделяете ли вы мнение о том (причем, кстати сказать, с этим мнением можно столкнуться как на Западе, так и на Востоке), что раздел Германии — это, в общем, положительное явление?

Джилас: Разрешите начать с вашего последнего вопроса и с констатируемого вами обстоятельства, что есть люди, которые довольны разделом Германии. Как вы знаете, мне пришлось драться против немцев. Приходилось драться с ними и моему отцу. И это дает мне право сказать: с немцами мука, а без них еще хуже!

Я глубоко убежден, что в один прекрасный день Германия будет вновь воссоединена. И это потому, что я не верю в такую чушь, как возникновение «социалистической немецкой нации», чушь, которая сейчас усиленно пропагандируется на Востоке. За всю историю человечества еще ни одна нация не выросла и не сложилась на базе идеологии — этого не произошло даже на базе христианства! — и я убежден, что и ленинизм не может породить никакой нации. Я убежден, что немецкий вопрос будет решен в результате взаимного сближения Востока и Запада и как следствие перемен в Советском Союзе. Других перспектив я не вижу, потому что другой возможной перспективой была бы только война, конфронтация. Но в ближайшем будущем я не вижу возможности конфронтации между Востоком и Западом, и считаю, что это очень хорошо! Разумеется, я не абсолютный пацифист. Война, на мой взгляд, — не абсолютное зло, и мир в моих глазах — не олицетворение абсолютного добра.

Мне кажется, на Востоке уже намечаются первые симптомы перемен. Возьмите Югославию, Венгрию, Польшу. Даже в Советском Союзе происходит определенное смещение акцентов. Именно поэтому я верю, что самые многообещающие перспективы воссоединения немцев — это воссоединение мирным путем. Конечно же, слово «мирный» в этом контексте вовсе не означает, что для этого ничего не надо предпринимать. Нужно вести идеологическую борьбу, борьбу идей, нужно продолжать экономическое и культурное соревнование с Востоком. Нельзя просто так сидеть, сложа руки. Единственную возможность воссоединения Германии я

усматриваю в этом медленном, постепенном сближении, срастании Западной и Восточной Европы.

Штрём: И вы считаете, что существуют реальные шансы такого взаимного срастания?

Джилас: Да, но только как перспектива далекого будущего.

Штрём: Другими словами, это означает запастись терпением.

Джилас: Правильно, мы должны запастись терпением! Но мы должны и трудиться, мы должны бороться. Мы должны без усталости драться за наши идеалы. Мы должны фанатически драться за них, за демократию в наши дни нужно драться с фанатизмом. Но, естественно, демократию при этом нужно уважать, нужно быть убежденным в том, что демократический строй лучше диктатуры или тоталитаризма.

Штрём: Г-н Джилас, каким вы видите будущее Югославии? Считаете ли вы, что в современной югославской системе заложены возможности к переменам, возможности адаптации к новым условиям? И каким вам представляется ваше собственное будущее в рамках будущего вашей страны?

Джилас: Давайте опять начнем с последнего вопроса. В общем и целом я доволен моим нынешним положением. Большого политического честолюбия я не испытываю. Только если какие-то чрезвычайные события вынудят меня выполнить мой долг, взять на себя выполнение какой-то задачи и если это станет для меня вопросом совести — только тогда я включусь в практическую политику и возьму на себя определенные политические функции. В остальном, я лично буду вполне доволен, если мое положение будет и впредь таким, как теперь, — другими словами, режим мне будет не очень докучать и я смогу писать, как пишу сейчас. Конечно, было бы прекрасно, если бы я мог публиковаться в Югославии. Но коль скоро это невозможно, то пока что еще всегда находилась возможность за границей. И уж как-нибудь можно жить дальше.

Что касается Югославии, то с расчетом на далекое будущее я отнюдь не пессимистичен. Конечно, у нас есть внутренние противоречия. После Тито непременно возникнут трудности, и мне кажется, что они ощущаются уже теперь. Сложности того периода, который наступит после Тито, будут прежде всего заключаться в адаптации партийной и государственной верхушки. Но я считаю, что такие сложности совершенно естественны. Тогда-то и встанет вопрос, кто

из нынешних руководителей и какую роль сможет играть в стране. Роль Тито на всем протяжении становления новой Югославии была настолько кардинальной, что мне представляется просто невероятным, чтобы кто-то — одна новая личность или группа личностей — мог автоматически перенять его авторитет и прежние формы выработки решений.

Сегодня во главе Югославии стоят Эдвард Кардель и Владимир Бакарич — самые сильные личности, пользующиеся наибольшим уважением и обладающие наибольшим политическим опытом. Но каково состояние здоровья их обоих и как сложатся отношения в руководящих органах после Тито — этого сейчас предсказать нельзя. Я лично не убежден в работоспособности югославского коллективного Государственного президиума, в котором — как это предусмотрено сейчас — каждый год должен сменяться президент. И это по той простой причине, что, как вы сами знаете, Югославия — многонациональное государство с очень сложными внутренними отношениями не только национального, но еще и социального и идеологического порядка. Именно поэтому я не верю в возможности такого руководства. Кроме того, наряду с Государственным президиумом, в качестве постоянного института существует и руководство партии, и оно автоматически должно вступить в конфликт с президиумом.

Точно так же мне пока что совершенно неясно, как будут складываться отношения в самом партийном руководстве. Тем не менее, для Югославии характерно следующее. Что югославское общество уже сейчас более или менее плюралистично, официально признается даже партийными инстанциями. Конечно, в партии это рассматривают с других теоретических позиций, чем я, но в конечном итоге мы все говорим об одной и той же проблеме: когда некоторые, подобно мне, говорят о социальных группах или когда Кардель говорит о «плюрализме интересов самоуправления». Так или иначе, ясно одно: эта проблема существует. Однако если югославское общество плюралистично, то политическая структура страны по-прежнему монолитна. Насколько я могу охватить взглядом — и тут мои суждения, в частности, базируются и на чтении югославской прессы, — проводимое в последние годы партией индоктринирование населения марксизмом, а отчасти и ленинизмом (правда, надо признать, что ленинизма становится все меньше и меньше) не принесло ожидаемых результатов. Численность компартии Югославии колоссально возросла, но число членов партии еще ничего не значит.

Я не верю, что большую человеческую массу можно воспитать или перевоспитать в духе определенной идеологии, когда на практике жизнь этих людей развивается в совершенно ином направлении. Революционная идеология хороша для революционной эпохи, но для мирной эпохи нам нужна идеология реформизма.

Штрём: Но как, однако, обстоит дело с внешней опасностью — с возможностью советской интервенции в Югославии?

Джилас: Примерно раз в два года мы в Югославии переносим своего рода травму и задаемся вопросом, собирается ли Советский Союз провести интервенцию против нас или не собирается. Мне лично думается, что, по мере того как в Европе развивается разрядка, положение Югославии становится все лучше. У нас довольно хорошая армия, а это тоже фактор безопасности страны, и при этом очень существенный. Хотя, с другой стороны, как вы знаете сами, решающую роль играют политические течения, ибо они, естественно, захватывают и армию.

В Югославии Советский Союз не может найти ни одного сколько-нибудь серьезного политического течения, на поддержку которого Москва могла бы рассчитывать или которое можно было бы организовать из Москвы. Вероятно, еще можно было бы найти некоторых сбитых с толку черногорских интеллектуалов или буквально считанных представителей сербского меньшинства в Хорватии, которые испытывают страх перед хорватским национализмом. Но всё это как по своей численности, так и по влиянию крайне слабые элементы. Что же касается других народов Югославии, то на них у Советского Союза нет даже самого малейшего влияния.

Конечно, в случае по-настоящему сложного кризиса и если бы у нас не было поддержки сильного Запада, могла бы возникнуть ситуация, в которой из недр господствующей бюрократической структуры могут выделиться известные элементы, считающие, что марксизм или сталинизм — так, как они их понимают, — для них важнее, чем Отчизна или Югославия. Подобные течения, естественно, могли бы стать опасными. Но в нашем руководстве до настоящего времени их нет. Кстати, говоря о поддержке со стороны Запада, я подразумеваю под этим такую позицию Запада, которая не позволит ни одной державе вмешаться во внутренние дела Югославии.

Штрём: Каким образом Запад может способствовать стабильности Югославии — пока Тито у власти и после него?

Джилас: Запад должен испытывать твердую решимость выступить в защиту независимости Югославии и отстаивать эту линию. Югославия — очень важная страна, не только геополитически, но и в аспекте тех процессов, которые ныне начались на Востоке. До сих пор Югославия всегда была своеобразной лабораторией, в которой впервые ставились эксперименты, распространявшиеся затем на весь Восточный блок. Уничтожение Югославии было бы равносильно новому страшному импульсу для реакционных, империалистических, бюрократических, диктаторских сил в Восточной Европе и в Советском Союзе. Если Югославия потерпит крушение, это будет поражением и для умеренных режимов на Востоке или для тех стран, в которых есть известные силы, проводящие линию национальной независимости. Я имею в виду в данном случае Венгрию и Румынию.

Что геополитически Югославия — это выход к Средиземному морю, что захват Югославии повлек бы за собой глубокие изменения в соотношении сил в Европе — всё это проблемы, непосредственно касающиеся правительств и генеральных штабов. И это, конечно, чрезвычайно важно. Но я, напротив, ставлю во главу угла общественные и интеллектуальные перемены в Восточной Европе. И именно в этом плане, для развития положительных процессов в странах Восточного блока, Югославия — фактор чрезвычайной важности.

Специальное приложение

ЛИШЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА М. РОСТРОПОВИЧА и Г. ВИШНЕВСКОЙ

К ОБЩЕСТВЕННОМУ МНЕНИЮ

Мы обращаемся к нашим друзьям, любителям музыки, ко всем людям доброй воли с просьбой в этот тяжелый для нас час выразить свое отношение к бесчеловечному и незаконному акту лишения нас права жить и умереть на своей земле. Мы не занимались и не занимаемся политикой ни у себя на родине, ни за рубежом, а отдаем свои силы музыке, чтобы красота ее согревала мир.

Предъявленные нам формальные обвинения не имеют никакой связи с подлинными мотивами этого решения, которое явилось лишь актом мести за проявленную нами человеческую солидарность по отношению к гонимым людям.

Можно ли нашу артистическую деятельность за рубежом ставить нам в вину и диктаторским росчерком пера лишить нас родины, даже не предоставив нам законного права для оправдания?

Мы знаем, что здесь, за границей, выброшенную на улицу собаку защищает общество по охране животных и часто привлекает к ответственности бывшего хозяина. Неужели в этом мире не найдется общества, способного встать на защиту униженных, оскорбленных и лишенных дома людей.

*Галина Вишневская
Мстислав Ростропович*

Л. И. Брежневу

*Гражданин Председатель
Верховного Совета Союза ССР!*

Верховный Совет Союза ССР, который Вы возглавляете, лишил нас советского гражданства. Точнее, Вы лишаете нас возможности жить и умереть на своей земле, на которой мы родились и которой небезуспешно отдали почти полвека нашей жизни, посвящая наш труд и талант своему народу. Наш вклад в советское искусство был оценен советским правительством присвоением нам высших наград СССР: солистке Большого Театра Галине Вишневской звания Народной артистки СССР и Ордена Ленина, а Мстиславу Ростроповичу — Сталинской премии, Ленинской премии, звания Народного артиста СССР и степени профессора Московской Консерватории.

Мы — музыканты. Мы мыслим и живем музыкой. Наше мироощущение, наши взгляды, наше отношение к людям и событиям полностью вытекают из нашей профессии. Предъявленные нам Верховным Советом обвинения являются чистейшим вымыслом. Мы никогда ни в каких антисоветских организациях, как на своей родине, так и за рубежом, не участвовали. Вы не хуже других знаете, что единственной нашей «виной» было то, что мы дали приют в своем доме писателю А. Солженицыну. За это, с Вашей санкции, на нас были обрушены всяческие преследования, пережить которые было для нас невозможно: отмены концертов, запреты гастролей за рубежом, бойкот радио, телевидения, печати, попытка парализовать нашу музыкальную деятельность. Трижды, еще будучи в России, Ростропович обращался к Вам: первый раз с письмом и дважды с телеграммами с просьбой помочь нам, но ни Вы, ни кто-либо из Ва-

ших подчиненных даже не откликнулся на этот крик души.

Таким образом, Вы вынудили нас просить об отъезде за границу на длительный срок, и это было оформлено как командировка Министерства Культуры СССР. Но, видимо, Вам не хватило наших слез на родине, Вы нас и здесь настигли.

Теперь Вашим именем «борца за мир и права человека» нас морально расстреливают в спину по сфабрикованному обвинению, лишая нас права вернуться на родину. Советское правительство имеет возможность издеваться над ныне живущими в России большими писателями: Владимовым, Войновичем, Зиновьевым — и Вы, наверно, думаете, что выбросили нас на свалку, куда в свое время выбросили Рахманинова, Шаляпина, Стравинского, Кандинского, Шемякина, Неизвестного, Бунина, Солженицына, Максимова, Некрасова. В Ваших силах заставить нас переменить место жительства, но Вы бессильны переменить наши сердца, и, где бы мы ни находились, мы будем продолжать с гордостью за русский народ и с любовью к нему нести наше искусство.

Мы никогда не занимались, не занимаемся и не намерены заниматься политикой, ибо органически не расположены к этому роду деятельности. Но, будучи артистами по профессии и призванию, мы не могли и не можем остаться равнодушными к судьбе своих собратьев по искусству. Этим и были продиктованы все наши человеческие и гражданские поступки.

Мы не признаем Вашего права на акт насилия над нами, пока нам не будут предъявлены конкретные обвинения и дана возможность законной защиты от этих обвинений.

Мы требуем над нами суда в любом месте СССР, в любое время с одним условием, чтобы этот процесс был открытым.

Мы надеемся, что на это четвертое к Вам обращение Вы откликнетесь, а если нет, то, может быть, хотя бы краска стыда зальет Ваши щеки.

Париж, 17-III-1978 г.

Г. Вишневская

М. Ростропович

Глубокоуважаемый господин Вальдхайм!

Мы обращаемся к Вам в крайне тяжелый момент нашей жизни: советское правительство лишило нас гражданства. Зная авторитет ООН и ее роль в защите прав человека, мы просим Вас о помощи и защите нас от циничного произвола.

С высоким уважением,

Галина Вишневская

Мстислав Ростропович

Как русский писатель заявляю ответственно, что коммунистическая власть своей историей сама не имеет на нашу родину того права, которого бесстыдно лишает других. Вот, сейчас, великих артистов Мст. Ростроповича и Г. Вишневскую.

А. Солженицын

Г. Вишневской
М. Ростроповичу

Дорогие Слава и Галя!

Лишив вас гражданства, советское правительство только еще раз подтвердило свою тоталитарную репутацию. Но, к счастью, ни одна диктатура не в состоянии лишить великого артиста его личной и творческой связи с отечеством, где он вырос и сформировался и ради которого он живет и работает. Скорее наоборот, великий артист своим отношением определяет ее — этой диктатуры — право на существование и представительство народа, которым она беззаконно управляет.

Совершенный советскими правителями позорный акт окончательно отлучает их от принадлежности к тому, что мы называем Россией. Их сегодняшнее географическое местопребывание уже никогда не сможет изменить этого непреложного факта. Живя в собственной стране, они являются куда большими эмигрантами, чем все их изгнанники вместе взятые, ибо поработанный ими народ вычеркнул этих живых мертвецов из списка своих соотечественников и сограждан.

В этот драматический для вас — двух великих русских артистов — момент мы можем только преклониться перед вашей духовной высотой и мужеством и заверить вас в нашей неизменной и полной солидарности с вами.

Редколлегия «Континента»

Дорогие Слава и Галя!

Теперь, когда суета и хлопоты вокруг случившегося с вами остались позади, я хочу коротко подытожить свои личные ощущения по этому поводу. Гражданство для каждого из нас, а для вас в особенности, было, на мой взгляд, не столько социальным, сколько психологическим состоянием, сообщая вам чувство связи с родной землей, общей доли с людьми, живущими на ней, сопричастности с ее историей и судьбой. Отныне все это начинает зависеть от вас самих, вернее, теперь уже от нас самих (поверьте, я не навязываюсь к вам в компанию, а только констатирую общность положения!), от нашего внутреннего гражданского и человеческого качества, от нашей подлинной любви к родине и народу, среди которого мы родились. Разумеется, отечество нельзя унести на подошвах своих башмаков, но на чужбине мы все-таки можем и должны сохранить ее в том, что каждый из нас ради нее делает (и вы оба, может быть, более всех других), а, главное, в тех личных взаимосвязях с близкими вам людьми, которые, если не одни они, и составляют дорогие для всех нас понятия: страна, народ, родина.

От себя же еще добавлю, что близкая дружба с вами, какой я неизменно горжусь, и сделалась для меня той средой, где я чувствую себя т а м, д о м а, в Р о с с и и.

Эмиграция — удел побежденных, мы же — не побеждены, а поэтому в полном праве переадресовать этот удел своим гонителям.

Навсегда ваш

18. 3. 78

Владимир Максимов

Письмо П. Г. Григоренко

По поводу «раскаяния» Гелия Снегирева

До меня дошла копия опубликованного в советской печати письма видного украинского писателя Гелия Снегирева. Письмо покаянное. Автор в общих выражениях раскаивается в том, что совершил до ареста, и благодарит правительство за то, что его арестовали (22 сентября 1977 года) и в застенках КГБ наставили на путь истинный.

Какие же преступления он совершил? Из письма этого не понять. Но я знаю, что он совершил. Написал потрясающую документальную повесть «Мама, моя мама...» (опубликована в «Континенте»). В ней разоблачается чекистская провокация — «процесс СВУ (Спілка визволення України)», которым началось истребление украинской национальной интеллигенции.

Второе. Обратился в президиум Верховного совета СССР с заявлением об отказе от советского гражданства. И, наконец, третье. Выступил с резкой критикой проекта новой конституции СССР, который, как известно, был опубликован «для всенародного обсуждения». Именно в этих «преступлениях» он и «раскаивается», хотя из текста письма этого не видно. По-видимому, даже КГБ стыдно назвать подобные действия преступными.

Это страшный документ. Из-за него и из него выставляла свое жуткое рыло та чёртова мельница, с помощью которой калечат не только тело, но и убивают души людей. Сейчас уже появились, здесь, в свободной стране, критики Снегирева: «Сломился, предал свои идеалы, людей». Я отрицаю право на такую критику со стороны тех, кто сам не побывал в этой

чёртовой мельнице. Тем более, что Снегирев, даже если письмо он писал собственноручно, никого не предал. Он назвал всего две фамилии (Некрасов и Григоренко), людей, которые недоступны для КГБ. Само его покаяние написано как жуткая сатира на систему раскаяний. В нем не раскаяние, а разоблачение системы и вопль о помощи, просьба протестовать против этой жуткой системы...

Еще одно покаяние в Советском Союзе. Еще одна сломанная жизнь.

Граждане свободного мира! Поняли ли вы, в чем кается Снегирев? Поняли ли вы, за что он был арестован? Понятно ли вам, кто его помиловал и на каком основании? Или, может, вы поверили, что человек, попавший в КГБистский застенок, начинает мыслить более правильно, чем он мыслил, находясь на свободе?

Я достаточно глотнул застенок КГБ. Я знаю, как там полуграмотные следователи «обучают» заключенных мыслить при помощи неграмотных, но имеющих мощные кулаки тюремщиков. Поэтому я не обвиняю Снегирева. Мне жаль его. Жаль, что погиб еще один хороший, с доброй и светлой душой человек. То, что ему осталось в жизни — это уже не жизнь. Хорошо написал Микола Руденко в то время, когда и от него добивались покаяния: «Так просто все: напишеш «каяття» і роздобудеш право на життя». Но: «...ти — вже будеш не ти. Похилений, змарнилий від недуг. Ти — тільки оболочка, а не дух...».

И вот мы наглядно видим оболочку Снегирева. Что с ним творили в течение семи месяцев со дня ареста, мы не знаем. Нам лишь известно, что он не выдержал — «покаялся» и тяжело больной отправлен из тюрьмы КГБ в больницу. По сведениям, поступившим с Украины, он парализован. Если это так, то возникает вопрос — действительно ли он сам написал это письмо? Вопрос тем уместнее, что и стиль, каким написано это письмо, не снегиревский. Хотя, пожалуй,

и невозможно такую бессмыслицу написать по-снегиревски.

Я призываю к мировому протесту. Не может мир терпеть, чтобы какое-то правительство применяло нечеловеческие способы калечения душ людей. Сталинский режим покрыл десятками миллионов трупов «раскаявшихся» необъятные просторы советской страны. Теперь «кающихся» единицы, но это не «вина» нынешнего режима. Это заслуга мужественных людей. Таких, как Олекса Тихий и Микола Руденко, как недавно осужденные Микола Матусевич и Мирослав Маринович, как ожидающие суда члены Хельсинкских групп, как десятки тысяч политических заключенных, которые все вынесли и сохранили дух свой несломленным, хотя режим и сделал все, чтобы сломить его.

Режим Брежнева пытается вернуть сталинские времена — снова покрыть страну трупами «кающихся». Не позволим ему этого!

Люди! Протестуйте против системы понуждения к покаяниям, так как это система господства произвола!

Позор правительству Брежнева — Косыгина, которое пользуется нечеловеческими методами, пытаясь подавить оппозицию!

Петр Григоренко

Примечание редакции: Это письмо П. Г. Григоренко было написано после первых сведений о «покаянии» Снегирева. Вскоре стало известно, что Григоренко был прав, предполагая фальсификацию «письма» Снегирева. За всё следствие Снегирев подписал единственную бумагу: просьбу о переводе из тюремной больницы в гражданскую, так как в результате избиений в тюрьме (во время голодовки!) он был парализован. Во время операции в гражданской больнице Снегиреву протягивали текст уже опубликованного письма: «Подпишешь — получишь анестезию!» Операция на позвоночнике так и прошла без анестезии.

Интервью А. Д. Сахарова итальянскому журналу «Грацие»

Вопрос: Какова сегодня ситуация в вашей политической деятельности и в частной жизни?

Ответ: Политической деятельностью — в смысле борьбы за влияние, организационных действий — не занимался никогда и сейчас не занимаюсь. Моя общественная деятельность — это исходящие из внутренней потребности публицистические выступления общего характера и — гораздо чаще — выступления, вызванные конкретными нарушениями прав человека со стороны властей.

В частной жизни — много трудностей и огорчений. Главная помеха общественной деятельности — трудности телефонной и почтовой связи.

Вопрос: Вы работаете? Что изменилось после того, как власти узнали, что вы диссидент?

Ответ: Я работаю в Физическом институте Академии наук СССР старшим научным сотрудником. С 1968 года отстранен от руководящей работы в области военной техники и не имею никакого отношения к секретной информации.

Вопрос: На Западе многие, особенно коммунисты, спрашивают, какой свободы хотят русские диссиденты, ведь у них нет безработицы, бесплатная медицинская помощь и т. д. Чего же они хотят? Как можно объяснить, что означает отсутствие свободы в СССР?

Ответ: Надо пожить в нашей стране, с советским паспортом, на советскую зарплату, в советских квартирных условиях, с советским нищенским уровнем здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, с жесточайшим идеологическим партийным

диктатом от детского сада до конца жизни, с унифицированной прессой, с цензурой, без права на забастовки, с законом о тунеядстве, в условиях слежки КГБ, бесправия рядовых граждан перед начальством и т. д., и т. п. — тогда всё станет ясно.

Вопрос: Что случается с человеком, когда он становится диссидентом? Лишается ли он работы, и как могут такие люди жить без работы?

Ответ: Конечно, судьба диссидента — трудная и для него и для его семьи. Это одна из причин малочисленности активных диссидентов.

Вопрос: По Конституции СССР советские граждане имеют свободу религии, свободу убеждений и т. д. Каким образом конкретно уничтожаются такие свободы?

Ответ: Вся экономическая, политическая и идеологическая власть сконцентрирована в руках партии, точнее — ее руководства. Жизнь каждого человека, его благополучие полностью во всех мелочах и в самом главном зависят от его лояльности, хотя бы только в словах выраженной. Инструкции, приказы, многие законы, сложившиеся десятилетиями традиции подчинения рядовых граждан и бесконтрольности властей воплощают эту несвободу.

Вопрос: Леонид Плющ сказал, что в основе вашего движения лежит духовное начало. Согласны ли вы с ним, и как вы понимаете слово «духовное»?

Ответ: Действительно, движение не носит политического характера. Оно создает предпосылки для нравственного, духовного раскрепощения людей.

Вопрос: Думаете ли вы, что диссидентство — явление чисто советское, или же оно имеет всечеловеческое значение?

Ответ: Я думаю, что понимание защиты прав человека как главной общественной цели имеет всемирное значение.

Вопрос: Каково ваше понимание гуманизма и свободы? Знаете ли вы, как понимают их на Западе?

Ответ: Я никогда не жил на Западе. Я думаю, что основное содержание этих понятий не должно быть разным в разных обществах или странах, но более высокий уровень свободы на Западе, возможно, приводит к какому-то смещению акцентов.

Вопрос: Почему на Западе обращают большое внимание на фашистский тоталитаризм, а почти никакого внимания не обращают на дело несвободы в СССР?

Ответ: Я надеюсь, что на Западе всё больше и больше начинают понимать, что страна, убившая десятки миллионов своих граждан, не осудившая до конца этих преступлений, закрытая страна несвободы, одновременно обладающая такой огромной мощью и влиянием, — это главная опасность нашего времени для всего человечества. К сожалению, людям свойственно закрывать глаза на неприятные вещи, особенно если их осознание требует принятия трудных решений. Вероятно, эта причина, вместе с разными внутривнутриполитическими факторами, страхом, незнанием фактов и т. п., в прошлом приводила к тому явлению, о котором вы говорите. Но я надеюсь, что, в основном, это уже в прошлом.

Вопрос: Верите ли вы в социализм как в политико-экономическое учение? Возможен ли социализм с человеческим лицом?

Ответ: Я не теоретик в политико-экономической области — не это главное и четко определенное в моих книгах и выступлениях. Я против тоталитаризма, про-

тив нарушений прав человека, против несвободы. Я вижу — да и все это видят, кто хочет смотреть открытыми глазами, — что социализм советского типа, реальный социализм всюду, где он смог выявить свои возможности, неминуемо приводил к партийно-государственной монополии, столь же неминуемо к преступлениям и несвободе. Я за плюрализм власти, за конвергенцию, за экономику смешанного типа, за «человеческое лицо общества», а как оно будет называться, — не столь для меня важно.

31 января 1978 г.

ОППОЗИЦИЯ В СССР

В «Информасьон» от 11-12 февраля на стр. 3 напечатана статья Натана Гурфинкеля под «ярким» заголовком: «Советские критики системы игнорируют рабочую оппозицию».

На Западе журналисты любят острые и необычные (парадоксальные) заголовки, пытаясь таким образом привлечь внимание пресыщенного читателя. И если бы дело было только в одном сенсационном, но лживом заголовке, я не стал бы писать Вам вообще. Но дело в том, что эта статья глубоко ошибочна по существу. Я полагаю, такого рода дезинформация способна неверно ориентировать читателей Вашей газеты, создать у них ошибочное представление об СССР и оппозиции там.

Я недавно эмигрировал из СССР и всегда считал себя социалистом. Думаю, в СССР никому не приходило в голову противопоставлять правозащитное движение весьма слабому и находящемуся в эмбриональном состоянии рабочему движению. Сахаров и другие критики системы всегда подчеркивали, что если в СССР возникнет рабочее движение, подобное польскому, то они займут позицию, аналогичную той, которую занимает в Польше «Комитет защиты рабочих».

Задачей советских властей (и КГБ в частности) всегда было посеять рознь между прогрессивной интеллигенцией и народом (к сожалению, г-н Гурфинкель и газета «Информасьон» взяли на себя неблагодарную роль помочь этому).

Рабочим исподволь власти внушают, что они не должны слушать «гнилых» интеллигентов, что интеллигенты якобы борются только за свои собственные «привилегии» (как будто свобода слова, свобода передвижения, право на забастовку нужны только интеллигентам!), а у рабочих якобы свои собственные интересы.

Эта традиция сеять недоверие между интеллигенцией и народом, представлять интеллигентов «агентами Запада», идет еще от царских времен. Больше 100 лет назад царский режим пытался представить дело так, что Белинский, Чернышевский, Герцен — это западноориентированные интеллектуалы, «находящиеся в социальном вакууме» (так пишет о борцах за права человека в СССР г-н Гурфинкель). Тогда тоже казалось, что демократические свободы не нужны простому народу.

Г-н Гурфинкель классифицирует оппозицию в СССР на 3 вида: а) консервативно-националистическую, б) реформистско-либеральную, в) рабочую.

Такая классификация, может быть, и не лишена оснований, но она далеко не полна. Например, в СССР имеется довольно сильная национальная оппозиция в республиках, но ей нет места в схеме г-на Гурфинкеля. Или оппозиция преследуемых религиозных групп.

Совершенно непонятно, кого Гурфинкель имеет в виду, когда он пишет о «консервативно-националистической оппозиции». Если он имеет в виду некоторые тенденции в правящем классе и среди писателей (в журнале «Молодая гвардия»), то это никак нельзя назвать оппозицией, а если он действительно имеет в виду оппозицию, т. е. людей со взглядами Солженицына и Шафаревича, то почему он пишет тогда: «Консервативно-националистические группы получают очевидное покровительство КГБ»... Я — противник взглядов этой части оппозиции, но не надо забывать, что в то время как г-н Гурфинкель живет в комфорте в Дании, идеологи консервативно-националистической оппозиции Осипов и Огурцов медленно умирают в советском концлагере.

Говоря о критиках системы во главе с Сахаровым, Гурфинкель подчеркивает как недостаток тот факт, что они «идеализируют» парламентскую демократию. Если бы г-н Гурфинкель жил в Советском Союзе, то

он понимал бы, что парламентская демократия действительно является идеалом для нашей страны, идеалом, к которому мы — увы! — нескоро придем. Даже весьма ограниченная демократия, которая существовала в России до 1917 г., была бы большим шагом вперед по сравнению с нынешней диктатурой!

И если уж приходится что-то идеализировать, то лучше идеализировать парламентскую демократию, чем тоталитаризм. Практика XX века показала, что третьего не дано.

Когда г-н Гурфинкель пишет о рабочей оппозиции, то перечисляет названия нескольких «партий», существовавших в СССР, но неизвестных на Западе. Я мог бы дополнить список Гурфинкеля еще несколькими названиями, я сам состоял членом подобных групп, но нужно иметь в виду, что подобные партии всегда состояли из нескольких (2-3 человека) и редко когда их число могло достигнуть 10-20, и участники таких групп всегда были не рабочие, а студенты (т. е. молодые интеллектуалы). А самая большая по численности подпольная группа ВСХСОН («Всероссийский Социал-Христианский Союз») была не социалистического, а правого «национально-консервативного» направления.

Что касается эмбрионального рабочего движения, то оно если и находит пути к гласности, то только через «критиков системы», в контакте с ними.

Известно, что эти критики протестовали против вторжения СССР в Чехословакию (в то время, когда весь народ молчал), выразили свою солидарность с польским «Комитетом защиты рабочих», с Хартией-77, с литовскими католиками и армянскими националистами.

Можно надеяться, что рабочее движение рано или поздно возникнет в СССР и Клебанов, о котором пишет Гурфинкель, может быть, будет его «первой ласточкой». Однако г-ну Гурфинкелю трудно понять

тот факт, что социалистическое, рабочее движение в СССР в силу специфических условий может выступать как движение «либеральное», что свобода слова, свобода печати, свобода союзов и право на забастовку — весь этот комплекс недоступных пока нам свобод, — является необходимым — *sine qua non* — условием рабочего движения.

Борис Вайль

Примечание редакции: Копенгагенская газета «Информасьон» напечатала письмо Бориса Вайля — впрочем, со странной опечаткой: с пропуском слова «умирают» в предложении об Огурцове и Осипове. А также с ответом г-на Гурфинкеля, который упрекнул Бориса Вайля в том, что он-де тоже приехал в Данию, чтобы жить в комфорте. Борис Вайль был трижды осужден в Советском Союзе за распространение самиздата и провел 8 лет в мордовских лагерях и 5 лет в сибирской ссылке.

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ ПАПЕ ПАВЛУ VI

Мы, католики, немцы и поляки, проживающие в Молдавской ССР, выражаем глубокую преданность Римской католической Церкви и Вам, как Наместнику Иисуса Христа и наследнику апостола Петра.

Но мы как дети большой католической семьи с болью души обращаемся к Вам за помощью.

В Молдавии до утверждения советской власти во многих городах и селениях были католические костелы и священники, советская власть все католические костелы закрыла, многие развалили, оставили только одну часовню на кладбище в Кишиневе — в столице Молдавской ССР. Кишинев имел просторный красивый костел, но его закрыли, а в часовне люди не помещаются и по воскресным дням стоят на улице, часто под дождем или в холоде, не имея возможности даже увидеть алтаря.

Нас обслуживает только единственный ксендз Владислав Завальнюк, окончивший Рижскую духовную семинарию в 1974 г. Хотя он молодой (29 лет), но в студенческие годы перенес тяжелую форму менингита и — как следствие этой болезни — часто страдает от сильных головных болей. Проживает он в другом конце города, — примерно 7-8 км от кладбища, где находится костел-часовня. Власти не только не дают разрешения обменять квартиру ближе к костелу, но в последнее время отобрали номера и документы машины. Сейчас ксендз должен на общественном транспорте терять время больше часа, чтобы добраться до костела, а тут съезжаются католики со всей Молдавии, ждут исповеди и часто не могут исповедаться.

Ксендз, видя все трудности своих единоверцев, пытался обслуживать их, особенно старых и больных, по месту их жительства и разъезжать по телеграммам католиков. В многих городах и селах, в

большинстве где раньше были костелы, как в Бельцах, Бендерах, Тирасполе, Григоровке, Рашково, Андрияшевке и в др., католики собираются даже ежедневно на общую молитву. Когда ксендз стал время от времени к ним доезжать исповедывать и отслужить мессу, в Молдавии ожила вера, не только старики, но дети и молодежь начали приходить на общую молитву и тогда, когда приезжал ксендз, и тогда, когда его не было, в воскресные и праздничные дни. Такое оживление веры не могли не заметить власти. Они начали преследовать нас, католиков, и особенно ксендза, задерживают его по дороге, часто штрафуют, а для вызова ксендза к больному требуют пять справок: от врача, от местных властей, от райисполкома, от горисполкома, и со всеми этими справками ксендз должен обращаться к уполномоченному по делам религии Виконскому, который может разрешить выехать ксендзу к больному или нет. Никому из католиков не удалось получить этих справок, потому что каждый начальник отсылает к другому и так без конца, и люди умирают без исповеди и духовного обслуживания. Таких случаев невозможно перечислить. Нас возмущает такое издевательство над нами, верующими, но на наши просьбы и требования власти не только что не обращают никакого внимания, но угрожают ксендзу, что отнимут у него удостоверение, разрешающее служить священником.

В слободе Рашково — 170 км от Кишинева, — где католики-поляки имели молитвенный дом и Евхаристию, собирались каждый вечер на молитвы. К ним раз в месяц приезжал ксендз, и много верующих, детей, молодежи и пожилых людей, исповедывались. Съезжались католики с окрестных городов и сел, так что дом Олейник Валентины, которая отдала его как молитвенный, не мог поместить всех верующих. Люди своими силами и средствами начали достраивать дом-костел. Работали все, даже дети помогли

носить песок и камни-кирпичи. Работали по ночам, а днем — на колхозных полях. Власти видя, что католики дружно и жертвенно трудятся, чтобы построить скромный дом Божий, начали преследование. Три раза судили Валентину Олейник, всю вину сваливая на нее. Ее продержали 15 суток в тюрьме вместе с Погребной Владиславой. В последнее время обзывают В. Олейник сумасшедшей и ей грозит психиатрическая больница и насильственное лечение.

Ксендза по дороге в Рашково задержали, вернули обратно машину, а его самого пешком послали в Кишинев — 170 км. Конечно, он не мог на это согласиться и власти сделали снисхождение — разрешили переночевать в Рашково, не обслуживая верующих. Такие случаи происходили много раз.

25 ноября 1977 г. власти развалили костел в Рашково. В тот день по 3-5 милиционера стояли у каждого дома, не разрешая людям выходить, чтобы они не мешали ломать дом. Детям в тот день приказали явиться в школу в 8.00 вместо обычного 9.00. Около 15 милиционеров дежурили в школе, не разрешая детям выходить на улицу. Валентину Олейник и других 7 женщин, которые постоянно стерегли костел, в то утро насильно втокнули в машину и отвезли за 70 км от Рашково — на Украину.

Множество машин, транспорта и бульдозеров работали, чтобы развалить костел. Милиция была вызвана из четырех районов Молдавии. Были вызваны даже войска. Работа кипела примерно с 9.00 до 16.00. Вместо костела осталось вспаханное поле. Все костельные принадлежности сбросили в одну кучу в конюшню, арматы и иконы развесили в конюшне по столбам. Евхаристию разбросали на земле, а чаши отнесли в колхозную контору. Самое больное для нас, что Пресвятые Тайны были разбросаны и мы с плачем на коленях собирали Тело Иисуса, а Остия из монстранции была поломана и одной части не

нашли. Невозможно словами передать эту боль и это зрелище, когда люди вечером, собравшись на пустое поле, пали крестом на том месте, где был алтарь, и с рыданием молили Бога о милосердии.

Ксендз добивался разрешения приехать, чтобы привести в порядок Евхаристию, но это ему строго-настрого запрещено. Власти боятся, чтобы приезд ксендза не способствовал укреплению духовной жизни верующих. Разрушив костел, они всеми силами стремятся разрушить и духовный костел и исполняются слова Иисуса: «Поражу пастыря и рассеются овцы стада» (Мф. 26, 32).

Мы представляем Вашему Преосвященству только один-два случая из бесчисленных издевательств над нашим ксендзом и над нами. Не один раз мы ездили в Москву с жалобой, но в Москве одобряют поведение местных властей, а ксендзу угрожают, что с ним будет отдельный разговор и отдельная расправа, что мол, пусть он не думает, что в Молдавии будет разрешено оживление веры, а за то, что он уже сделал, придется ему строго расплатиться.

Мы умоляем Ваше Преосвященство своим высоким авторитетом воздействовать на советскую власть, чтобы свобода совести, свобода вероисповеданий и выполнения религиозных обрядов соблюдалась для нас, католиков, проживающих в Молдавской ССР. Чтобы нашему ксендзу было разрешено беспрепятственно разъезжать и обслуживать единоверцев всей Молдавии. Мы просим молитв католиков свободного мира и Вашего благословения нашему ксендзу Владиславу Завальнюку и нам, его пастве. (В Молдавии около 15 000 католиков.)

Мы просим, чтобы, по Вашему поручению, мы могли бы получить письменное Ваше благословение на имя и адрес нашего духовного пастыря Владислава Завальнюка: Молдавская ССР 277020 Кишинев 20, ул. Павлодарская 20а, чтобы Ваш авторитет защитил

нашего ксендза от угроз властей не дать ему работать как ксендзу, и чтобы мы не остались сиротами без духовного отца и без духовной помощи.

С глубокой преданностью
Католики Молдавской ССР



Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb

8000 München 40 · Bauerstrasse 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**С Ш А: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Szein),
7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 USA**

**Зап. побережье — В. Соколов (V. Sokolov),
University of California, Crown College,
Santa Cruz, Calif. 95064, USA**

**Мичиган — О. Политис, 3133 No. Wagner Rd.,
Ann Arbor, Mich. 48103, USA**

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

На 4-й стр. обложки: Петр Валюс. «Лета»

